

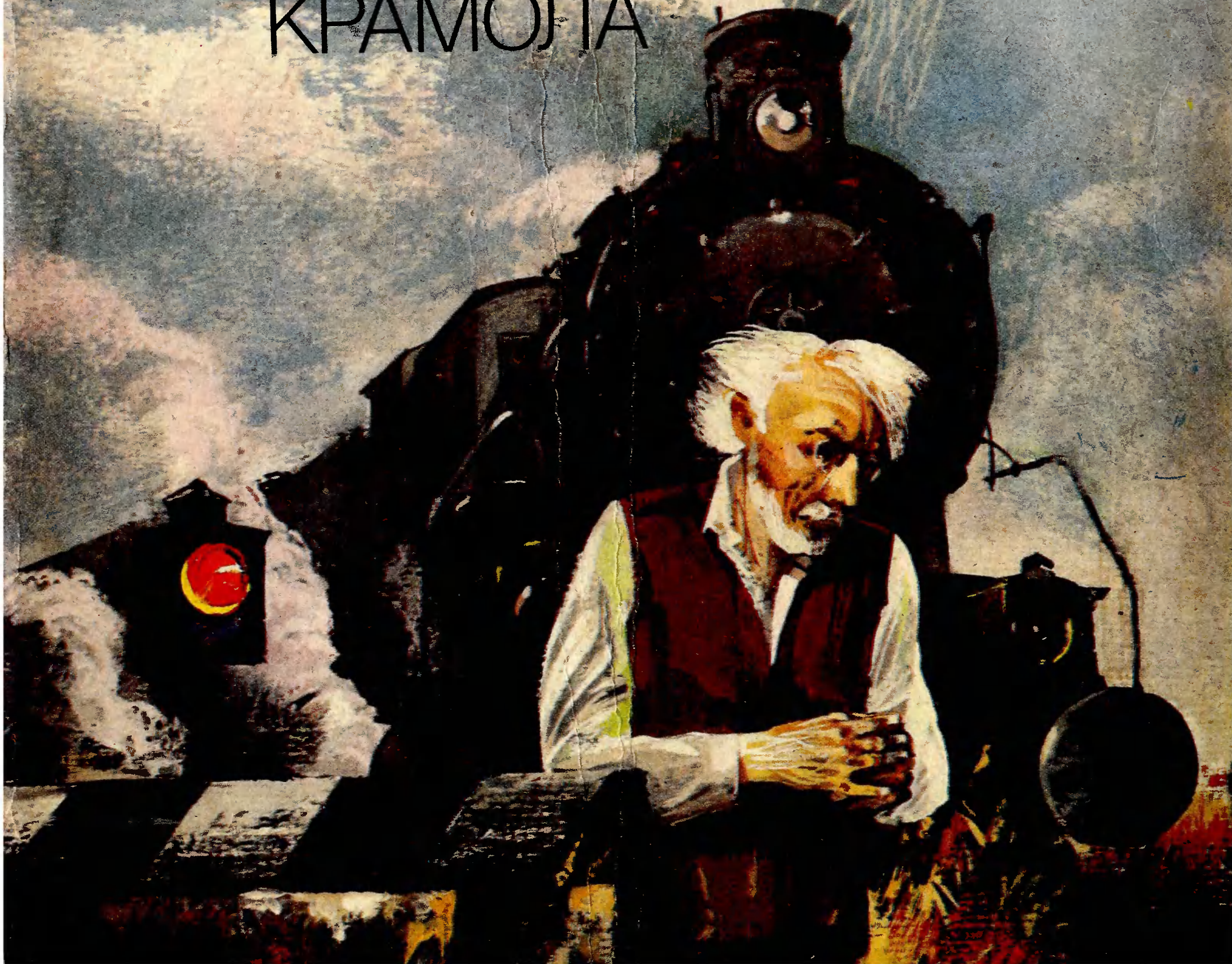
ISSN 0131-6044

РОМАН-20 ГАЗЕТА

(1170) · 1991

Сергей Алексеев

КРАМОЛА



В № 4 "Роман—газеты" за этот год было опубликовано произведение В. Астафьева "Людочка". Редакция пригласила читателей принять участие в заочной читательской конференции (№ 7, 1991).

Пришло множество писем, в которых читатели не ограничиваются ответами на заданные вопросы, а делятся своими раздумьями о жизни, о социальных, нравственных проблемах.

К сожалению, из-за недостатка места в журнале мы можем опубликовать только выдержки из некоторых писем.

"Выражаю свою признательность автору рассказа. Читала и плакала, переживала, страдала вместе с героиней. Думаю, не ошибусь, если скажу: "Больше таких произведений из жизни!"

"Рассказ страшный, кулаки сжимаются, от собственного бессилия хочется заплакать: "Почему меня там не было?!"

"Произведение мне не понравилось сразу. Я выросла в Сибири, на маленькой железнодорожной станции, и не была наша жизнь, мое детство и юность такой грязной и мрачной, хотя жили вообще—то бедно. Да, я верю, что такое могло быть и, может быть, даже было, но это крайность, а не закономерность"

"Мне лично это "произведение" не понравилось. Что дает для ума и души "Людочка"? Ничего. Таких жизненных ситуаций, к великому сожалению, неисчислимо множество, слышишь об этом почти ежедневно"

"На меня "Людочка" не произвела глубокого впечатления. Виктор Петрович, осуждая нашу действительность, талантливо показывая ее отвратительные стороны, ничего не предлагает читателю обнадеживающего в будущем. Легко критиковать и осуждать существующее, но взамен его необходимо предложить более совершенное, убедить читателя в этом новом, совершенном, найти истину"

"Меня потрясло это произведение, читала его уже два раза, и мне все больше и больше хочется что-то делать, чтоб такого больше не повторилось"

Как современная жизнь отражена, на ваш взгляд, в этом произведении?

"Неприятно, досадно, но это реальность"

"Односторонне, хотя и правда. Не все же так у молодежи плохо, что прямая дорога в колонию или на тот свет"

"Краски несколько сгущены"

"Реалистично и талантливо"

"Правдиво, сочувственно, со скрытой болью за эту жизнь"

"Такое состояние типично по всей России"

"В. П. Астафьев коснулся той части человеческого общества, с которой мы часто не желаем знаться. Мы их стараемся обойти. Мы их боимся. Но если поразмыслить?! Ведь эти люди не прилетели к нам с другой планеты. Они такие же земляне, как и все мы"

"Мы свыклись, стерпелись и утратили способность даже замечать все это, не то, чтобы оценивать и осуждать"

"Это современная жизнь. Гласность — это правильно и хорошо, когда—то ведь надо начинать говорить. Но вот люди так и остались незащищенными"

В чем и кто, по—вашему, виноват в случившемся?

"Недостаток культуры в широких слоях народа и, как следствие, безысходность, отсутствие доброты"

"Наша школа с ее всеобщим средним образованием, с ее классами по сорок человек"

"Безделье. Я живу в деревне, и я помню, как нас приучали к труду"

"Бездействие, равнодушие к будущему"

"Мы, наше общество: у нас ни в семье, ни в школе не уделяется достаточного внимания нравственному воспитанию подрастающего поколения. Мое поколение (мне 77 лет) воспитывалось и общественными организациями, пионерской и комсомольской, а сейчас их, по сути дела, нет. У молодежи, у подростков нет ничего святого".

"Виновато сегодняшнее общество, когда все хулиганы получили вседозволенность. И раньше такие случаи бывали, но не имели такого массового характера, потому что жестоко пресекались. А теперь получается, что каждый, кого коснется беда, должен наказывать сам"

"Наша милиция и прокуратура от души проводят разводы, тушат споры с соседями, но нет гарантий от таких подонков, как Стрекач, в силу "гуманности" законов. С возмущением слушала выступление по радио в защиту заключенных: "У них ужасные условия!" Он кому—то оставил душевную рану, испортил жизнь, а ему подавай гарем и родню!"

"Такого уголовника, как Стрекач, даже после освобождения нужно брать под опеку, устроить на работу. А если он неисправим и обществу не нужен, пусть отправляют его работать на рудники. Наше общество гуманно не там, где нужно"

"Виновата наша государственная система, бесправие, абсолютное неравенство всех перед законом, наплевательское отношение к проблемам молодежи"

"У нас сейчас модно все грехи валить на общество. Оно и "бездуховное", и "жестокое" и т.д. Но что такое общество? Это множество отдельных "я" — их совокупность. Поэтому во всех недостатках нашего общества виновен каждый из нас, а прежде всего каждый виноват в собственных неудачах. Мы сами делаем свою жизнь, и если живем хуже, чем могли бы — виноваты мы сами. Так что в том, что случилось с Людочкой, виноваты все, а больше всех — она сама".

"Что заставило девочку уехать из деревни? Я думаю, в этом виновата мама Людочки"

"Кто виноват? Мы. Папы и мамы в первую очередь. Потом школа. Потому что совсем не занимаемся трудовым воспитанием своих детей, а о духовности и говорить нечего. Очень плохо, что оплевывают сейчас наш комсомол. Там, где хороший руководитель ВЛКСМ, уже давно собрали бы молодежь и не один раз устроили бы субботник по очистке парка и закопали бы злополучную трубу. Но в наше время только прошлое ругают, и это тоже плохо действует на подростков. стыдно".

Насколько безысходным представляется вам положение Люды? Оправдан ли ее поступок? Был ли другой выход и какой, по вашему мнению, из случившегося?

"Для такого человека, как Людочка, самоубийство было единственным выходом"

"Положение Люды безысходно, она была очень одинока"

"Поступок не оправдан — жить необходимо при любых обстоятельствах".

"Положение было совсем не безысходным. Порядочных людей большинство"

"Хочется крикнуть громко—громко, чтобы все люди услышали: "Люди, будьте внимательней друг к другу, добрее, милосерднее..." Ведь простой прохожий человек мог помочь Люде в беде. Помочь просто улыбкой, добрым словом. Но, увы, не нашлось такого человека, хотя место, где она жила и работала, было не малоллюдно".

Есть ли в ком—либо из героев положительные черты и какие черты вы хотели бы увидеть в окружающих вас людях?

"Как ни странно, вызывает симпатию отчим Людочки. Вершит суд за невинную душу сам, совершенно не веря власти, и его поступок воспринимается в данном случае как справедливое возмездие"

"Побольше бы нам таких людей, чтоб не отворачивались с деланным равнодушием, когда на глазах у них попирают достоинство человека, чтобы могли постоять за себя и за других. И когда исчезнет страх, что нет нигде ни защиты, ни справедливости, может, станем мы тогда и добрее, и проще, и человечнее"

"Из мест лишения свободы выходят люди, искалеченные душой. Поэтому Людочкин отчим — это какое—то невероятное, светлое исключение, и хочется верить (да я просто верю), что такие исключения бывают"

"Отчим Люды, по—видимому, был сильного характера, раз тюрьмы и лагеря его не сломали и он остался добрым, хотя, признаюсь, я отнеслась к этому с некоторым недоверием. Сейчас люди стали более жестокими".

"Все блага создаются трудом. Такие люди, как Гавриловна, Людочка, ее мать и отчим, за свой честный труд заслуживают симпатии и защиты"

"Они не лишены человеческих черт, хотя жизнь так исковеркала их, что сам Бог не нашел бы в них храма, воздвигнутого во славу свою"

"В повести описаны обыкновенные люди, каких миллионы. Героев там нет"

"Положительных черт не могу найти ни в одном герое. Даже рядом стоящий человек не может докричаться до нас с мольбой о помощи. Даже страшно как—то — неужели это мы — люди? Думаю, нужно все же отряхнуться от спячки, посмотреть вокруг, сколько горя, беды, и мы — люди можем положить этой беде конец!"

(Окончание см. на 3 стр. обложки.)

РОМАН-20

НАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ

МОСКВА

ГАЗЕТА

(1170) · 1991

Основана в 1927 г

Сергей Алексеев

КРАМОЛА

Роман

Книга вторая

доля

(Окончание)

"С благословения Ангела, посланного Тобой, стоя перед аналоем святого храма под оком Матери Твоей, я, недостойная и грешная инокиня Мелитина, тружусь и записываю беседы свои на рубаху, дабы после носить их на себе, как власяницу, ибо жгут тело писанные слова. Но они же и защищают меня от искушений, словно хожу я в ризном облачении. Стала мне рубаха нынче как материнская рука: и побьет, и приласкает. Первую неделю больно уж каялась и сомневалась крепко, думала все: как же теперь в нестираном-то ходить? А стирать нельзя, опустишь в воду — и поплывет химический карандаш. И спрятать негде, как на себе только. В бараке то и дело обыски устраивают, да так еще воспитатель Квасницкий шарится по нарам, пока мы на работе. Но чудны дела Твои, Господи. Неделю, другую да третью хожу, а рубаха-то моя не грязнится, напротив, белее делается — и запах ровно стирающую с мороза принесла. Благодарю Ангела моего, наставившего и надоумившего меня, неразумную, труды свои записывать. Стало теперь мое слово твердо, и дух укрепился, а тело легоньким сделалось, ни хворь его не терзает, ни голод. Дадут пайку хлеба — съем, а не дадут, так и водичкой сыта. Не стало во мне испуга от чужой страсти и мерзости, что окрест меня творится. И смерти совсем не боюсь. В каждый бы миг с благодарностью ее приняла, да на земле звон сколько труда и заботы. Когда еще в режимном бараке прозябала и трудилась — с расстригой встретила. Был он не в себе, душа в искусе, будто в грязи, но я его благословила, чтобы поднялся из скверны и вновь вкусил Твоего слова свет и святость. Расстрига же вдохновился, однако слаб еще был, немощен, чтобы совладать с болезнью, взял ножик и пришел ко мне ночью. Ко горлу моему приставил — я на коленях была — и говорит: "От тебя народу беспокойство исходит, а народ следует к концу Света готовить, ибо Страшный суд грядет. Потому человек должен в покорности жить и отдать душу во власть начальников" Мол, они и есть ангелы и Архангелы Твои. Тогда я расстриге-то сказала: "Коли истинны слова твои — убей меня по воле Господа. А ежели ты в искушении пребываешь, ножик сломается". Он размахнулся ножиком и стену задел, да и сломал лезвие. И закричал тогда страшно. Тут разбудился какой-то человек, схватил горемыку и стал бить. Насилу отобрала, чуть только жизни не лишился.

Благодарю Тебя, что удержал руку его от греха лютого и тем душу спас человеческую. А человека, что бил расстригу, прости, ибо тут случается так, что люди от любви к Тебе даже злобой объаты бывают.

Вывели меня из режимного барака, а на улице ветер такой был, что всю дорогу боялась, как бы не унесло, и за ружье стрелка держалась. Он позволил: держись, говорит, матушка, я тоже здесь не по воле своей, да только меня приставили на догляд за вами и каждый день проверяют да ругают шибко и грозятся выгнать из охраны на скальные работы, если что не так. Боится он, оттого и скотинится. Молю Тебя, помоги ему во человеческий облик вернуться!

А как привели в барак, там радость меня встретила. По Твоей воле пришло еще девять инокинь из разных мест. И стало нас теперь двенадцать, ровно апостольское число. У сестер новых одеяния поотобрали, в постыдные гимнастерки нарядили с умыслом, а они от того ревмя ревут. Как увидели меня в рясе, бросились к моей презренной руке, каются, страдалицы, слезьми обливаются, но более от радости, что не одиноки будут. И другие женщины-мученицы с добром встретили, рассказывают, про меня, грешную, слух по лагерю пошел, будто я вредитель, поскольку людей к Тебе зову, а это под запретом и называется пропаганда. Но ведь я к Тебе еще никого не звала, кроме батюшки расстриги. Разве что трудилась, как могла, бестолковая, но слышал ли Ты молитвы мои за страждущих? И говорят еще, начальники больно уж на меня сердитые и будто келью мне одиночную готовят, чтобы в РУРе не держать с народом и в котлован не пускать. Может, назад бы отправили, да этапы только сюда, в одну сторону идут. Прошу Тебя, не лишай меня людей. Хоть я и неумелая в святом труде, а чем-нибудь да помогу: раны ли завязывать, слезы ли утирать — все польза. Не время нынче в отшельниках жить. И сдается мне, обители наши не зря разрушены, не по домыслу новой власти, а по воле Твоей, чтобы мы среди народа жили и трудились. На все воля Твоя!

В режиме продержали меня сорок четыре дня, а для меня-то будто в один все время уложилось. Заблудшую, что драку затеяла в бараке, бригадиром назначили, пока я сидела. Так она совсем лютая стала, глаза-ти черным огнем засияли. Мне сестры сказали, будто начальники разрешили бригадирше бить меня, если я норму не выполняю. А она бить не стала, говорит: "Ну, игуменья, ты у меня кровавым потом умоешься!" Меня теперь игуменьей называют, не по чину, но чтоб надсмеяться. Здесь у нас по именам редко зовут, больше по кличкам, словно собак или коров. Верно, думала бригадирша измучить меня и напугать, а я обрадовалась. Ведь и Ты на кресте кровавым потом умывался! Мне же, недостойной, за великую честь и заслугу будет. Повели нас на работы и поставили землю да камень на тачки наваливать. Пошло нас одиннадцать сестер — мать Анастасия все еще лежкой лежит, видно, отойдет, блаженная, — и почували мы, не поспеваем, нет у нас соборности, не хватает сестры. Валим землю, валим камень, а тачки-то все идут, идут бесконечно, только гул по гонам стоит. Выдохлись сестры, лопаты в руках не держатся, камень падает — и все по ногам, а сама я, непутевая, руку защемила. Тачечники — все мужики крестьянского рода, люди работающие, скорые, поначалу подсмеивались над нами, но потом ругаться стали. И чем тяжелее нам, тем они шибче ругают; вконец так обозлились, давай честить нас последними словами и от злобы не в себе сделались. Бригадирша прибежала с палкой, но не меня ударила, — сестру Агнею. Это чтобы мне больней сделать. Бросилась я защищать, встала под палку,

тут и мне досталось, слава Тебе Господи. Да не кончилось на этом зло-то. Увидали такое дело землекопы, что со мною в режимном бараке сидели, прибежали и накинулись на тачечников. Вижу я, что из-за нас эдакие страсти разгораются, встала между ними, а сестрам кричу: "Страдалицы мои! Грех нам великий, коли от нас эдак народ злобится! За веру сей крест нам, за веру! Так понесем же его и взойдем на Голгофу!" Благодарю Тебя, что надомил меня, безмудрую, на такие слова. Побойще остановилось, разошелся народ, а мы взяли свой крест, согнулись до земли да понесли. Тут и умылись кровавым потом.

Вернулись в барак — отдохнуть бы, да ведь трудиться надо. Многие женщины давно уж надорвались, животами маются, кто и кровью харкает, а плачут-то, плачут как! Пошли мы с сестрами от одних нар к другим. У меня все из головы не выходит: как это из-за нас в людях такая злоба вспыхнула? Вразуми меня, Ангел небесный! Все ведь понимаю: не выполняют норму тачечники — хлеба маленько дадут. А значит, завтра еще хуже работать станет. И потом у них у всех где-то семьи остались, жены, дети, старики. Конечно, маются без хозяина, здесь же за хорошую работу обещано раньше домой отпустить. Вот они и стараются. Но ведь старания эти потом горем обернутся. Нельзя же человеку из-за куска хлеба, из-за посул начальников душу свою злобой выжигать. Повежгут здесь, вернутся домой — ведь ничего не вырастет. До конца дней своих страдать будут и от семьи, от достатка не возрадуются. У кого же совесть не горит — она житья не даст. Поразмыслила я так и пошла в мужские бараки Твоей милостью вразумить заблудших.

В четвертом бараке поймали меня надзиратели, заломили руки и отвели к воспитателю. Надзиратели тут назначены тоже из заключенных, такие же невольники, как и мы, да несчастные они люди, в грехах погрязшие и донныне творящие грех. Пожалей их, Господи, и дай роздых душам их. Пускай хоть толику малую чистого воздуха глотнут, хоть каплю воды Твоей родниковой. Ели они грязь, пили мерзость, слышали только крик оглашенный, а видели камень да железные решетки. Но помыслы их чисты — свободы жаждут они. Свободой же Ты наделяешь всех от рождения, так дай им утерянное, чтобы не творили они грех ради нее.

Привели к Квасницкому, и стал он воспитывать меня, стал рассказывать про свою прошлую никчемную жизнь. Рассказывал и вроде каялся на словах, а сам-то любил ее. Не передать, как и любил: тосковал, будто дитя по материнской груди. Будто меня воспитывает, чтобы я от прошлого отказалась, как он, однако, горемычный, так страдает по былому, что сдержаться не может, и давай мне рассказывать, где да сколько украли, в каком государстве потом денежки прокучивали. Признался он, что ни семьи, ни дома, ни Отечества нет у него и что является он гражданином всего мира. Стала я его потихоньку увещевать словами да именем Твоим. Ведь пожилой он человек, в тюрьмах весь изломанный, пора бы и о душе подумать и спасти ее — не слышит, не понимает. Толмачит мне про какую-то новую светлую жизнь, которую будто бы в лагере начал. Да разве в неволе-то начинают новую жизнь? Просветли его разум, Господи. Пускай обретет он покой и Отечество — что надо человеку на старости лет. Ему молиться бы — он же все Беранже читает. Открой

же уста его для святых слов, а не лживых да мерзких.

Сколько бы нас на земле мучили — неведомо, да приноровились мы с сестрами тачки наваливать. Хотя из последних сил, а тужимся, и мужики-тачечники, видя страдания наши, поумерили пыл, смирили злобу свою, опаматовались. Перестали нас ругать да подгонять. И бригадирша вроде от нас отступилась. Но чуть только появился у нас роздых, как прилетела черная птица Френкель, встала на горе, застыла, будто камень, и смотрит. "Сестры, — говорю. — Давайте скорее работать, эвон черная птица прилетела". Похватались сестры за лопаты, по народу в котловане ровно судорога побежала. Бьют землю, бьют — головы не поднимают. Тачечники бегом забегали, застонали, бедные, от коллик. Один сорвался с гона вместе с тачкой и зашибся насмерть. Прими его душу, Господи, во царствие Твое.

Птица же Френкель перелетела через головы, заклекотала, и народу еще страшней сделалось. Они уж и глядеть боятся и мало-помалу в мерзлую землю зарываются. Сестры мои стонут и уж более не потеют потом, а сколько воды попьют или снегу похватают, все слезами выходит. Долго так птица мучила нас: то летает, то сидит и клювом скрежещет. И наконец полетела над котлованом, ударилась оземь и вошла в человеческий облик. Тут со всех сторон побежали к ней бригадиры и десятники, надзиратели и прорабы. Страшатся сами, а бегут. Люди простые отворачиваются, глаза прячут — нельзя смотреть ей в лицо. И слышим, закричала птица: "Убрать! Убрать! Отправить на топчаки!" Вывели нас надзиратели из котлована и погнали за версту, на другой участок. Там уже топчаков настроили. Это такие колеса, наподобие беличьих. Только внутри не белки бегают, а люди и крутят их, чтоб на канате камни поднимать. Поставили нас в эти колеса, и побежали мы с сестрами. Бежим, бежим — Матушка Пресвятая! В первый день голова кругом, стоять на земле невозможно. Перед глазами колесо мелькает, и дурно делается. Даже святыми трудами не остановить этого мельканья. На нарах лежишь, а чудится, будто в лодке плывешь по волнам. И от видений этих некоторым сестрам совсем лихо стало. Утешала я, мол, и такую казнь примем, и напасть болезненную одолеем, нет такого урока, который не исполнили бы мы со Словом Твоим. Да, видно, и у черных птиц сила великая, чтоб людей мучить. Днем, пока скачем в колесах, будто бы и ничего, когда обвыклись. Главное, равновесия не потерять и не упасть, особенно если топчак раскрутили. Тут уж беги, сколь силы есть. А упадешь, тебя несколько раз через голову опрокинет, пока колесо остановится. Поразбивали мы колени, так что на молитву не встать, и локти расхлестали и лица. Встанешь, а дух перевести недосуг, снова беги. Сколько за день-то пробежишь верст, а все на одном месте. А черная птица Френкель за нами зорко следит, на дню раза три прилетит и смотрит. Особенно когда работу кончим и, полумертвые, из топчаков выйдем. Стоим, держимся друг за друга, покуда земля хоть под ногами успокоится. Заклекочет птица: "Ну, будете еще своему богу молиться и народ будоражить?" Будем, говорю, батюшка, будем. Еще и пуще будем. Захлопает черными крыльями птица, рассердится и улетит. А мы кое-как добредем до барака — надзиратели надсмехаются, дескать, святые сестры опять вина напились, эко их заносит. Да мы терпим, прости их, Царь Небесный. Придем, съедим

хлебушка, а когда каши постной дадут, и начинаем трудиться. Сестры, что постарше, по мужским баракам идут. Только воспитатель уйдет, они туда. И надо поспеть, утешить страждущих, пока надзиратели с проверкой не пошли. Как поймают, так сразу в режимную роту ведут. Мы потом за свою сестру работаем, другого человека не дают. Как все уснут, мы помолимся все собором, и уж тогда я отпускаю сестер и в храм свой иду, к Тебе, Ангел Небесный. Стою вот у аналоя и пишу. А перед глазами все колесо мелькает, и руку отчего-то коробит. Не умею я трудиться, непутевая, и слышишь ли Ты слова мои, Вседержитель? Коли слышишь, научи же, как мне черным птицам противостоять. Хотят они сломать нас, не просто погубить — укротить в нас волю Твою. И весь народ, что согнали в эти края, хотят Веры лишить, чтобы не знали люди ни Тебя, ни себя, ни родных своих. А только чтоб работали и пользу приносили, как скотина у хозяина. Стали пирожки давать. Кто норму выполнит — один пирожок; кто перевыполнит — два, а кто и вовсе полторы нормы сделает — четыре. То с капустой, то с картошкой. Кажется, экая безделица — пирожок, да гляжу, в людях такая зависть проснулась к тем, кто получил пирожок, — сами не свои сделались. Раньше, бывало, подсобляли друг другу, жалели ближнего, тут же каждый только себе норовит норму сделать и пирожок получить премиальный. Упадет человек, ногу ли зашибет, лицо ли разобьет, так не поднимают, и катается он, страдалец. А нас с сестрами не только десятники и бригадиры подгонять стали, а каждый, поскольку от того, как мы крутим топчаки, их норма зависит. То один придет с палкой, то другой, а злословят-то как! Привезут в обед пирожки на подводе, за вчерашний день премия — бегут люди со всех сторон, орут, оглашенные, бьются в толпе, в очереди, хватают, едят, ровно свиньи. А кого в списке не оказалось, плачут, как дети малые. Стала я к душам их пробиваться, стала говорить, чтоб вспомнили о детях своих, о матерях да отцах и устыдились бы хоть перед ними. Но надзиратели погнали меня и велели десятникам не подпускать более. Пирожки те будто не с капустой печены — со злом, ибо, вкусив их, люди всякую жалость теряют, так еще хочется. Сделал норму или нет, все одно бежит к подводе, бьется в очереди — ну, как дадут? Мы с сестрами зарок дали: никаких подачек не принимать, дабы не искушать души своей. Но не удержалась сестра Агния, кинулась к подводе и встала в очередь. Я за нею побежала, говорю, сестрица, голубочек ты белый! Опомнись, зарок ведь дала, не бери пирожка. Она же мне: "Матушка, больно уж пирожок с капустой хочется! Так хочется, удержаться не могу!" А сама слезьми обливается, в очереди народ смеется — сквозь землю б провалиться мне в тот час! Взмолилась я к Тебе, Всемогуший, — останови руку ея, берущую! Укрепи дух и отведи от греха! Взяла Агньюшка пирожок, потянула к устам да и выронила в грязь. Ей бы растоптать его — нет, подняла и с грязью-то и съела. Всевышний Владыка! Отбивается Твоя овца от стада, вразуми ж ее и дай роздых от мук эдаких. Нас всех замучай до смерти — ее пощади! Покаялась она мне ночью, убивалась, родимая, и на кресте клялась, да наутро занемела вся, деревянная сделалась, и глазоньки потухли. А какие светлые были, глянет — Ангел, да и только.

Надоумил Ты меня, наставил, грешницу безмудрую, как совладать с искусом. Как в другой раз привезли эти

просфирки бесовские, пошли мы и все встали в очередь. Эко возрадовались бригадиры да десятники. Нас и раньше по списку выкликали, да мы не подходили и близко; в этот раз же получили мы пирожки да тут же на глазах у народа втоптали их в грязь и руки снегом умыли. Прости нас, Всемиловитый, не хлеб насущный втаптывали — скверну печеную. Люди в очереди взроптали сначала, а потом многие опаматовались и, плюясь, побежали прочь. Но набросились на нас надзиратели с палками, погнали в колеса. И тут прилетела зловещая птица Коган, побежал народ врассыпную, попрятался. Даже наши надзиратели в камни залегли. И остались мы одни среди снега; стоят сестры-голубицы беззащитные, на Тебя уповая. Налетела на нас птица Коган, да не может ни поклевать, ни когтями своими железными зацепить. Заурчала она, — по-звериному, бьет клювом своим по камням, скрежещет землю когтями: "В РУР! В РУР!" И повели нас всех в роту усиленного режима. Да не в барак общий заперли, а в сруб посадили, где еще ни окон, ни дверей, ни крыши нет. Ни присесть, ни прилечь — снег да камень. Стояли мы до позднего вечера, трудились на лютom морозе под небушком Твоим, и услышал Ты слова наши, и согрел нас, и от гибели спас. Глубокой ночью подняли нас из сруба, отвели в свой барак. А там сестра Анастасия, оставшись в одиночестве, не стерпела и преставилась. Прими ее, Владыко! Уж она Тебе все расскажет, все поведает, не то что мы, бестолковые да косноязычные. Отпели мы ее, страдалицу, по полному чину и ночью же тело ее схоронили в отвале: могилу рыть запретили нам. Наутро же всех сестер в топчаки погнали, а меня повели в логово к черным птицам. Переступила я порог и попала в чертоги сатанинские, где заседали вожди всей черной стаи. Стол у них с кровавой скатертью, а на нем яства в человеческих черепках. Во главе сидит самая зловещая птица Берман, по правую руку — Коган, а по левую черные птицы Френкель и Рапопорт. Все в человеческом облике, но у каждого под горлом на воротнике по два пера и кубики железные. Едят они и пьют с кровавого стола; вокруг же их скачет и скрежещет когтями целая стая птиц поменьше — от вороны до воробышка, и все ждут, какая кроха им достанется. А я как через порог, так держу перед взором храм свой чудесный и Твой Образ пресветлый, и не страшно мне перед черными птицами стоять. Недосыгаема я со словом Божьим на устах. Поняла тут, что совершат они сейчас суд надо мной. Но не убоялась я помыслов черных птиц. Что сделать-то они могут со мной? Новую муку придумать — так во имя Тебя и Веры я еще и благодарить их стану, и пострадаю с радостью. Смерти меня предать, так Ты примешь меня, грешную. Все мне на благо, и нет у черных птиц воли над человеком, ежели Вера в сердце есть. "Что станем делать с ней?" — спросила птица Берман. "Предать суду и расстрелять!" — прорычала зловещая птица Коган. — Неисправима!" Но черная птица Рапопорт воспротивилась: "Важно переделать ее природу. Переделаем игуменью, и вся ее паства переделается". "Я согласен, — прощелкала черная птица Френкель. — Но держать ее с контингентом опасно, и работой ее не сломить". "Осудить и изъять игуменью никогда не поздно, — решила птица Берман. — Мы ее лишим того, что она так любит. А переделав природу, вернем в стадо".

Закивали птицы головами, а я обрадовалась и над ними засмеялась. Неподвластно им лишить человека Веры!

Отвели меня на высокую каменную гору. Там уже для меня келейку поставили, без единого окошка, зато с камельком. Заперли, и осталась я в полной тьме. И поняла тогда, скудоумная, что лишили меня людей и света. Но и за это благодарю Тебя, Ангел Небесный. Да знали бы черные птицы, какой свет исходит от Веры. Не то что келейку осветить — всю землю озарить можно. И не могут черные птицы лишить меня людей. Сказано же: пока есть десять праведников на город, Бог не оставит его. Только бы душа моя не ослепла..."

15. В ГОД 1961...

Буровая вышка на территории бывшего судоремонтного завода уже работала. День и ночь ревели мощные дизели, ротор вращал колонну труб, уходящую под землю, и еще что-то там гремело, стучало, и полупустой город, слушая этот бесконечный вой железа, таращился черными провалами окон-глазниц.

Тем временем Чингиз занимал Есаульск.

Контору нефтеразведки можно было разместить в любом пустующем доме, однако знаменитый разведчик недр выбрал здание райисполкома — бывший особняк купца Белоярова. Он обошел его вокруг, поцокал языком, воздел руки:

— Хороший дом! Какой хороший дом!

— Памятник архитектуры, — с гордостью объяснил председатель райисполкома. — Охраняется государством. Купец тут жил, бога-атый.

Чингиз осмотрел помещение изнутри, заглянул в кабинет председателя и заявил:

— Подходит! Завтра привезу контору.

— Вы уж простите, уважаемый Чингиз, — вежливо сказал председатель. — Поищите другое здание. Эвон сколь пустует!

Чингиз сверкнул глазами и, не простившись, покинул исполком.

Несдобровать бы председателю, если б в тот день двое из нефтяников не устроили поножовщину с местными жителями и не были арестованы милицией. Чингиз приехал в милицию возмущенный, дверь к начальнику растворил ногой.

— Отдай моих людей!

Начальник заупрямился, дескать, уголовное преступление, есть раненые, и злостным хулиганам грозит срок. Чингиз вышел во двор, осмотрел бывший архиерейский дом снаружи, и он понравился ему больше, чем райисполком. Начальник милиции, видя, что гость ушел недовольный, побежал следом — хотел отношения смягчить, по-доброму расстаться.

— Выпусти людей! — еще раз попросил Чингиз.

— Не могу я! — взмолился начальник, не подозревая, что Чингиз редко когда просит дважды. — Закон есть! По закону сделано!

Тогда Чингиз отступил на шаг и сказал:

— Закон — это я. Людей у тебя своих возьму. Дом возьму, тебя возьму, твоя жена пол будет мыть в конторе.

И, не говоря более ни слова, вышел со двора, хлопнул дверцей легковушки, приказал ехать к большому начальнику.

Через три дня архиерейский дом, который вот уже

больше сорока лет удерживали в своих руках ЧК, ГПУ, НКВД и МВД, был взят, очищен от милиции, а кабинет владыки занял Чингиз. Начальник же милиции выпустил его людей, прикрыв уголовное дело с ведома прокурора, а сам выехал служить в дальний приход простым участковым уполномоченным. Он не знал тогда, с кем вступил в единоборство, и по своей есаульской дремучести все еще продолжал верить, что обществом по-прежнему правят власть и государственные органы. Ему и в голову не приходило, что есть на свете другая, кроме милиции, сила, способная управлять не только народом, а всей жизнью вообще. Не ведал он, что Чингиз имеет две золотых звезды Героя соцтруда, бронзовый бюст на родине и, главное — отпущенные ему на покорение есаульских недр огромные деньги, которых не видели здесь с купеческих времен. Только властью денег можно было оживить не один заброшенный город, а весь край, на что и рассчитывало местное начальство. Откуда же было знать об этом первому пострадавшему от Чингиза начальнику милиции?

С той поры власть Чингиза в Есаульске стала неоспоримой.

Он был крут и жесток к начальству, однако к туземному населению относился ровно и спокойно, никогда не кричал и не сверкал глазами; напротив, здоровался за руку, давал большие заработки и, конечно же, спрашивал ударный труд. Оснований бояться его не было, но прохожие, заведя машину Чингиза, шепотом передавали друг другу:

— Чингиз! Чингиз едет!

И норовили спрятаться с глаз подальше.

А мальчишки, играя в войну по брошенным домам, выбирали не красного командира или Чапая, а Чингиза, и спорили, кому из них быть им. В имени этом слышалось что-то древнее и могучее.

Между тем буровая проверчивала дыру в земле, называемую скважина, и бур — шарошечное долото — буравил и буравил неведомую толщу, проникая к таинственному Куполу. Народ постепенно перестал бояться и часто собирался возле вышки посмотреть, как идет работа. Люди гадали, когда откроется этот Купол, что в нем есть и можно ли спуститься потом туда и поглядеть. Они жалели буровиков, которые вечно были облиты жидкой грязью с ног до головы, переживали, когда на скважине произошла авария и пришлось выколачивать ударной "бабой" застрявшие в породе трубы. И незаметно напивались жизнью и речью пришедшего народа.

— Эй ты, скважина! — окликали мужа своих жен.

Парни-подростки, выходя вечером на улицу, натягивали с мылом брюки дудочкой и не матерились, как было всегда, а разговаривали более культурно. Если речь шла о девичьем непостоянстве, выражались примерно так:

— Да кто ее только не шарошил, скважина породистая.

Жизнь в Есаульске становилась интересной, наполненной предощущением великих перемен и какой-то неведомой, светлой и беззаботной жизни. Молодежь все больше тянуло постоять возле церкви, где был устроен ресторан "Купол". Зайти внутрь было нельзя, там отдыхали после труда буровики, да и не было таких денег, чтобы прогуливать их под "Куполом". Буровики часто приглашали местных девушек погулять с ними, и удержаться от таких приглашений было невыносимо трудно для любопытствующего девичьего характера. Сначала казалось, только зайду и посмотрю, отчего так весело,

шумно и смешно под церковным куполом, но, очутившись там, уже невозможно было вернуться к шатанию по унылым улицам полузаброшенного города и поцелуям в темных углах пустых домов. Поскольку подружки есаульских парней все чаще оказывались под "Куполом", то в городе часто вспыхивала жестокая поножовщина. Или, объединившись, парни вооружались штакетником и шли бить нефтяников. Милиция в такие часы запиралась в своем новом помещении и ждала, когда окончится бой, чтобы потом собрать пострадавших, составить протоколы и доложить утром Чингизу о потерях. Однако когда после спокойной ночи на улице был поднят труп чернокудрого восточного красавца-буровика, Чингиз потребовал защиты от туземных хулиганов и убийц. Иначе срывалось важное государственное задание.

И пошли по этапам есаульские парнишки. А по городу было расклеено решение райисполкома о комендантском часе для есаульских по происхождению граждан до двадцати пяти лет. Кроме того, в дневные часы запрещалось собираться толпой, более трех человек. По городу денно и ночно дежурила милиция с огромными резиновыми дубинками — их только что ввели для охраны общественного порядка, и Чингиз где-то раздобыл два десятка. У ресторана "Купол" по вечерам дежурил новый начальник милиции с бригадмильцами. Местные парни попрыгали, попрыгали, заплатили по штрафу, отсидели по пятнадцати суток и утихомирились.

А буровую лихорадило. Выходил срок, данный высоким московским чином, но Купол никак не открывался. Бульдозеры день и ночь утюжили территорию вокруг бывшего судоремонтного, спихивали пустые дома и целые улицы, чтобы облагородить вид: ожидался приезд гостей. Чингиз не покидал буровую, его команда тут же ела, спала, и по этой причине даже временно прикрыли ресторан.

Однажды на заре город проснулся от страшного грохота. Люди повыскакивали из домов и остановились, пораженные.

Над Есаульском поднимался черный живой столб. Он взлетал высоко в небо и там, разваливаясь на огромные ошметья и лепехи, обрушивался на землю. Вышка накренилась, искривилась и только чудом еще удержалась в вертикальном состоянии. Гул раздирал небо. Иногда вместе с нефтью вырывался газ, и тогда раздавались гремющие взрывы, отчего нефтяные брызги, словно черный дождь, опадали на город. Народ устремился к буровой, а там, на площадке, приготовленной для встречи гостей, в лужах нефти плясали черные, как деготь, буровики. Они умывались липкой жидкостью, мазали друг друга и пели на своем наречии. Наверное, это была песня жизни.

Только Чингиз, спокойный, как скала, стоял поодаль на недостроенной дощатой трибуне и взирал на пляску. Иногда его ноги тоже начинали подергиваться, но он быстро брал себя в руки.

Есаульские жители глядели на все это пока с ужасом, поскольку не успели проснуться. Но, продрав глаза, увидели, что на площадь под дождем нефти подъехала машина и стала раздавать водку бесплатно всем, кто захочет. Сначала было боязно подходить — рядом вертелся начальник милиции — однако он сам крикнул, мол, не робей, сегодня можно гулять!

Вертолеты с высоким начальством и речи были потом, после обеда, а с раннего утра началась гулянка, которой в

Есаульске отродясь не помнили. Мужики пили, закусывали и, забыв о вражде с буровиками, лихо отплясывали русскую. Веселье разлилось по всему городу. Черные, с прилипшей к телу одеждой, пьяные и одуревшие от бьющего фонтаном счастья, люди орали и дурачились как дети. А бабы, улучив момент, бежали с ведрами на коромыслах, с бидонами и флягами к буровой и, черпая нефть из глубоких луж, таскали по домам. Кто-то сказал, что нефтью можно топить, что теперь не надо дрова покупать, и, пользуясь дармовщинкой, заполняли ею бочки, кадки, шайки и туюски. Однако потом вышло, что делают это зря: нефть скоро сама потекла по дождевой канаве в город, и стало совсем хорошо — выходи из ворот и черпай.

И журналисты, налетевшие тучей на Есаульск, тоже растаскивали нефть, закупоривая ее в сполоснутые бутылки, во множестве лежащие по улицам. Для начальства же набирали в специально привезенную посуду.

Когда отговорили речи и поздравили первооткрывателей Есаульского черного золота, город уже был едва теплый. Мужики валялись по улицам, и милиция никого не трогала. Только одна бабка Альбина, внезапно появившись из родных мест, наряженная в белое, ходила по Есаульску, тыкала палкой лежащих и говорила:

— Вставайте, люди, вставайте. Бегите из города. Поднимайтесь и бегите.

Но добудиться было невозможно. Бабка сокрушалась:

— Выпустили дьявола и спят. Эх, люди, люди...

После митинга высокое начальство и ученые академики под предводительством Чингиза отправились в ресторан "Купол". А бригада нефтяников, обрядившись в резиновые зипуны, полезла усмирять фонтан. К вечеру же проспавшийся народ пошел искать чем похмелиться, но бесплатно уже ничего не давали, да и запасы оказались истреблены в один день. Народ стихийно собрался возле ресторана и потребовал водки: смотреть, как гуляет начальство, было завидно. Наряженная в парадные мундиры, милиция отгоняла черномазых мужиков и, опасаясь испачкаться, к ним не прикасалась. К тому же в честь праздника временно отменили комендантский час. Чингиз, щедрый по натуре человек, узнал, что у паперти бьются похмельные есаульские жители, вынес им ящик коньяка. Бутылки опорожнили в мгновение ока и потребовали еще. По распоряжению Чингиза им выносили два ящика пива и ящик газировки, однако только пуще разозлили мужиков. Разбив газировку о старые церковные стены, они побрели по городу, наливаясь какой-то отчаянной злобой и невыносимой обидой.

— Бессовестный народ! — кричал им вслед Чингиз. — Водка давал, вино давал, коньяк давал, пива давал — благодарность не получал! Зачем стены бить, когда высокий гость гуляет? Бессовестный народ! Хам!

Полупьяный народ разбрелся по домам, но обида еще пуще брала за горло. Она была какая-то необъяснимая: спроси любого — и не ответит, кто обидел. А вот обидно, и все! Мужики начали бушевать, выливать натасканную бабами нефть и колотить жен. Парни, которых еще не прибрали за хулиганство, вылавливали своих бывших подруг, свободных в тот вечер (нефтяники гуляли с начальством), и купали в дождевых канавах, заполненных нефтью. Женский крик и плач забился над городом. Обуянные непонятной страстью и обидой, они врываются в дома "шарошек" и "скважин", выволакивали их на улицу и,

окунув в нефть, возили по дорожной пыли. Вся милиция дежурила у ресторана, и улицы никто не охранял.

Неизвестно, чем закончилась бы эта вакханалия, если бы вдруг не громыхнул над городом потрясающей силы взрыв, и огненный шар, оторвавшись от земли в том месте, где был судоремонтный завод, с ревушим, закладывающим уши гулом медленно поплыл в темное небо. На миг показалось, что взошло солнце, только красное, как бывает перед ветреной погодой. Город осветился малиновым жутким светом, и люди замерли, оставив свои занятия. Выволоченные в нефть и пыли "шарошки" вцепились в своих истязателей, прильнули, немея от ужаса. Парни и мужики разом отрезвели, но ума от этого не прибавилось: оцепенение сковало мышцы и мозги. Зато мужние и детные женщины, опомнившись, хватали орущих ребятишек и выбегали на улицу. А там уже ничего было не слышать из-за раскатов грома и человеческого крика. Огненные стены вздымались над буровой до самых облаков, и поражал не сам огонь, к которому из-за частых пожаров люди попривыкли, — а то, что ничто на земле гореть так не может. Еще никто не знал, что это горит насыщенный нефтяными каплями газ. Причем не как в газовой горелке — факелом, а взрывами, когда одновременно с душераздирающим грохотом багровое пламя вдруг начинает расширяться до невероятных размеров, охватывает третью часть небосклона и, кажется, горит сам воздух.

В людях от этого зрелища просыпался древнейший, не подвластный разуму инстинкт — бежать! Бежа-а-ать!..

И побежали, озираясь и падая. Тащили впопыхах схваченное имущество, детей и стариков. Обращенные к огню лица становились мертвенно-бледными, а те, кто вымазался в нефти, при таком освещении делались иссиня-черными. А поскольку чистыми оставались лишь младенцы-груднички, то они на руках у этой аспидной человеческой мешанины казались неестественно белыми и светились в темноте. Люди не узнавали друг друга, не узнавали детей своих, что постарше, мужей, жен, дочерей. Толпа густела, вздымалась, будто тесто в квашне, и один бесконечный крик, страшный в своем громогласии, подобный возгорающемуся газу, расширялся и заполнял все поднебесье.

Бежать! Бе-е-ежа-а-ать!!!

Раскаленная горящая нефть текла по водосточным канавам к городу, и уже запылали крайние от буровой дома. Огненный вал катился стремительно и неудержимо, а впереди его плясали по улицам дымные вихри. Они достигали бегущую толпу, проносились по головам, рвали из рук узлы, грудничков, и людям чудилось: не уйти от огненного смерча. Вот сейчас багрово-дымная стена, соединившая небо и землю, догонит и накроет последних бегущих жителей города. И никому не будет спасения...

Но когда от летящего по земле огня уже трещали волосы и сохли воспаленные глаза, толпа вдруг остановилась от головы до хвоста, дрогнула, издав болезненный вопль, и замерла на несколько секунд. Блестящие взоры устремились назад, и живыми оставались разве что глаза...

Между людьми и пожаром оказалась человеческая фигура в белом одеянии. Горячий красный воздух увеличивал ее почти вдвое, медленно изламывал, как изламывается в воде отражение, но все одновременно

узнали бабу Альбину. Воздев руки, старуха стояла лицом к огню и словно умирала его.

Кто был в памяти, тут же вспомнили ее предсказание и предупреждение — не трогать, не шевелить землю. Вот она, геенна огненная!

Всего несколько секунд взирали люди на старуху, но и этого хватило, чтобы понять, кто на самом деле правит миром.

Бабка Альбина шла в огонь. И огонь, словно принимая жертву, ослабил свой натиск, и замер пламенный смерч. Толпа ринулась прочь от пожара, и мало кто видел, как на старухе сначала вспыхнуло белое рубище, затем волосы, но она все шла и шла вперед, пока не соединилась с огнем. Ослепительно белый шар отделился от земли, поднялся в дымное небо и там взорвался, превратившись в ничто. Даже искорки не вернулись назад.

Но, возможно, это просто взорвался сгусток подземного газа.

Только в ресторане "Купол" ничего не видели и не слышали. Здесь горел яркий электрический свет, сияли бокалы, лица и глаза. Толстые стены глушили звук, узкие окна не пропускали внешнего света, и к тому же с началом пожара высокий московский чин встал и начал произносить тост в честь академика, предсказавшего и, по сути, сделавшего историческое открытие нового нефтеносного региона.

В это время милиционеры, заметившие пожар, доложили начальнику милиции, и тот стал прорываться в ресторан, чтобы сообщить своему руководству. Однако за дверями была еще одна охрана — крепкие ребята в серых костюмах, и им было плевать на милицию и на пожар, когда говорил высокий чин. Тогда начальник зашептал:

— Передайте по команде — пожар! Пожар, передайте по команде!

Ребята принялись — дымом не пахло, значит, пожара не было. Передать-то было можно, да руководство охранников находилось в Москве.

И лишь когда закончилась высокая речь, потом стих грохот аплодисментов и звон бокалов, когда счастливый академик поднялся для ответного слова, от ударной волны брызнули стекла из окон и окропили присутствующих. Все заволновались, Чингиз поклялся перерезать всех есаульских хулиганов, кто-то позвал милицию, и тогда начальник крикнул через головы внутренней охраны:

— Пожар!

Реакция на это зловещее слово почему-то была необычная. Все посмотрели на высокого начальника, а тот спросил:

— Пожар?

— Так точно! — осмелел начальник милиции. — Пожар!

— Вызовите пожарных, — посоветовал высокий чин. — Зачем же окна бить?

Первыми на улицу выбрались журналисты, глянули и, потеряв разум, закричали:

— Горим! Спасайтесь! Бегите!

Им почему-то поверили сразу, в ресторане задвигали стульями, загремела посуда. Есаульские гости и нефтяники высыпали на улицу, но при виде огня несколько поуспокоились: и не такие пожары приходилось видеть на буровых. Для диких туземцев и журналистов впечатлительно, щекочет нервы, но для профессионалов дело привычное. Поскольку время было позднее, то

возвращаться за столы не имело смысла. Гости обнялись с первооткрывателями черного золота, сели в машины и отбыли на вертолетную площадку.

Едва они скрылись, как из ресторана, забыв все на свете, немедленно бежала вся прислуга. И с десятков самых терпеливых и необидчивых мужиков выбрались из кустов, проникли под купол бывшего храма, заперли за собой окованные двери и, начав с крайних, пошли обходить столы по кругу.

Тем временем уже горела вся прилегающая к судоремонтному заводу территория. Потоки горячей нефти сбегали с высокого берега и, растекаясь, зажгли реку. Город наполовину охватило огнем, и участь другой половины была предreshена. Нечего было и думать тушить такой пожар. Дорвавшиеся до дармовой нефти нищие жители Есаульска натаскали ее в дома и залили все кадушки, бочки, ведра и четверти.

Хватало огню пищи...

К утру все было кончено. Есаульска больше не существовало. Выгорело не только дерево, но и земля, пропитанная нефтью. Там, где был город, стояли лишь закопченные печи да редкие каменные постройки. Растревоженный Купол несколько успокоился, хотя еще выбрасывал гигантские клубы огня, и, что странно, черное золото уже не текло в сторону города, а целиком сливалось в реку, пробив себе огненное русло. Пожар, проглотив город, откатился на свое место и бушевал теперь вокруг судоремонтного завода. Горящая нефть, захватив Повой, устремилась вниз и погнала прочь катера, самоходные баржи и тягачи.

Чингиз уже вел по земле, воде и воздуху пожарную технику и специальных пожарных, умеющих укрощать огненные колоссы. Вызванные из соседнего района пожарные добивали и так затухающий огонь в городе. Они рыли бульдозерами канаву, чтобы отсечь гудящее пламя от Есаульска, хотя в этом уже не было нужды. На пожарище, конечно же, не оставалось ни одной живой души, да и не могло остаться после геенны огненной. Каково же было удивление, когда пожарные, открыв багром еще не остывшую дверь в церковь, обнаружили там гуляющих мужиков. И гулять бы им хватило еще надолго, ибо они едва одолели половину столов. Мужики великодушно звали пожарных и подали по стакану вина, чтобы промочить пересохшие глотки.

А бежавший из города народ не остановился где-либо поблизости, чтобы переждать стихию и затем вернуться к родным пепелищам. Он уходил все дальше и дальше от Есаульска, причем молча и без оглядки. Дороги едва хватало, чтобы уместить всех: люди старались идти рядом, плотно, и никто не хотел отставать. Тысячная толпа шла единым порывом, целеустремленно и самозабвенно. Впереди, с посохами в руках, шагали старики, за ними — мужики помоложе, затем попережку парни, женщины, дети и старухи. Встречные грузовики издали начинали сигналить, но вид у народа был такой непривычный и решительный, что шоферы съезжали в кювет и со страхом таранились из кабин.

Примерно на вторые сутки есаульских беженцев догнал Чингиз и попытался вернуть назад, суля каменные дома с балконами, газ и теплые сортиры, однако люди вышли из его повиновения. Да и вряд ли кто был властен теперь над ними. Еще через пару суток толпу видели будто бы на

Красноярском тракте, потом вообще на каком-то проселке. А скоро их след совсем затерялся, и сколько бы ни искали несчастных погорельцев, чтобы возместить им убытки, так и не нашли. Если бы потерялся один человек, то милиция объявила бы розыск и расклеила портреты, но когда исчезает толпа в тысячу душ, в это никто никогда не поверит, ни один милиционер не примет заявления о пропаже.

Пожар в Есаульске потушили, укротили фонтан, поставив задвижку, и немедленно начали строить новый город. Все тогдашние западные газетенки и вражьи голоса, питающиеся из недостоверных источников, сообщили об открытии нового месторождения и о страшном пожаре. Они так же интересовались судьбой обездоленных жителей и выражали им сочувствие, размышляли об отсталости советской нефтедобычи и средствах тушения пожаров. Короче, это была очередная фальшивка времен холодной войны.

Но никто пока не знал и даже не подозревал о самом главном событии, происшедшем в связи с трагедией и обновлением Есаульска. Никто, кроме одного-единственного человека, не ушедшего с беженцами и оставшегося в городе.

Местность, под которой находился Купол, после пожара чуть опустилась, всего на два-три сантиметра, однако этого хватило, чтобы река Повой изменила фарватер, прильнула к городскому берегу и начала подмывать его основание, сметая струями песок с такой же осторожностью, как археолог сметает кистью пыль веков.

16. В ГОД 1962...

Всю весну мать Мелитина собиралась в дорогу.

Собиралась тщательно, зная, что сюда уже никогда не вернется сама.

Она сама поправила и укрепила дерном могилы на кладбище, простилась с мертвыми и уже больше не приходила сюда. Затем пошла по всем местам, которые хоть как-то были связаны с ее жизнью. В первую очередь сходила на Кровавый овраг и там долго молилась в полуразрушенной, исписанной матерными словами часовне. Переночевав там, отправилась в село Свободное, где был колхоз "Свободная жизнь". После Великого Забвения, когда ссыльные кулаки основались на этом месте, новое село поставили в стороне, выше по реке — страшно было селиться на месте старого пожарища. Мать Мелитина пришла к старому месту и исходила вдоль и поперек зарастающую лесом поляну. Видела она лишь ямы, заросшие крапивой, обугленные, полузанесенные землей и пеплом основания изб, на сотни лет ставленные воротные столбы, оплывшие глинобитные печи, на которых уже росли высокие березки: здесь все уже было чисто, свято и непорочно.

Потом она ходила на луга, на речку, к родникам и каменным останцам. И куда бы ни приходила — не могла узнать места. Казалось, многое ли изменяется в природе за одну человеческую жизнь? Что она по сравнению с рекой, лесом и камнем? А ты поди ж, река ушла за несколько километров, оставив старицу, похожую на калач, доживать свой век среди низких берегов, травы и кочек. И лес уже не

тот, что стоял здесь раньше: по вырубкам поднялся молодой и уже успел взматереть. Иные родники отчего-то пересохли, а ведь чудилось, им сроку нет и журчать будут, выбиваясь из-под земли, пока есть сама земля. Да что говорить! Кровавый овраг, гремучий змей, пожиривший поля и леса, помельчал, заилился и даже в самый разгар весны едва был слышен. Склоны его стали пологими, покрылись травой, кустами, укрепились, да так и остались, словно зарубцевавшийся шрам.

Но зато выше оврага среди лесистых холмов земля разверзлась огромной воронкой и пожирала всю воду. Где, в каких глубинах нашла она себе ход? Или черная подземная дорога была прямее и короче, чем путь под солнцем?

И если она все-таки отыскивала заповедные места, то садилась на землю или камень, подстелив берестинку, что носила с собой, и сидела тихо, со светлым и радостным чувством. Ей больше ничего и не нужно было — ни воспоминаний, ни молодых лиц людей, связанных с этим местом. Все уже давным-давно отболело и осталось далеко, в мирской жизни. Однако хотелось проститься со всеми близкими уголками на земле, ибо кончалась земная жизнь, и возврата к ней не предвиделось. Сенбернар в заповедных местах настораживался, пристально всматривался в деревья, в камни и старые валежины, нюхал землю и цепенел в глубокой задумчивости. Он был настолько стар, что не мог бегать и ходил шагом, словно дряхлый дед. Он тоже знал: впереди предстоит бесконечная дорога, и они сюда уже не вернуться, и тоже прощался с местами, где прошла большая часть его жизни.

В самую последнюю очередь мать Мелитина прощалась с живыми. Она заходила во дворы жителей Коммунарска — дворов таких осталось мало — потомков тех, кто вышел из Воронежской губернии, кого подъела революция да войны, — разговаривала с хозяевами, если кто-то тайком просил благословения — трудилась, святой воды — святила, крестить — крестила, а совета спрашивали — советовала. И не сказала ни одного слова прощания, потому что дело было не в словах. Покидая избу своих земляков, она кланялась земным поклоном, однако никто и в ум не взял, что это последний ее поклон.

И наконец, мать Мелитина заглянула в запущенный, нежилой двор дома на краю деревни. Молодая лебеда уже пробилась сквозь многолетнюю старую, крапива оторочила зеленым мехом саму избу, крыльцо и все надворные постройки. Сквозь щели между досок наглухо забитых окон проглядывал пыльный пергамент бычьего пузыря вместо стекла. Если дул ветерок, то он хрустяще всхлопывал, и в ушах долго потом стоял звук, напоминающий звонкий барабан. Дверь тоже была заколочена на большие самоковные гвозди, так что внутрь дома попасть мать Мелитина не смогла. Она побродила вокруг, цепляясь подолом за сухостойную траву, потрогала стены, углы и присела на крыльце.

Этот дом строил Андрей. Тут жил, тут появлялись на свет внуки матери Мелитины...

Вернувшись на холм в свою келью, она стала делать котомку. Взяла приготовленный заранее мешок из-под муки, отрезала лишнее — поклажи немного, вложила в уголки по луковице и обвязала их длинным, купленным для этой цели фитильным ремнем. Положила туда книгу в старом кожаном переплете, икону Божьей Матери, медную

жестянку со святой водой, мешочек сухарей, берестяную кружку и завязала котомку.

— Собралась, — вслух сказала она и оглядела стены: будто бы все остается в порядке.

Затем она надела рубаху, от ворота до края подола исписанную химическим карандашом, дорожную рясу, почти новые кирзовые сапоги, повязала платок и сверху покрылась платом, застегнув его на булавку у подбородка.

— Оделась, — с облегчением вздохнула она.

Взяв котомку, она остановилась на пороге, еще раз оглядела свою келью и ей поклонилась. На улице она подперла дверь колом, прихватила палку и присела на бревнышко перед дальней дорожкой. Сенбернар поднялся из своего убежища, тряхнул отвисшими брылами и сел возле ног.

— Пойдем, перекрестясь, — проронила она, но еще не шевельнулась. — Пора...

Встала мать Мелитина, посмотрела на все четыре стороны с высокого холма, — даль-то какая кругом! Да ничего, глаза боятся — руки делают. Все равно надо идти, кто же еще сына-то найдет?

— Ну, тронулась я, сынок! — Она удобнее взяла посох. — Тебя пошла искать. Встречай!

Сделала шаг, другой, третий — ноги легкие, легче бузинового посоха, едва земли касаются. Сенбернар обогнул ее, встал вперед и, опустив голову, побрел указывать дорогу.

Они шли медленно, без спешки, поскольку впереди была целая вечность.

17. В ГОД 1933...

Тринадцать лет Великого Забвения подняли село Березино из пепла и праха.

На месте сгоревших изб стояли дома — высокие, на подклетах, с рублеными дворами, поветями, с летними и зимними жилыми половинами, ставленные на прирост семьи и хозяйства. Убранные деревянными узорами окна глядели на улицу широко и открыто; дома не жмурились, не потупляли взор от стыда за своих плотников, что было раньше, а глядели на мир и смеялись, как могут смеяться лишь уверенные в себе, свободные люди. И поля вокруг села были ухоженные, раскорчеванные от мелких осинников, затянувших узкие места, горловины и опушки за смутные времена. Скот никто не пас. Надежно огороженный засекой, оврагом и рекой, он никуда не разбредался, и молодежь, выпущенный по весне, возвращался лишь глубокой осенью, по первому снегу.

И селом никто не правил. Не было тут ни старосты, ни священника, ни какого-нибудь председателя. И стариков, таких, чтобы могли составить общинный совет, тоже не было в Березине: долгая война прибрала их раньше, чем они стали стариками.

Березинским не удалось бы, наверное, и года прожить в забвении, не будь село последним по дороге. Далее же начиналась тайга, малообжитая, с непахотными поселениями у рек и проходима только водным путем. И если бы село стояло на берегу, тоже бы не высидеть втихомолку. Однако до Повоя, до бывшего села Свободного, когда-то стоящего на крутояре, насчитывалось семь верст, и даже самые любопытные, проплывая мимо и

причалив к зарастающей соснами поляне, поднимались на берег, несколько минут смотрели на печальную картину старого пожарища и спешили скорее покинуть страшное, неприветливое место. А чаще, кому приходилось сплавляться вниз или грести вверх по Повою, на минуту бросали весла, снимали шапки и глядели на разоренное село, как глядят на человеческий прах, оставшийся не преданным земле.

Березино жило натуральным хозяйством, забыв вкус настоящего сахара и настоящей соли. Вместо сахара ели мед — возле каждого дома стояли пасеки, а соль вываривали из болотных кочек. Мужики сами шили сапоги и гнали деготь, шорничали, плотничали, кузнечили, и когда иссякала работа, навоевавшиеся и натосковавшиеся по труду, они придумывали ее, и появлялись резные наличники, деревянные кровати с точеными ножками или просто расписные ложки. Руки, будто в воду погруженные в дело, не могли остаться сухими и постоянно просили работы. Женщины пряли, ткали и шили и, радуясь своему труду, вспоминали полузабытые песни.

После Ухода и скитаний Андрей Березин поселился на своей родине, построил дом такой же, как у всех односельчан, и уже больше не ходил искать призрачные Леса. С каждым годом он узнавал их в Березине, хотя здесь не было той благодати теплых ручьев и зреющих фруктов в садах. Зимой он учил ребятишек грамоте — чтению и письму, хотя сам не знал, зачем это нужно, если в селе нет ни одной книги, ни клочка бумаги. Любушка почти каждый год беременела и рожала, и с каждым ребенком Андрей ощущал какое-то обновление. Он пытался понять, разобраться, что же происходит с ним, с людьми, оказавшимися в полном забвении и изоляции от мира. Пережив трагедию, никто из односельчан уже через три года не вспоминал о ней, словно и не было ни артобстрела, ни пожара, и эта забывчивость казалась Андрею спасительной. Тяжелая память и груз прошлых испытаний оказались стертыми, вымытыми из сознания. Он чувствовал это по себе. Он прислушивался к своим мыслям, когда делал какую-либо однообразную работу, и пытался даже нарочно возбудить себя воспоминаниями, однако все — война, революция, Обь-Енисейский канал и даже "эшелон смерти" — будто выщелочились из памяти, и осталось лишь какое-то смутное, полусознанное представление о них. Это напоминало сон или бредовое воспоминание о Лесах. Вроде было. Сознание хранило события, напрочь лишённые их сути: что это было? Зачем? Во имя чего? И было ли?

Великое Забвение было не только оттого, что мир забыл о разгромленном и сожженном селе. Выходило так, что и люди забыли о мире.

Точнее, будто бы забыли, поскольку старались жить негромко, не высовываться, когда по реке плывет лодка или баржа, не ходить без особой нужды за пределы, обнесенные засекой. Люди подразумевали, что мир еще существует где-то, и живет, и, возможно, процветает, но по другим, чужим законам, по собственному укладу, и им, людям, нет никакого дела до того мира.

И скорее всего селу не удалось бы жить в забвении, не спасла бы его ни тихая, полускрытая жизнь, ни зарастающая дорога, ни засека и натуральное хозяйство. И даже миф о погибших полностью селам и людях, оставшийся в памяти соседствующего с ними мира, не мог

бы на такой долгий срок защитить село от проникновения извне чужаков. Андрей догадывался, что главная причина этого забвения все-таки состоит в другом. Нарушилась извечная связь, объединяющая разрозненные общины в один народ. О людях, брошенных на произвол судьбы в сгоревшем селе, забыли не только существующая власть, но и крестьяне из других общин, из других деревень и сел, потому что не нуждались более в них. Пропала нужда в соседях, исчезла потребность взаимообразного единения, и каждая община, находясь в одном мире, под одним небом и на одной земле, как бы искала уединения. Долгая война, безвластие и смута, кровь и произвол, охватившие народ изнутри и снаружи, как болезнь охватывает человеческое тело, разорвали, расчленили его плоть на множество кусков, кровоточащих и пока еще живых. И теперь каждый кусок этой плоти стремился обволочься коростой, заживить раны и накопить внутренней силы, чтобы потом, в неоглядном будущем, соединиться вновь.

Это напоминало Андрею существование и жизнь живой природы. Если в стаде заболит одно животное, то оно жмется к здоровым, старается проникнуть в самую середину стада, поскольку ищет защиты и помощи. Но ежели болезнь охватывает всех, то стадо разбредается, расходится по сторонам, чтобы лечить хворь в одиночку. Кому суждено пасть, тот падет. Однако те, кто выживет и одолеет болезнь, вновь сойдутся в стадо.

Существование народа, независимо от помыслов и воли власти, довлеющей идеи и политики, все-таки подчинялось вечным законам существования живой природы. Все, изобретенное умом человеческим, достигнутое цивилизацией, оказывалось в таком случае беспомощным и необязательным и не могло сохранить ни внешней, ни внутренней сути народа, как пудра на лице не может спрятать слез и горя.

Народ распадался, чтобы, как в лихую чумную годину, каждая его часть могла построить свой обобщенный храм.

Наверное, только так, в Великом Забвении, завоеванная Батыем Русь смогла сохранить себя, выстоять под игом и дожить до далекого часа, когда родится и возмужает тот, кто зажжет свет и соберет народ.

Андрей думал так и боялся думать. Ему казалось, что жизнь в забытом селе не проживают, а пьют ее, как пьют в сильный зной и жажду воду, почерпнутую из пересыхающего источника. Сначала нужно было дать воде отстояться, чтобы весь ил и муть осели на дно, и только затем пить, но осторожно, бережно, чтобы не поднять осадка. Не усмиришь в себе жадность — и напьешься грязи.

Осенью тридцать третьего года период Великого Забвения оборвался резко, как если бы с сонного, согревшегося человека сдернули одеяло, предоставив холоду его наготу.

О том, что возле бывшего села Свободного причалила какая-то баржа и выгружает на берег народ со скарбом, Андрей узнал от женщин, ходивших по ягоду. Они прибежали едва живые, рассыпали по дороге бруснику, потеряли корзины, и дети, завидев матерей в таком состоянии, заплакали. Любушка не могла говорить. Она лишь показывала рукой куда-то на лес и повторяла: люди! люди! люди! — а звучало это слово так, будто за нею гнались звери. Дочки Люба, Лиза и Лена вцепились в ее

подол и заревели в голос. Сыновья Иван и Петр, помогавшие отцу делать выездные санки, стояли молча, по-мужски опустив руки с инструментом и печальные головы.

Взрослые мужики подседлали коней и поскакали к Свободному. Оставив лошадей в лесу, они незаметно вышли к опушке и увидели, а вернее, сначала услышали людей. Баржа уже отвалила от берега и уходила за речной поворот; оставленные на голом, диком месте люди кричали, плакали с причетом и бежали за нею по чаще и буреломнику. Кто-то, обезумев, кинулся в воду и поплыл, но холодная осенняя река поглотила человека, и женский призыв к Богу достиг неба.

Березинские не выдержали и вышли к скорбящим и страдающим. Наверное, те не ожидали встретить здесь живых людей и уже готовились, по сути, к гибели: не было даже места, чтобы согреть и сохранить детей хотя бы до утра, а зима грозила обрушиться на землю со дня на день. Мало-помалу люди приходили в себя, сбивались в кучку, и стихал крик над холодной рекой. Видимо, березинские казались им чудными, эдакими лешими, живущими по норам и дуплам, и трепетала православная душа — пойти навстречу или уж бежать куда глаза глядят, крестясь и поминая Господа.

— Не бойтесь, — сказали им березинские, осеняя себя крестом. — Мы тоже люди, не бойтесь.

Оставленных на берегу несчастных они развели по домам, обогрели, накормили и выслушали горькие повести. Оказалось, что эти глухие места, пребывающие в забвении, выбраны местом ссылки раскулаченных мужиков из южных районов Сибири.

Еще можно было продлить жизнь в Мире, Труде и Любви, можно было дотянуть до весны, однако уже стало ясно, что Гармония непоправимо нарушена и власти, узнав о тайном селе, не оставят его в покое.

Так и случилось. Вскоре несколько молодых парней из ссыльных бежали, но были схвачены и возвращены к месту ссылки уже сухопутно. Конвоиры, сопровождавшие задержанных, увидели неведомое богатое село, потаращились на такое чудо и уехали.

А через несколько дней люди с ружьями распилили и разобрали недобитую из орудий засеку на дороге и вошли в село. Народ так и ахнул: приехавшие были бритыми! Им бы плакать, а тут смешно стало. Военные исходили село вдоль и поперек, посмотрели дома, проверили дворы, хозяйства и согноли все население на площадь к церкви.

— От Советской власти прятаться?! — закричал человек с нездоровыми, измученными глазами. — Ишь, притаились тут, кулачье недобитое! От Советской власти не спрячешься! Она везде достанет!

Березинские слушали, совершенно отвыкнув от таких долгих речей, и гадали: если это мужики, то где бороды? А если бабы, то почему с ружьями? После речи больной человек сказал, что запишет всех поименно, а потом уж решит, что делать с народом. Людей выстроили в очередь перед столом, и каждый должен был назвать свою фамилию, имя, отчество, имя жены и количество детей. Перепись шла долго, уполномоченный ругался, что мужики толково не могут объяснить, чьи они; мужики невозмутимо выслушивали, и некоторые хватили уполномоченного за подбородок твердой, корявой рукой. Тот отдергивался и багровел от гнева.

— Баба просила, — смущенно объясняли мужики. — Пошшупать: брито или не растет.

— Одичали! — сверкал больными глазами человек. — Темнота лесная!

Через два дня семерых березинских мужиков арестовали и увезли в Есаульск. Среди них был и Андрей. Но не прошло и недели, как шестерых отпустили домой под расписку; Любушка же, не дождавшись мужа, оставила детей под присмотром старшего сына и отправилась на розыски.

Андрея сразу посадили в одиночную камеру и несколько дней не трогали. Изредка в двери открывалась "кормушка", и каждый раз новый человек внимательно рассматривал его и кому-то говорил, дескать, да, это он. Он! На него приходили глядеть, как на отловленного редкого зверька, и Андрей отчего-то часто вспоминал старого павиана, который сидел в клетке живого угла дома Шиловского.

Вспоминая жизнь в годы забвения, он почему-то не мог отделить день ото дня; все они сливались, образуя не сутки, не привычное исчисление времени, а какие-то события. Был день возвращения на родину, потом был день строительства дома, и были дни, когда родились Петр, Люба, Лиза, Лена...

И время скитаний тоже казалось одним днем.

Сколько же он прожил в Березине? Неделью?

Что же произошло в мире за это время? Как же вышло, что он, живя в забвении и покое, забыл, что мир-то еще существует и там живут люди, сотни, тысячи, миллионы людей, которые не могут, как он, бросить все и уйти. Ведь нельзя же уйти в забвение сразу всем!

А ведь чудилось, он нашел Леса, нашел Гармонию, но какова же цена ей, коли она существует только для тех, кто сошел с круга и отправился искать покой лишь для собственной души. Мир, Труд и Любовь...

Даже сидя в одиночке, в камере, под которую приспособили кладовую в бывшем доме дяди, владыки Даниила, Андрей чувствовал вокруг себя жизнь, в которой продолжал жить весь оставшийся на кругу мир, жизнь без всякой Гармонии, ноющую и стягивающую душу, словно обожженная кожа. Сквозь каменные стены он слышал голоса, чьи-то исповеди, слезы, стоны. Он слышал крики, от которых озноб сковывал затылок. Кто кричал? Почему? Что там происходило?!

Что делается в мире?!

Судьба, как великодушный генерал на войне, дала ему отпуск на родину. И он съездил, повидался с родными, пожил в тишине родительского крова, как в детстве, испытал материнскую заботу и ласку, попил воды из светлого источника. И вот пробил час, надо возвращаться назад, на фронт, на передовую. В окопы, к завшивевшим солдатам, на кашу "шрапнель", под пули, что реют в воздухе, словно пчелы над лугом в ведренный день.

И эта камера — с детства знакомая кладовая с железной дверью — сейчас становится для него чистилищем, но только на обратном пути, на пути Возвращения.

На пятые сутки Андрея наконец-то вызвали к следователю. Сразу было заметно, что к нему здесь особое отношение. Следователь по фамилии Колодкин — вислоусый молодой человек разговаривал вежливо, хоть за этой вежливостью чувствовался характер гневного, самовластного человека. Скорее всего, ему приказали быть

обходительным. Тем более что когда Андрея ввели в кабинет, он увидел: какая-то женщина замыкает на полу кровь.

Колодкин расспросил его, когда Андрей поселился в Березине, откуда пришел туда, с кем и выезжал ли из села с двадцатого года. Вопросы были пустяковыми, однако за ними стояли наготове другие, скрытые до поры до времени, как и сама натура следователя. Колодкину был труден вежливый и тактичный разговор, и он страдал от этого, а еще, наверное, оттого, что ему определили только диспетчерскую роль в этом деле и не дадут основательно заняться Березиным.

Выходя из кабинета, Андрей еще раз глянул на свежевыванное пятно пола и подумал, что его снова держат как большого преступника. Если вот здесь, совсем недавно, били какого-то мужика, а его не бьют, напротив, подчеркивают уважительное отношение, значит, опять дело его пойдет особняком, не так, как у всех.

Спустя сутки его препроводили в Красноярск и привезли в тюрьму, где он уже сидел весной двадцатого. Правда, камера уже была другая, но надзиратель в коридоре тот же. Когда Андрея передали ему в руки, надзиратель не узнал арестованного. Возможно, помешала большая окладистая борода, почти скрывавшая шрам на щеке.

Он обрадовался, что камера общая, большая, человек на тридцать. Его сразу же приняли за своего, за крестьянина-мужика: народ в камере сидел холстяной, посконный и незадачливый, однако уже привыкший к тюремным порядкам, поскольку старший камеры определил Андрею место возле параша. По дороге Андрей сильно промерз, к тому же в камере было холодно, и сейчас он никак не мог согреться. Не снимая овчинного кожуха, он лег на нары, прикрыл глаза и стал прислушиваться к разговорам. Речь шла, как и в есаульском ГПУ, о коллективизации. Андрей еще плохо представлял, что это такое и почему ею захвачены языки и головы мужиков, однако то, что слышал, напоминало ему разговоры о революции. Только сейчас землю забирали не у помещика, а у крестьянина. Забирали землю, скот, инвентарь, и было непонятно, чем и как жить теперь мужику.

И здесь, в тюремной камере, мужики хотели разрешить этот вопрос. Некоторые предлагали бежать из обжитых мест, уходить на Восток, на Север или подаваться в город на стройки. А большинство уже не верило ни в спасительные побеги, ни в колхозную, ни в единоличную жизнь. Время от времени после шумных споров в минуты передышки кто-нибудь повторял сокрушенную фразу:

— Натворили делов. Сами натворили... При царе на землю звон какие законы крепкие были. А нынче то дадут, то отберут...

Похоже, в России опять произошла революция: разворошили муравейник, разгребли холм до основания, чтобы заставить муравьев строить заново. Пока они трудятся — все будет спокойно. И когда люди в России привыкнут к бесконечному и бессмысленному труду, станут послушными и безропотными, можно из них формировать легионы для мировой революции.

Поздно вечером Андрея вызвали на допрос. В следственной камере тюрьмы сидело сразу четверо следователей, и одного взгляда хватило, чтобы понять, насколько велик к нему интерес. Однако сначала они молча рассматривали Андрея: сапоги, холщовые портки, рубаху

из домотканого полотна. Кожух велели снять и положить у порога.

— У вас была грудная жаба, — вдруг спросил один из них, по-видимому старший. — Сейчас она не мучает вас?

— Не мучает, — сказал Андрей.

— Как же вам удалось вылечиться? И где? — был вопрос.

— Не помню... Болезнь прошла сама собой. Я перестал ее чувствовать. Вы привезли меня сюда, чтобы справиться о здоровье?

— Да, и это тоже, — заметил другой следователь. — Хотели узнать, в каких местах лечат неизлечимую болезнь.

— Я этого не знаю, — проронил Андрей.

— Знаете, — возразил старший. — Могу вам сказать — где. В высокогорной пустыне Монголии, в монастырях ламаистов.

— Возможно...

— Давно оттуда прибыли? — спросил старший.

— Я не был в Монголии. — Андрей поднял голову и встретился взглядом со следователем: тот заранее не верил ни в один его ответ.

— Хорошо, нас это абсолютно не интересует, — неожиданно заявил тот. — Лечение — это личное дело. Вы — человек образованный и должны быть благоразумным. Тем более сами работали в ревтрибунале и с нашей кухней знакомы. В двадцатом вы самовольно оставили дело государственной важности и бежали. Уже этого достаточно, чтобы вынести вам высшую меру. Если даже не вдаваться в подробности, по каким политическим соображениям. Но сейчас у вас появилась возможность искупить свою вину перед Советским государством. Предлагаю вам добровольно выдать ценности, полученные в качестве взятки от бандита Соломатина в двадцатом году. — Следователь заглянул в бумажку. — Десять пудов золотого песка.

— Я не получал золота, — сказал Андрей.

— Вы знаете Соломатина? — мгновенно спросил старший.

— Да, знаю. Я возвращался из Казакова и был захвачен им на дороге, — признался Андрей.

— А потом отпущен?

— Он отпустил меня. Но с условием, что я налажу переговоры с властями. Соломатин хотел уйти в Монголию и просил пропустить его по дорогам.

— За это вы получили взятку?

— Я ничего не получал, — спокойно повторил Андрей. — Золото Соломатин обещал, но не мне, а властям, когда он пересечет границу.

— И вы просто так начали налаживать переговоры? — Старший поднялся и подошел к Андрею вплотную. — Неужели вы думаете, что мы настолько наивны, чтобы поверить в это? Прошу вас, не спешите с ответами. Вы получили взятку от Соломатина и были ею повязаны. Потому он вас отпустил и поверил. Потому вы и пошли к военному комиссару и председателю губчека. У нас есть письменные подтверждения их, с какой настойчивостью вы требовали пропустить банду в Монголию.

— Я требовал, чтобы не проливать лишней крови, — невозмутимо проговорил Андрей. — Соломатин воевал за красных. Он был партизаном.

— Так вы его защищаете и сейчас? — удивился старший. — Защищаете бандита?.. Вы и тогда его защищали, помните?

Андрей заметил, что один из следователей что-то быстро пишет, оставаясь безучастным к допросу.

— Помню, — сказал он.

— А помните, как воевали с ним? — в упор спросил старший. — И не пускали его грабить город Есаульск?

— И это помню...

— Почему же так резко изменилось ваше отношение к нему?

— Я начал понимать, кто он, — раздумывая, выговорил Андрей. — Начал разбираться, что происходит...

И запнулся, озаренный внезапной догадкой.

Никто из этих четверых не верил в историю сговора с бандой Соломатина, во взятку, золото, лечение у монгольских монахов. И они все прекрасно знали, как все было. С Соломатиним тогда пошли на хитрость: приняли его условия, разрешили передвигаться по дорогам, разумеется, под наблюдением и конвоем, и в пределах советских границ устроили ему засаду, наняв для этой цели бурятских кочевников.

Они все это знали и все-таки возводили заведомую напастину на бывшего председателя ревтрибунала. Вешали на него взятку, золото и сговор с бандитами. Ему готовили уголовную статью. Но дело было в политике, и Андрей начинал понимать, зачем сейчас ОГПУ пытается вывалить его в уголовной грязи, уличить во взяточничестве, в жульничестве, в корысти.

Это была месть.

Мсть "своему", который когда-то не захотел мазаться в крови и умыл руки. Мсть за то, что он, Березин, не захотел даже использовать хитрый ход, вывернуться из ситуации "законным" путем и отойти в сторону. Возможность такая была у Андрея. Попроси он медицинской комиссии — и с грудной жабой его бы не стали держать на тяжелой работе в ревтрибунале. Он мог перейти на хозяйственную или канцелярскую службу и спокойно остаться в хороших отношениях с Советской властью.

Он не захотел. Он ушел, найдя в себе силы отказаться от всего и, по сути, поставить себя вне закона. Это нельзя было считать чистым предательством общих интересов или перебежкой в стан врага. Но с их точки зрения это была измена: революции без крови не бывает, и если уж все уделались в ней по горло, так и ты не ходи стороной, лезь в эту трясику, мажься вместе с нами. Чтобы никто потом не смел ткнуть пальцем, чтобы потом в одно горло, одним ором кричать и доказывать — революции без крови не бывает! Иначе как же оправдаться, если потом, через много лет, начнут ревизию, если потомки пожелают узнать, почему светлое будущее добывалось такой кровью и почему самая гуманная революция делалась таким жестоким и негуманным образом. Потомки могут промолчать, оставаясь в неведении, но могут и спросить, если останется хотя бы один вот такой, не пожелавший пойти со всеми.

И поэтому сейчас, пока не поздно, на изменника надо повесить ярлык уголовного, погрязшего не в крови, так в корысти. А мздоимцы презренны во все времена.

Эти люди в следственной камере и те, кто стоял за ними, думали сейчас не о революции даже и не о себе. Они мыслили о будущем и мстили "своему".

— Так продолжайте, — поторопил старший из следователей. — Что вы начали понимать? Что Соломатин не бандит?

"Они не могут простить мне и то, что все эти годы я жил в полном забвении, — подумал Андрей. — Что жил в чистоте, в Мире, в Труде и Любви. А они продолжали свое дело..."

— Я начал понимать, почему некоторые партизанские отряды не хотят разоружаться, — глухо проговорил Андрей.

— Любопытно, почему? — спросил один из следователей, хотя ему наверняка было нелюбопытно: вот если бы ему натягивали на политическую статью, тогда бы — да.

— Они не могли доверять власти, которая установилась, — сказал Андрей. — Которую сами установили.

Старший поморщился. Это ему было невыгодно и совершенно не нужно, поскольку он сам знал, почему не сразу разоружались партизаны.

— Но вернемся к нашему вопросу, — проговорил он надменно. — Десять пудов золота, награбленного вашим Соломатиным, пока не возвращены государству.

— Почему вас не интересуют мои политические убеждения? — спросил Андрей.

— Потому что десять пудов золота дороже, чем ваши убеждения, — резко проговорил старший из следователей.

"Зачем им понадобился этот допрос?" — Андрей посмотрел на того, который писал протокол, и тут же вспомнил: ритуал! Для убедительности надо соблюсти ритуал, иначе кто же поверит? Да и можно ли сочинить препирательства со следователем так искусно, чтобы и через сто лет никто не усомнился в правдивости документа. Ритуал — дело великое. Особенно когда дело касается вечности.

— Я не получал ни взяток, ни золота, — твердо сказал он. — Ни от Соломатина, ни от кого другого. Прошу это записать в протокол.

Старший поглядел ему в глаза, засунув руки в карманы брюк, покачался на носках хромовых сапог, поскрипел ими и, обернувшись назад, разочарованно сказал:

— Что ж... Запишите в протокол, если просит.

И, не вынимая рук из карманов, пошел к двери, открыл ее ногой и скрылся. Трое оставшихся зашевелились, встали со своих мест. Один затворил дверь, а тот, что писал, убрал бумаги в папку, бросив ее на подоконник.

— Я записал, — сказал он и неожиданно сильно ударил в живот.

Андрей успел напрячь мышцы. Было больно, но терпимо. Кулаки сжались сами собой, однако сильный удар сзади по голове бросил его вперед. Андрей обхватил голову руками и в тот же миг, получив удар сапогом в пах, зажался, собрался в комок и повалился на пол.

Его били пинками, норовя попасть в лицо. Он мог сопротивляться лишь тем, что вовремя напрягал и расслаблял тело, чтобы не поломали кости.

Потом стало безразлично, и онемевшее, потерявшее чувствительность тело казалось чужим и нелепым, словно речной топляк.

...Он не помнил, как его утащили в камеру. Очнулся, когда какой-то человек при свете тусклой лампочки отмывал водой его лицо. Зубы, кажется, были целы, но рот не закрывался из-за распухших губ.

— За что же тебя эдак-то? — горестно спросил мужик, заметив, что Андрей пришел в себя. — Эко бить научились... Конечно, они все каторги прошли, видали, как надо человека до ума доводить.

Андрей взял из его рук посудину с водой и с трудом напился, проливая на бороду. Ссохшаяся и размокшая теперь кровь потекла на руки. Он промокнул саднящее лицо подолом рубахи, вытер, размял бороду.

— Меня тоже били, — признался мужик. — Да не так шибко... Боятся, чтоб на морде ничего не оставалось, мне скоро выходить на волю. Все по животу да по печенке хлестали. Да чего, раз невиновный.

Голова кружилась. Беленые, чистые стены камеры плыли и мерцали так, что больно было смотреть. Андрей закрыл глаза и лег.

— Худо? — спросил мужик.

— Худо, брат...

— Дело-то совсем гиблое или надежда есть?

— Нет надежды, — проронил Андрей. — Сразу круто взяли... Забьют.

Он повернулся на бок — болела спина и содранная под рубахой кожа. Грубая домотканая холстина при скользящем ударе словно наждачный камень обдираала кожу. Чтобы пересилить боль, он стал думать о детях. Вспомнил ласковые ручонки младшей, Лены. Когда Андрей сажал ее на колени, она немедленно вцеплялась в бороду и тянула, визжа от восторга. Боль от рук дочери тогда казалась сладкой. А старшая дочь, Любушка, пыталась защитить отцову бороду и выговаривала, воспитывала младшую. Люба возле матери выросла быстро и в девять лет наполовину играла в маленькую женщину-хозяйку и наполовину была ею. Средняя же дочка, Лиза, росла тихой, задумчивой, словно осенняя лесная речка. Она донашивала платица за Любой, добивала ее сапожишки, никогда не жаловалась ни на ушибы, ни на царапины и в этой нетребовательности чем-то напоминала Андрею маменьку, Любушку, мать Мелитину, и он иногда жалел, что имя ее было отдано старшей дочери.

Андрею стало легче, наступало какое-то заманчивое забытие-воспоминание и утишало боль. Он стал думать о сыновьях и заулыбался разбитым лицом. Сыновей он держал в строгости, наверное, даже излишней, поскольку иногда становилось их жалко, а иногда — смешно оттого, что, строясь, в душе он ласкал их. Старший, Иван, уже вовсю пахал с отцом, плотничал и косил; Петр пока еще боронил, однако в нем угадывался человек, непригодный для крестьянского труда. Если Ивана в одиннадцать лет можно было назвать мужиком — и он все ждал, когда вырастет борода — признак мужика, то Петр, годом всего младше, был мальчиком. И все в нем — фигурка, голос, взгляд — было мальчишье. Наверное, если бы в Березине была хоть одна книга, его было бы не оторвать от нее.

И так, перебрав своих детей, Андрей коснулся мыслью матери семейства, и все в нем замерло. Что, если они арестуют Любушку? И начнут пытаться ее! В конце концов, они тогда вместе попали к Соломатину. И ритуал обязательно потребует свидетельства всех участников грязной сделки с врагом и бандитом.

Возьмут Любушку — могут взять детей!

Андрей, забыв о боли, сел на нарах и уставился невидящими глазами на мужика.

— Что? — спросил тот с некоторым испугом. — Ты чего?

Он уж разжал опухшие губы, чтобы сказать свои мысли вслух, однако увидел лицо соседа по камере и прикусил язык. Надо молчать. Этот мужик наверняка посажен к

нему, не зря толкует, что скоро на волю. Андрей помнил и знал, как в ЧК собирали разведывательную информацию об арестованных. Вряд ли что изменилось с тех пор. Разве что название — ОГПУ. Скажи он вслух — укажет свое слабое место. И тогда они не преминут им ударить по нему, а это будет больнее, чем сапогом в пах.

Ночью Андрей почти не спал. И не спасали воспоминания о семье, наоборот, охватывало беспокойство. Если они не тронут семью, то можно бороться с ними до конца. Пусть они выполняют свой ритуал, пусть ломают пальцы о его тело и отшибают ноги. И пусть потом все-таки подделают протокол, его подпись и признание. Зато у него начинается новый путь! Открывается дорога, по которой можно идти! Ведь Уход и поиск Лесов возник лишь тогда, когда не стало Пути. И жизнь в Великом Забвении была чем-то вроде распутья. Но вот постоял на нем, почитал надпись на камне и пошел.

И можно еще идти долго, если скоро не забьют или не тронут Любушку и детей.

Если тронут — придется принять на себя взятку, сговор, золотой песок. Семья — его заложники...

Наутро Андрея перевели в общую камеру, в ту, где он уже был. Сокамерники, увидев синее, распухшее лицо, сразу не признали в нем вчерашнего новичка. Андрей лег на свои нары возле параша и закутал голову кожухом. Пахло родным, домашним: кислым тестом, овцами, ивовой корой. Потом кто-то опознал его по одежде, и старший по камере велел ему перелечь ближе к окну. Андрей перебрался на новое место, и мужики, проникшись к нему, уселись рядом. Один из них склонился к лицу и спросил:

— Чего это они так?.. Нас тоже не по головке гладят, да полегше твоего...

— Потому что свой, — вымолвил Андрей. — Со своими можно и так...

Никто больше не переспрашивал, не уточнял, видимо, решив, что новичок — человек либо очень уж значительный для ОГПУ, либо совсем никчемный, если с ним не церемонятся.

Он же лежал и думал, что за один раз сразу получил все сполна, все, что эти мужики получали на протяжении одиннадцати лет, пока он жил в забвении под сенью Лесов, прикрывших его от мира. Он вспоминал брата Александра и прокручивал в памяти его судьбу. Скорее всего тогда, в восемнадцатом, Саша понял, что лишен Пути, и выбрал себе новый, неожиданный. Он ушел в монастырь, чтобы уйти от мира. Это тоже был Уход, но с той лишь разницей, что Возвращение последовало немедленно, но уже в другом облике, по другому Пути. Казалось, он всего лишь переоделся в рясу... А мать? И она после смерти мужа выбрала себе дорогу. И теперь где-то идет ею, если еще жива.

А ему, Андрею, открылся свой. И другого не будет.

...Неделю его не трогали, наверное, ждали, когда заживет. Андрей готовился к допросам и даже желал их, однако о нем словно забыли. Он заранее оторвал часть рукава от кожуха и все время держал за поясом, под рубахой, чтобы, когда поведут, незаметно положить овчину в штаны и тем самым защитить пах. Через неделю без всякого допроса его ввели в ту же следственную камеру и избили. На сей раз работали уже не следователи, а по виду такие же арестованные мужики. Били только кулаками, "по-честному", и не пинали, когда упал. В ту же ночь его

стали допрашивать, причем совершенно другие люди, но вопросы задавались те же. Ничего не добившись, его отвели в одиночку каменным полом, где из тюремной мебели была лишь одна решетка на окне. Четыре дня ему давали только воду, и то около литра в сутки, на пятый принесли три крупных ржавых селедки. Он сообразил, зачем это делается, — потом не дадут воды, и есть не стал. Голод терпеть легче, чем жажду.

Похоже, они недооценивали либо забыли, что он прошел через "эшелон смерти". Напрасно было придумывать пытку страшнее той пытки. Разве что пустить еще один эшелон, заменив зной на зимний холод. Голодным его держали девять дней, и селедка, брошенная в угол камеры, не испортилась за это время — настолько была солонa. Изредка он нюхал ее, переворачивал с боку на бок, как обычно кот играет с замученной мышью, и не трогал. На десятый день — а после ареста это уже был сороковой — его вызвали на допрос и уже не били, не спрашивали о золоте и сговоре. Следователь был тот же, что допрашивал в первый раз. Они не называли своих фамилий и имен, в кубиках на петлицах Андрей тогда еще не разбирался, поэтому создавалось ощущение, что разговариваешь не с человеком, а с неким безликим существом, всякий раз меняющим форму. Эта безликость была выгодна следователям, но и мешала, потому что не вызывала к себе человеческих чувств арестованного.

— Где ваша жена? — спросил он несколько хмуровато.

Андрей мог говорить только шепотом: голос от безводья окончательно сел.

— Не знаю... — выдавил он и внутренне восторжествовал: значит, она на свободе! Значит, они ездили за ней и не нашли. Но где дети? С ней?

Следователь налил ему воды из графина и подал стакан. Андрей выпил, прополоскал рот.

Любушка все поняла и догадалась спрятаться с детьми. Только где? Найдут ли ее? Хорошо бы ушла к старообрядцам, там надежно. Но где ей уйти туда зимой и с детьми?.. А в Березине сейчас много чужого народа, там найдут.

— А вы не радуйтесь! — вдруг прикрикнул следователь. — Дети ваши у нас... Может быть, хотите повидаться?

В груди все оборвалось, и вновь пропал голос. Что же она, оставила детей?! Или следователь сбивает с толку? Пугает?

— С детьми вы ничего не сделаете, — прохрипел Андрей. — Рука не поднимется. А поднимется — ваша власть рухнет обязательно и скоро.

Он подошел вплотную. Андрей видел его слегка пористую кожу лица, маленький носик с мелкими каплями пота, щетину, бритую утром и уже отросшую к вечеру, глаза с высоким нижним веком. Он был настоящий, из крови и плоти, и не было в нем ничего, что выдавало бы злобу, ненависть к людям, цинизм и кровожадность. Он был человеком, рожденным русской женщиной, любимым ею, вскормленным молоком, как все дети; и был у него отец, который, наверное, дорожил сыном, гордился, что похож на него, и хотел ему добра. Видимо, была у него жена — подворотничок чистенький, гимнастерка отутюжена, а если жена — были и дети. Он был человеком. Но что же стало с ним?

— Дети за родителей не отвечают, — медленно проговорил следователь. — Мы их сдадим в детский дом,

дадим другие имена, другую фамилию. И вырастим настоящих социалистических людей.

— У вас не получится, — уверенно сказал Андрей. — Мои дети уже взрослые и ничего не забудут. А что с ними сделали — все запомнят.

— Мы посмотрим, — бросил он. — Так где ваша жена?

— Я не знаю, — выдохнул Андрей.

— А вы подумайте! — предложил следователь. — Хороша, нечего сказать. Сама убежала, а детей ваших, как щенят...

— Замолчите! — Андрей сжал кулаки.

— Значит, вам известно, где жена? — вцепился следователь. — Скажете, или вас за язык потянуть?

— Делайте что хотите...

Следователь вызвал конвой.

Андрея вернули в общую камеру и дали поесть. Он съел, не чувствуя ни аппетита, ни голода, ни сытости: все утратилось, осталась лишь одна дума и чувство — дети. Надо было заснуть, но сильный кашель разрывал гортань — сон в одиночке на каменном полу, похоже, оборачивался воспалением.

Рано утром его вывели в коридор и около часа продержали у стены, возле следственной камеры. Наконец, следователь сам вышел и приказал вводить.

Он был утомлен ночной работой, побледнел, и черная щетина напоминала ремень от чесальной машины.

— Жить вам осталось ровно неделю, — провозгласил он измученным голосом. — Через неделю вас привезут в Есаульский лагерь. И все кончится в первый же день. Нам не нужны больше ваши показания. Доказательств достаточно. Прощайте.

Конвоир подтолкнул к выходу.

В Есаульске его сразу привезли в бывший женский монастырь. Когда вводили в лагерь, Андрей озирался по сторонам: хотелось найти, увидеть стену, возле которой архимандрит Федор читал свою последнюю молитву, хотелось представить себе, как женщины — и мать Мелитина среди них, взобравшись на стены, льют кипяток на головы конфискационного отряда.

А еще он пытался найти могилы возле храма, где под каменным крестом лежал Саша. Однако могил уже не было: на этом месте стоял новый, только что срубленный барак.

"Все кончится в первый же день", — вертелась на уме фраза-приговор. А если нет, значит, они замыслили что-то еще. Воспаление легких за дорогу проникло глубже, сухой душащий кашель сводил тело судорогой, жар был небольшим, но Андрея качало и слезились глаза. Его поместили в изолятор, где уже было два человека. Одного из них Андрей узнал: чалдон, пришедший к нему в отряд со всей семьей. Однако бывший партизан не узнавал своего командира, да и трудно было признать тогдашнего Андрея Березина. К тому же люди в изоляторе были каждый сам по себе и мало что замечали, словно на молитве.

Андрей закутался в кожух и лег. Чтобы усмирить кашель, следовало согреть тело, но чтоб воздух, попадающий в легкие, оставался холодным. Тогда можно было впасть в полусонное состояние, и время текло бы незаметно. Он пролежал так до ночи, пока его не вызвали и не повели в монашеские кельи. Он все делал механически — надевал сапоги, кожух, шапку и шел потом за конвоиром, стараясь не растряссти в себе обманчивое

чувство покоя и полусна. Но в келье Андрей очнулся: Колодкин, засунув руки в карманы брюк, расхаживал взад-вперед и поглядывал испытующе. Почему-то у всех следователей ОГПУ, заметил Андрей, была эта привычка, ходить руки — в брюки, любясь своими блестящими сапогами, "бутылками" галифе и прислушиваясь к своей собственной чеканной поступи. Он ни разу не видел следователя неопрятным; они придирчиво следили за своим внешним видом — наверное, это считалось особым шиком и служило той разделительной чертой, которая проводилась между ними и арестованными. Они прохаживались перед допрашиваемыми, сшибали пылинки с мундира, слегка время от времени растягивали тугие ворота и поправляли обвисающие "бутылки" брюк. Андрей же каждый раз вспоминал знаменитого изобретателя галифе — кавалерийского генерала, француза Галлифе, генерала-палача, топившего в крови Парижскую коммуны.

Иные работники ОГПУ и на лошади-то не сидели, однако носили чисто кавалерийскую одежду — форма есть форма.

— Я сделал ошибку, Березин, — признался следователь Колодкин. — И вынужден пока вас освободить. Но только не сейчас, а утром. Утром вас встретит жена и отвезет домой... Кстати, я знаком с вашей матушкой. Судьба свела нас года два назад. И должен сказать, она ведет себя достойнее, чем вы.

— Где она? — спросил Андрей.

— Там, где вы все должны быть! — отчеканил Колодкин. — Она на перековке, строит Беломорско-Балтийский водный путь. Думаю, вы скоро с ней встретитесь. Там, на канале... Да, я сделал ошибку и не прошу этого себе.

— Вы не ошиблись, — выдавил Андрей. — Вы арестовали врага... Я ваш враг!

— Да вы не поняли меня, — поморщился Колодкин. — Моя ошибка в том, что надо было расстрелять сразу, а потом доложить в Красноярск.

— Еще не поздно, — сдерживая кашель, проронил Андрей. — Все в ваших руках.

— Я подумаю, — бросил он. — До утра время есть.

Андрея вернули в изолятор. Несмотря на глубокую ночь, никто не спал. Бывший партизан из отряда Андрея встретил его у двери, схватил за руки, забормотал:

— Что с нами сделают? Чего сказали?..

Он по-прежнему не узнавал командира; Андрей же не мог вспомнить его имени. Помнил его жену, детей и даже трехзарядную берданку на плече — имя вылетело из головы.

— Должно быть, выпустят, — проговорил Андрей: его трясло, наваливалась сонливость и усиливался жар.

— Отсюда не выпускают, — горячим шепотом произнес тот. — Говорят, если попал сюда — дорожка одна...

— Хочу спать. — Андрей отбросил его влажные руки. — Не мешай...

Он повалился на нары, и тусклый свет померк, словно выдутый сквозняком.

Утром его растолкали. В камере была суматоха. Четверо стрелков скручивали руки тем двоим сокамерникам. Они уже были раздеты до исподнего. Стрелок с заиндевевшей винтовкой содрал кожух с Андрея, пихнул прикладом.

— Чего? Особого приглашения надо? Раздевайся!

Дверь в камеру была открыта, морозный воздух влетал клубами и, прокатившись по полу, уносился к потолку.

На миг ослабли руки, однако в чумной от жара голове прояснилось, и болезнь отступила, унялся кашель.

И вдруг Андрей ощутил сильный голод, какого не помнил, пожалуй, с детства. Окажись под рукой сухарь или картошина, съел бы не жуя. Он огляделся по сторонам — вроде видел с вечера кусок хлеба на подоконнике...

— Раздевайся! Живо! — сквозь зубы выдавил стрелок.

Тех двоих уже скрутили и потащили к двери.

"Колодкин обманул, — пронеслось в голове. — Сказал о свободе, чтобы я не сошел с ума... Вот как делают... Женой обнадежил. А я ведь поверил..."

Он снял сапоги, затем штаны, оставшись в кальсонах. На завязках было множество узелков, отчего они стали короткими и уродливыми, как больные ветви дерева. Андрей так считал дни с начала ареста, чтобы не сбиться. Он хотел завязать еще один узелок, но охранник схватил за шиворот и толкнул в раскрытую дверь, на мороз.

"Вот как все делается, — продолжал думать он. — Поощадили, чтобы с ума не сошел... Колодкин... И на этом спасибо..."

На улице чуть светало. Андрея подвели к калитке на хозяйственный двор. Стрелок толкнул ее, показал стволом винтовки — проходи. У калитки был порожек, невысокий, засыпанный снегом и испещренный следами босых человеческих ног. Андрей хотел шагнуть вперед, но ноги не слушались. Деревянный порожек казался высоким и в сумерках черным, словно осмоленным. За ним был чистый, белый снег, только следы уже были не человеческие, а птичьи.

"Боюсь! — ожгла мысль заолодевшую голову. — Я же смерти боюсь!"

Стрелок толкнул его за калитку. Андрей инстинктивно раскинул руки, чтобы уцепиться за столбы, но опоздал — под руками был воздух, а впереди — старая конюшня с распахнутыми воротами, возле которых стояли стрелки в черном и Андреевы сокамерники в исподнем.

"Отчего же я боюсь? — взывал Андрей, ощущая, как накапливаются слезы. — Как мне страшно... Жить хочу! Жить!.. Что со мной? Отчего?.. Надо молиться! Погоди, а как? Что говорить?.. Страшно!"

Тем временем сокамерников толкнули в конюшню, и сразу же там вспыхнул ослепительный свет. Он достал глаз, и Андрей сощурился, стрелки вскинули винтовки и ударили вразнобой, целя в яркий квадрат распахнутых ворот. Огонь из стволов слился со светом в конюшне, и сразу все погасло.

— Давай! — крикнули конвоиру Андрея. — Бегом!

Толкая в спину, конвоир погнал Андрея к воротам, пихнул последний раз и отскочил назад. Андрей встал перед черной пропастью конюшни. Темень выплывала оттуда как дым и казалась осязаемой.

"Молитву! — просил он про себя. — Молитву!.. Как? Отходную?!"

И не мог вспомнить ни единого слова, хотя много раз слышал; не мог и понимал, что уже не вспомнит, не успеет.

— Беги! — крикнули сзади, и в тот же миг свет ослепил.

Он побежал слепым, выставив руки вперед. Белый искристый шар стоял перед глазами и убегал вместе с ним, а вернее, летел впереди, увлекая его за собой.

И в тот миг он ничего не видел, кроме этого света.

Он не помнил, сколько бежал. Сознание будто тоже было ослепленным и ничего не воспринимало, как и глаза.

Даже когда потух свет и Андрей оказался на улице, в первый момент он ничего не различал, кроме этого сияющего шара.

Бежать дальше было некуда — перед ним оказалась деревянная стена. А в ушах все еще стоял крик-команда: "Беги!" Прильнув грудью к стене, он сморгнул пятно света и, обернувшись, увидел Деревнина. Андрей мгновенно узнал его, даже, скорее, угадал. Тот самый Деревнин, гимназист, пришедший к нему в отряд самообороны, Деревнин, который в двадцатом был освобожден Андреем из-под стражи и выпущен на волю со свидетельством о его партизанском прошлом.

— Оботрите ноги, — скомандовал Деревнин.

Андрей глянул на свои ноги — они по щиколотку были забрызганы чем-то серым и липким. Он забрел в сугроб и стал оттирать ступни, оставляя эту серость на белом снегу.

— Идите вперед! — приказал Деревнин, держа руки за спиной.

Послушно, повинувшись только чужому голосу, Андрей пошел по набитой, выпуклой тропинке вдоль стены конюшни. Деревнин вывел его с хозяйственного двора и впустил в изолятор.

— Надевайте, что получше, — бросил он. — Пимы вон лежат. В сапогах холодно.

Он ничего не слышал, кроме этого голоса, и подчинялся ему, как если бы это был голос с Неба.

Он натянул свои штаны, сунул ноги в чужие валенки, а Деревнин уже подавал полушубок — новый, добротный, отороченный мерлушкой по бортам и низу. Андрей машинально надел его, а Деревнин напялил ему на голову какую-то шапку и, оглянувшись на дверь, сказал полупшепотом:

— Я ваше свидетельство помню. Все помню... Пошли!

Колодкин сидел в келье и, казалось, сидит так с ночи. Разве что табаку в кисете поубавилось и махорочный дым висел под потолком.

— Вы условно расстрелянный, Березин, — объявил он. — Прошу помнить об этом всю жизнь. Подпишите!

Колодкин пододвинул к нему лист бумаги и, обмакнув перо, подал ручку. Андрей взял ее, забыв, для чего существуют ручки. Он смотрел на перо, на фиолетовую золотинку чернил на его кончике и не мог понять, что от него требуется.

— Подпишите! — повторил Колодкин. — Это подписка о неразглашении. Язык следует держать за зубами. Вы ничего здесь не видели, не слышали и ни о чем не знаете. Все ясно? Или повторить?

Андрей качнулся к столу, и ему показалось, что он только сейчас первый раз вздохнул, сделал первый вздох после того, как получил команду бежать. Он увидел перед собой лист бумаги с машинописным текстом, опустил на него руку с пером и с трудом вывел корявую подпись.

— Проводите, Деревнин, — бросил Колодкин и сунул лист в папку. — Помните, Березин, пока условно.

Самокатки на ногах были новые, необмятые и сковывали шаг, как деревянные. Деревнин остановил Андрея возле ворот монастыря, велел часовому отомкнуть калитку. Брякнул замок, окованная калитка распахнулась, и вновь перед Андреем возник порог.

— Идите, — поторопил Деревнин. — Ну? Шагайте!

В белом прямоугольнике растворенной калитки он увидел Любушку. Она стояла, как на картине, плоская, неживая, неподвижная.

Андрей переступил порог и встал.

А Любушка вдруг упала на колени, поползла вперед и стала креститься, шевеля белыми губами. Андрею почудилось, будто она молится на него. Однако он поднял голову и увидел надвратную фресковую икону Божьей Матери, проступающую сквозь серую муть гашеной извести...

— Есть хочу! — будто бы закричал он. — Есть хочу!..

Но все-таки голос и разум к нему вернулись позже, когда Любушка, закутав Андрея в тулупы, гнала коня по поющей санной дороге.

— Дети? — спрашивал он, пытаясь пробиться из парного тепла овчины. — Где дети?

Она стегала мерина по-мужски, с отяжкой, и, жмурясь от снежной пыли из-под копыт, смотрела вперед.

— Люба! Дети! — стонал он, выворачивая голову из тулупной тяжести. — Услышь меня! Любушка!

Она услышала, обернувшись к нему белым, заолодевшим лицом, крикнула:

— Дома дети, Андрюша! Дома, милый!.. Н-но! Н-но, пошел!

Мерин срывался в галоп, и снежная круговерть дымилась над пустынной дорогой.

В Березино приехали вечером. Конь, подвернув к воротам дома, завалился в оглоблях, забился, цепляя копытами снег, и захрапел. Андрея втащили в избу на руках, подняли на жарко истопленную печь. Дети испуганно жались друг к другу, не понимая, что происходит. А Петр улыбнулся с таинственной радостью и сказал:

— Папа родил...

Последняя дочь, Лена, появилась на свет неожиданно, до срока, причем не в избе, а в санях, когда Андрей с Любушкой поехали за соломой, и вместо соломы привезли они сверточек, и дети так же перепугались, когда Андрей внес на руках и мать и новорожденную. Видимо, и сейчас дети не могли взять в толк, что случилось с их отцом. По их разумению, отец, как самый сильный человек на свете, не мог быть таким слабым и беспомощным. И если это произошло, то значит, случилось невероятное, непонятное для детского воображения событие.

Андрей позвал детей к себе, и дочки немедленно взобрались на печь, сыновья же остались на приступках — всем места не хватило. Любушка хлопотала с горшками, готовя питье, и поминутно окликала Андрея, будто проверяла, не исчез ли он. Андрей подал руку детям, и они вложили свои ручонки в его ладонь. Только сыновьям было не достать, поэтому они держались за отцовскую ногу.

— Валенки чужие, — сказал Иван. — Да и кожух не наш. В чужой одежде привезли.

Он говорил Петру, и говорил так, словно речь шла о ком-то постороннем. Андрей попросил их стянуть валенки, а сам, едва ворочаясь, стал выпрастываться из полушубка.

— Папа, а у тебя между пальцев кровь, — сообщил Петр. — Вон как чужими пимами натер!

— Люба! — позвал Андрей. — Любушка, уберй детей! Слышишь, убери! И ноги мне вымой...

Сам он не мог оттолкнуть их, не мог выпустить из своей

руки руки дочерей. Любушка сняла детей с печи, налила теплой воды в лохань и стала мыть ноги.

— Что они с тобой делали? — спросила она, задавливая в себе ужас.

— Потом, потом, — простонал он.

Глубокой ночью в негаснущее окно Березиных постучали. Любушка оставила Андрея и метнулась к замерзшему стеклу, потом к двери, и скоро с клубами морозного воздуха в избу вошла Альбина Мамухина. За все время жизни в Березине она никогда не перешагивала порога Андреева дома, лишь, встретив на улице, на мгновение поднимала глаза и даже не кивала, словно видела совсем чужого человека.

— Я овечку привела, — не поздоровавшись, сказала Альбина. — Давай зарежем и в горячую шкуру завернем. По-другому не спасешь.

Андрей лежал в полузабытьи и видел лишь обрывочно, что делали женщины. Вот втащили зарезанную овцу, вот подвесили ее, вот уже ободрали...

Потом они снесли Андрея на стол, завернули в овечью шкуру мездрой к телу и снова подняли на печь. Возились с ним, как с ребенком, пеленали, помогали друг другу, но молча, словно каждый спасал Андрея в одиночку.

— К утру полегчает, — заверила Альбина перед уходом, и то было последнее, что он слышал.

Утром и правда стало легче. Не уснувшая ни на секунду Любушка была рядом — промокала обильный пот с лица, и он, прежде чем очнуться от сна, услышал эти прикосновения. Она приподняла голову Андрея и поднесла глиняную кружку с питьем. Андрей выпил густой травяной настоей и попросил освободить грудь от овечьей шкуры.

— Мерин пропал? — спросил он.

— Запалился, — сказала Любушка.

— Почему же я живу? — вздохнул он. — Меня расстреляли...

— О чем ты, Андрей?

— Да, меня расстреляли, — повторил он. — Меня обманули... А я смерти боюсь, Любушка! Я так ее боюсь...

Наверное, ей показалось, что он бредит. Она закрыла его рот ладонью и зашептала, целуя лицо:

— Молчи, молчи, молчи...

— Боюсь! — отняв ее руку, сказал Андрей. — Я не боялся смерти, потому что был мертв! Чего мертвым-то бояться?.. Если боюсь, значит, живу! Ожил! Воскрес!..

— Андрей! — взмолилась Любушка. — Милый, успокойся. Тебе чудится, ты бредишь. Ну? Очнись, это я перед тобой, я! А в горнице спят наши дети, ну?

— Я в памяти, — признался он. — Я все осознаю, все чувствую.

— Все равно, не вспоминай! Забудь! И запомни, пока я с тобой — ничего не случится!

— Как ты сказала? — вдруг напрягся он. — Повтори!

— Пока я с тобой — все будет хорошо, — словно неразумному ребенку, по слогам, повторила Любушка. — И ничего не случится.

Андрей нащупал край шкуры на груди, отодрал ее, отвернул край, и сразу стало легче дышать. Свежая овчина вытянула боль.

— Вот почему меня отпустили, — медленно проговорил он. — Вот почему расстреляли условно... Где ты была? Они же тебя искали! Где ты была?

— Зачем тебе это, Андрюша? — Она попыталась

уложить его голову на подушку. — Самое главное — ты спасен, ты жив! Они не успели...

— Ты видела Шиловского?

Она замерла на мгновение и опустила голову.

— Прости, Андрей... Иначе тебя было не спасти. Я ездила в Москву. Продала свой крестик и кольцо... Я бы все продала, чтобы спасти, выкупить тебя!

— Зачем? Зачем ты сделала это?.. — Андрей ослаб. — Он спасает меня второй раз... Я в долгу перед ним. Понимаешь ли ты, я не хочу быть его должником! Не хочу от него брать жизнь!.. Один раз уже взял. И вот, ты видишь... Не хочу!

— Но что мне было делать, Андрей! — застонала она и уткнулась в его грудь. — Мы бы все пропали. И дети наши! Я молилась, чтобы успеть мне, а не им. И я успела... Сомневалась, когда ехала. И уже тогда думала, что ты воспротивишься. Но только он мог спасти!

Андрей приподнялся на руках и прислонился к стене, потянул с себя шкуру: присохшая, она отрывалась с трудом, болезненно, словно приросла к живой коже.

— Ты же знаешь, Андрей. Я не разделяла его замыслов, не понимала его революционных идей. Это не женское дело! Мне всегда хотелось вырваться из его дома! — Она едва сдерживала слезы. — И я вырвалась. Но что же делать? Что? Если никто в мире — никто! — не мог бы спасти тебя и детей! А я — мать! Мать я!.. И жена твоя... За тебя, Андрей, за жизнь детей моих я самому страшному врагу в ноги повалюсь! И ты меня не осуждай... Все равно мы вырвались от Шиловского. Теперь у него нет власти...

— Нет, не вырвались, Юлия, — сказал Андрей и осекся, назвав жену именем из прошлого — а она словно не услышала этого. — Мы повязаны... И даже жизнь в забвении ничего не значит. И если он сумел освободить меня на таком расстоянии!.. А ведь Троцкого уже нет. Я знаю, слышал в камере... Нет его, врагом объявлен... Значит, Шиловский еще в силе, и над нами его воля. Теперь же и вовсе погрязли.

— Андрей, все не так! — полушепотом воскликнула Любушка. — Он стал совсем другим. Как бы сказать... Успокоился, тихо живет.

— Тихо живет, — проронил Андрей, и тут же вспомнился ему Шиловский, лежащий в вагоне, на "нейтральной" полосе, между больными и здоровыми, а по сути, между живыми и мертвыми. Сколько раз ему тогда казалось, будто комиссар не дышит, прикрытый соломой и всеми забытый. Не просил ни пить, ни есть по целым суткам, и лишь когда Андрей подходил к нему и сгребал солому с лица — Шиловский открывал глаза, смотрел и шевелил пересохшими губами. И странно, что в вагоне его вообще не замечали, словно несуществующего: видимо, здоровые не считали его больным, но и не принимали как здорового. Те же, кто лежал на тифозной половине, впадал в безразличие к миру, и души их, отринув все земное, прощались с телом.

А он между тем жил, и заживала его страшная штыковая рана.

— Он сначала сердился на тебя, — продолжала Юлия. — И спрашивал, как ты смел оставить ревтрибунал и бежать... Я рассказала, как ты заболел ишемической болезнью. И мы не бежали, а ушли лечить тебя в старообрядческие поселения. Сообщить не смогли, потому что военный комиссар и губчека были против тебя... Завидовали...

— Зачем же ты лгала?

— Разве это ложь? Все было так!

— Ты забыла, Юлия. — Андрей сдирал с себя шкуру. — Мы ушли, когда узнали о расстреле в монастыре.

Она вдруг отпрянула, услышав свое старое имя, заслонила рукой.

— Почему?.. Почему ты зовешь меня так?

— Как?

— Ты назвал меня... А меня зовут Любовь! Любушка!

— Прости, я оговорился, — смутился Андрей.

— Нет, ты не оговорился, — испуганно проговорила она. — Ты же тринадцать лет не оговаривался... Меня зовут Любовь!

— Я помню, знаю, — выдавил он. — И все-таки, ты лгала...

Любушка заплакала, но тут же высохли слезы.

— Да, да... Я солгала ему. Помню, мы ушли сами... Но ведь есть ложь во спасение? А он разве не лгал нам? Разве он не виноват в том, что сейчас происходит с народом? И с нами?! По его воле мы оказались здесь. Он тебя заставил судить. И потому ты сам оказался под судом. Кто же еще должен был отвести беду?

— Если бы ты ему так сказала, — пожалел Андрей. — Такими же словами... А ты мне говоришь.

— Я очень хорошо знаю его характер, — возразила она. — Шиловский не терпит обвинений. А мне надо было спасти тебя!

— И все-таки зря, — выдохнул Андрей. — Теперь нам станет еще труднее. Надо готовиться... Пойми, Любушка, судьбу не обмануть и не изменить. Можно у нее выиграть, но потом она возьмет свое. И берет... Саша, брат мой, еще в восемнадцатом понял: надо жить во искупление. И стал жить... Теперь и мой черед, Люба. Я не ушел от этого пути, и не уйду. Жизнь во искупление.

— Андрей, а ведь ты эгоист! — с болью в голосе сказала она. — Ты думаешь о себе, о своей жизни. Тебя волнуют только твои чувства. А ты о нас подумал? О детях? Обо мне? О чем мы думаем? Что мы чувствуем, подумал?

— Только об этом и думаю, — подтвердил он. — О детях и о тебе... И потому мне надо жить как брат заповедал!.. Мы с тобой пожили. В покое, в тишине. Нам целых тринадцать лет никто не мешал. Мы с тобой нарожали детей, и я стал бояться смерти... Кончился отпуск, Любушка.

— Погоди, Андрей! — взмолилась она, беспомощно хватая его руки. — Я тебя не понимаю... Что ты хочешь сделать? Жизнь изменилась, пока мы жили в Березине. И люди изменились. Все в мире уже не так, как было в двадцатом. Тем более в восемнадцатом! Я ехала в поезде и ничего не узнавала... Даже Шиловский не тот. И мне хочется верить в это... Он снова занимается биологией, возится в живом уголке и вроде бы ничего не хочет. И жаловаться стал... Мне показалось, он обрадовался, что мы нашли. Говорит, его совсем все забыли, забросили... Правда, меня смутило, что он советовал нам перебраться в Красноярск. Сказал, что все устроит, поможет, чтобы тебя взяли на службу в государственный банк... А если от чистого сердца?.. Не знаю... Но мы никуда не поедем отсюда! Будем жить здесь, а лучше уйдем к кержакам? Андрей? Нас примут!

— Примут, — согласился Андрей. — Но как было, уже не будет... Если бы я не попал в тюрьму, не посмотрел... А увидел — и больше не могу терпеть. Ты меня выручила.

Даже не ты — он. А я только-только почувствовал дорогу под ногами... Ничего, еще не поздно. Я вернусь.

— О чем ты, Андрей? — Она потрясла его голову. — Я совсем тебя не понимаю!

— Постарайся понять, — тихо попросил он. — Убежим, а как же дети наши? Они же потом нас проклянут! Что им скажем?.. Постарайся понять. Я должен разделить участь своего народа. Иначе нет смысла жить. А дети поймут, они мудрее нас с тобой. Мне нужно вернуться назад.

— Куда? — Ее руки обмерли и похолодели.

— Назад, где был. Где хуже всего. Меня же условно расстреляли! Меня живым мертвецом сделали... А я жить хочу! Жить хочу!

— Я пойду с тобой! — почти крикнула она. — Я тебя не оставляю, не пущу одного!

— Как же дети, Люба?.. Нет, ты будешь с детьми. Так у нас заведено. — Андрей прижал ее голову к груди, погладил волосы. — Со двора по одному берут, хоть в солдаты, хоть в тюрьму. По мужику берут. Дети мои не выросли еще, так я пойду. А бабе судьба дома сидеть и ребятишек поднимать.

— Не могу, — выдохнула она. — Не доходит ни до ума, ни до сердца. Когда беда — друг за друга держаться надо, спасать друг друга надо, иначе не выжить. Куда же ты собрался?.. Я приняла веру вашу и столько лет живу в православии, но не понимаю, привыкнуть не могу. И даже тебя не пойму!

— Потому что я пока беспутный! А будет путь — все поймешь. И станешь молиться за меня. — Андрей крепче прижал ее голову, уставился в темноту. — Мало принять веру, Люба. Надо еще судьбу принять. Примешь и молишь, как всегда жена за мужа молилась. Не я это придумал, так устроено.

Она долго молчала, глотала слезы и наконец вымолвила одними губами:

— Приму...

И слышались в этом слове страх перед будущим одиночеством, смутная еще вера и объяснение в любви.

18. В ГОД 1933...

"...Видно, не так крепка была вера моя, коли промыслил Ты новое испытание в отшельническом житье. И это принимая с благодарностью, тружусь теперь в одиночестве и полной темноте, словно нет для меня дня, а есть только ночь бесконечная, чтобы молиться за весь православный народ. И молюсь я, и радуюсь благодати Твоей и свету Твоему, что озаряет мою темную келью.

Меня же все перековывать норовят. В огне сатанинском нагревают, молотами сплющивают, потом в воде студят и снова нагревают. Изрубят на куски, перемесят меня, как тесто в квашне, но лишь откуют снова, а во мне уже Твой огонь и свет. И нет у племени гулагов сил, чтобы вытравить или потушить его. Как же бесятся черные птицы! И опять в огонь бросают, и качают мехи, и вздымают молоты над моей головой.

Я же, сидя в келье, мало что слышу. Доносится до меня лишь стон человеческий под горой. И покуда слышу его, верю — не перековали, не переделали человеческую природу и породу. Мается в муках народ, терпит и стонет. Упаси Бог услышать смех. Если засмеются люди внизу, знамо, привыкли к скотскому житью и пропала в них

святая вера. Ко мне все больше Квасницкий приходит и воспитывает, толкует про светлую жизнь. Ему и ключ от замка доверен. Но приходит все по ночам, и я солнца не вижу, только звездочки, если ведрено. Он и хлеб приносит, правда, весь общипанный, обкусанный — дорога до моей кельи неблизкая. Мне и остатка хватает, но я спросила его: как же ты воспитываешь меня, про новую честную жизнь говоришь, а сам мой хлеб ешь. И увидела я, ступавшая Квасницкий. Говорит, я, матушка, понять хочу, как ты на хлебе и воде сидишь, а в тебе вера такая. Думал, говорит, попробовать хлеба твоего, такой ли он, как у всех. Пробую каждый раз — такой же, как всем на пайку нарезают. Даже кислей кажется. Нет, сказала я, у меня хлеб другой. Когда самый черствый хлеб с верою ешь — он сладким делается. Ты же его без веры всю жизнь ел, без слова Божьего, потому не знаешь вкуса. К тому же, когда хлеб трудом заработанный — ему другая цена, а ворованный хлеб тяжелый, горький и силы человеку не дает. И стал он жаловаться, и каяться стал, что ел мой хлеб, что жизнь у него тяжелая; он же человек старый и всего боится. А особенно черных птиц, когда те над каналом летают или когда велено ему явиться в логово племени гулагов. И нет у страха ни конца ни края. Пожаловался он, как злоеющая птица Коган бьет его палкой, но так, чтобы никто не видел. Всякий раз после битья он совсем слабый становится и тогда сам готов руку поднять на человека. Случалось уже, бил, камнями кидал в тех, кто плохо работает. Его же тронуть не смеют, потому что за воспитателя сразу под суд отдадут.

Так он жаловался мне ежедневно, даже хлеб мой общипывать перестал и приносил пайку целиком. И за свежей водой не ленился сходить под гору. И попросил он о Святом Крещении. На колени встал, матушкой кликал и заплакал. Говорит, снова меня били, как собаку, а терпеть нет больше мочи. Долетели мои молитвы о нем к Тебе, Владыка. Просыпается в нем душа, коль о крещении заговорил. Я ему призналась, что если окрестится он, то станут бить еще сильнее и чаще, поскольку сейчас бьют, потому что он черным птицам служит и раб племени гулагов. Крестившись же, он будет рабом Божиим, и служить придется только Всевышнему. И велела ему подумать, послушать, что душа ему подсказывает. А то ведь он только хлеб мой пробовал, веры же нашей не знает, не понимает, в чем суть ее. Вера же не хлеб, чтоб ее пробовать. Коли взял ношу на плечи, так неси до смертного часа. С тем Квасницкий и ушел. И долго не приходил ко мне. Вместо него хлеб и воду приносил охранник. Я спросила, где же мой воспитатель, а охранник говорит, мол, его в РУР посадили, потому что он попросил черных птиц прорезать мне в келье маленькое оконце. Сидит он там и плачет. Господи, помоги ему вынести первые труды за Тебя! Сделай милость, облегчи долю его, ибо слаб он еще для подвигов. Услышь меня, Сам Мученик, внемли молитве моей, а кто более за него помолится?

И стали ко мне летать черные птицы. Прилетят, пощелкают клювами, поскрежещут когтями по камню и улетят молча. Думаю я, новую казнь мне готовят, да только сами не знают, какую. А народ под горой все сильнее стонет, плачет, страдалец, — значит, жив пока, не сломался, не перековали его в сатанинских кузнях. Хлеба стали давать через день и дров лишь по три полена. Но молитвы мои светлее сделались и рука легче. Прибежал ко

мне Квасницкий ночью, но уже без ключей, встал у двери, и начали мы беседовать. Хочу, сказал он, принять крещение, да только все еще боюсь. Если можно, окрести меня тайно, матушка, чтобы никто не узнал. Объяснила ему, что православная вера открытая и человек верующий не должен таить свою веру. Напротив, зажигать ее в других людях своими трудами и достойной жизнью. Вера наша не одну свою душу освещает, и забота ее спасать души всех людей, чтобы всем света хватило. Как же можно утаить свет, если он загорелся и горит в душе? Он же хочет приобщиться к Святому Духу, а в миру жить как прежде и служить племени гулагов. Уж не знаю, понял он или нет, однако тихо ушел, так что говорила я в пустоту некоторое время. Потом окликнула — не отзывается.

Наутро же прилетела ко мне черная птица Френкель, загремела ключами и распахнула двери. Я к стене обернулась и зажмурилась, чтобы не ослепнуть от солнечного света. "Выходи", — сказала птица. Я стою, не шевелюсь: хочется еще на мир Божий посмотреть. Да только чувствую, протянула черная птица когтистую лапу и вытащила меня из кельи. Закрывает глаза платом и ладонями сверху прижала. Не помню ведь уже, сколько времени на свету не была. Да только сдернули у меня плат с головы, отняли руки от глаз. "Смотри!" — закричала черная птица, схватила меня в когти и, чувствую — понесла над землей. И тогда открыла я глаза и милостью Твоею не ослепла! Увидела я землю на много верст вокруг, а птица Френкель меня все выше и выше поднимает. Под самые облака вознесла и все кричит: "Смотри, игуменья! Напрасны все твои молитвы! Мы переделаем природу, как захотим, и сама природа этих жалких людишек переделается!"

Смотрю я — Владыка Небесный! — насколько хватает глаз — земля разверзлась и в чреве ее люди, словно муравьи, ползают. Лечу я в железных когтях и молюсь, и вижу, люди внизу лица к небу поднимают, и лица те светлы! И сияние исходит от них, равно от святых мучеников. Возрадовалась я, Господи! Еще крепче уверовала: жив народ православный. Не сломить его ни работой рабской, ни жизнью скотской. Нет той силы у всего племени гулагов, чтобы изменить человеческую природу. Заклевать народ можно, в землю его загнать или обмануть на время, поманив сладким пирожком, но лишь чуть спадают черные чары — и ожили люди! Благодарю Тебя, Спаситель, что не оставил мучимый русский народ, сохранил его душу и разум.

Долго летела я в лапах черной птицы. До самого Белого моря, и лишь там снова очутилась на земле. И пока птица Френкель набиралась сил в обратную дорогу, побежали ко мне люди со всех сторон. Я же лежу на земле брошенная и встать не могу. "Знаем тебя, матушка! — закричали люди. — Слух о тебе по всему каналу идет. Ты уж крепись, родная, а мы выдюжим! Нашими костями плотины и дамбы укрепляют — все одно выдюжим! Ты только молись за нас, проси у Господа прощения за грехи наши, и твоими молитвами выстоим!" Но тут вернулась черная птица, разбежался народ, забился в камни и кочки, а я же все голоса слышу, и радостно мне, и горько, и мучительно. Птица Френкель подхватила меня и понесла в обратный путь. И уж не кричала — смотри! — лишь клекотала злобно и клевала меня в голову.

Когда же бросила меня возле моей кельи, я даже о

землю не ушиблась, поскольку тела своего не чувствовала. Меня же вновь заперли в келье и забыли надолго. Зато ночью приходили ко мне сестры мои, рассказывали, как трудятся они, хотя невозможно стало трудиться среди людей. И поведали они о матери Агнее. Прости ее, Господи. В таких муках немудрено сломаться слабой душе. Сняла она рясу, горемычная, обрядилась в юнштурмовку и теперь в логовище черных птиц моет полы, а ночами с охраной да с надзирателями прелюбодействует. Съела пирог, скверной начиненный, и пропала душа. Да молиться буду пред Тобой за нее! Верую, грянет и над ее головой Твой светлый гимн, покается она и вернется в нашу обитель. Однажды вкусивший от плода Твоего не забудет сладости и после грехов тяжких потянется вкусить вновь.

И вот, наконец, пришло мое освобождение из отшельнической жизни. Прилетела ко мне черная птица по имени Фирин, сладкоголосая, заботливая, так что черноты в ней и не разглядишь, если ослабли глаза. Стала она петь мне ласковые песни, мужество мое и силу веры возносить, и почуяла я, что пришло еще одно испытание, невиданное в этих местах. Повели меня из кельи в баню. А там стала я мыться, но женщины столпились подле меня, стоят и смотрят. Что, спрашиваю, не узнаете меня? Или дивитесь, как живу я, если кожа да кости остались? "Нет, матушка, — отвечают. — Узнали мы тебя, и дива нет для нас, как живешь ты. Мы стоим возле тебя и молитвы читаем". Какие же молитвы, спросила, и откуда читаете? "А на теле твоём писаны, — сказали женщины. — Вот их и читаем". Поглядела я на себя — Владыко Всемиловитый! — а молитвы с рубахи моей все отпечатались на теле и не смываются ни щелоком, ни мылом, ни мочалом. "Не смывай! — стали просить мои сестры. — Мы хотим научиться труду твоему, не смывай!" Недостойна я учить других, Господи! Не умею и не знаю, как молиться перед Тобой, вразуми же меня саму, не то пойдет от меня людям скверна да ересь.

На следующий же день после бани собрали всех сестер, поместили в избу и заставили гнид бить в белье, что в прачечной стирают. Вши людей заедали, и слышно, тиф начался. Верно, птице Фирин почудилось, что мы грязной работы испугаемся, а то неведомо ей, что нам и это во благо. Принесут грязное белье, свалят кучей, и куча эта шевелится, ровно живая. Прожарим мы исподнее в печи, потом каждый шов еще надо железкой продавить и стеклышком прочистить. И пока работаем, по нам вши ползают, живьем едят. Черная же птица Фирин прилетит к нам в гнидобойку и поет сладко, задушевно, будто жалеет нас, и восторгается, какие мы смелые и не боимся тифозной вши. И все нас матерями зовет да по имени. Велел барак наш утеплить, пайку выдавать, как ударницам. Сестры мои готовы были поверить ему, слышу, переговариваться с ним начали. А птица же Фирин то одну сестру, что помоложе, ущипнет, то другую. "Вошка по тебе ползала, матушка! — скажет. — Вот я поймал ее, посмотри". Матушка глядь ему на ладонь, а он другой рукой, бессовестный, то за грудь, то за живот схватит. И смеется при этом!

Лишь спустя месяц увидела я, как мрут мои сестры в гнидобойке и как хитро сделано было с нами. Покарай меня, Господи, слепошарую! Ведь чувствовала, не от добра черная птица вьется над нашими головами. Не мытьем решило взять нас племия гулагов, так катаньем. Вроде

легкая работа. Это ведь не землю наваливать, не тачки катать и тем более не белкой в колесе бегать. Сиди да продавливай швы у рубашек и кальсон. Но с самого начала от этого почему-то зубы сводило. Проведешь железкой по шву — трещат гниды, и звук такой визжащий. Ну сводит зубы, нехорошо лицо подергивается — можно терпеть после работы-то тяжелой. Терпели мы, терпели, и незаметно то у одной головокружение, то у другой обморок, а иную сестру перекосит и телом, и лицом, а иная не в себе делается. А потом и вовсе, слышу, мои сестры заговариваться начали. Станем трудиться вечером по баракам, они несут невесть что, вместо молитв-то. А сладкоголосая птица знай себе поет, тогда как в бараке у сестер по ночам зубовой скрежет начинается. Царица Небесная! К Тебе взываю, наставь, как эдакую муку пережить? Мысли мои путаются, в ушах визг стоит, и гниды перед глазами. Не выстоять нам, Матушка, перед наказанием эдаким, не исполнить урока. Что же с людьми станет, коли мы все умом и нервами повредимся? Черная птица Фирин не отступится, пока не изведет нас, убогих, пока не завладеет душами нашими — не успокоится. Люди теперь от нас шарахаются, потому что слух пущен, будто мы если работаем в гнидобойке, значит, вшей по баракам разносим, а с ними и тиф. Боятся люди нас, хоть на расстоянии и беседуют, и жалеют. И торжествует племя гулагов, летает над головами, смеется, окающее.

Не допусти, Господи, чтоб одолели нас черные птицы! Не дай пропасть народу православному, не дай поставить его на колени перед антихристом и отродьем его.

Заступись, Матушка!.."

Трудились мать Мелитина, писала молитвы свои на рубашке, стоя у аналая в храме, где когда-то постриг приняла. И Ангел в образе отца затепливал ей свечи.

И вот однажды, когда погибал дух сестер в гнидобойке и не было слова на устах, способного остановить гибель, взмолилась она в отчаянии:

— Владыко! Неужто кончился путь народа моего? Неужто обрек Ты его на муки смертные и гибель? Пощади православных, Господи! Ведь зачем-то был Тебе нужен народ? Не для одних только мук сотворил Ты его, Вседержитель!

И в тот же миг увидела мать Мелитина книгу на аналое, невиданную и никем не читанную. Потянулась она к книге и прочитала: "Книга судеб народов. Какие были, какие ныне есть и какие впредь будут".

Прочитала и не смогла поднять руку, чтобы открыть книгу. А свеча между тем догорает, кривится, истекает воском.

"Книга судеб народов"...

Буквочки красные, и свет от них идет, манит, подзуживает: открой, ну, открой же и читай.

— Ангел мой! — воскликнула мать Мелитина. — Можно ли мне читать книгу эту?

И услышала знакомый детский голос:

— Читай, тебе позволено.

Свеча же между тем едва уже дышит, и фитилек всплыл в воске, и зачал огонек. Осенила себя крестом мать Мелитина, огляделась — не видать ли Ангела, чтоб свечу новую затеплил. И вдруг видит, как в темном храме возник огонек и поплыл к ней, несомый чьей-то рукой. "Вот и свет мне несут, — подумала она. — Благослови, Боже!"

И тут увидела мать Мелитина другую руку, которая затепливала свечу у аналая. Увидела и вмиг узнала, чья это рука!

Голос же сладкий, нежный, так и шепчет в ухо: читай, читай, тебе позволено...

Смахнула мать Мелитина свечу, отпрянула от аналая.

— Не стану читать! Ты в храм проник и меня искушаешь!..

А свечка, ставленная Ангелом, догорела, и в храме наступил мрак. Лишь огонек все блуждал и блуждал в стороне, колебался на сквозняке и не мог найти дороги к аналою.

— Матушка Небесная! — воскликнула мать Мелитина. — Знать, беда и муки не только на грешной земле, ежели черные птицы и в храм проникли, ежели они креста святого не боятся. Научи, как выстоять, как совладать с силой нечистой!

И тут увидела мать Мелитина, как черная птица пала камнем из-под свода, схватила в когти Книгу и понесла ее в бездонную черноту. Опахнуло лицо ветром, зашатались иконы в иконостасе, словно маятник, закачалось паникадило на длинных цепях. Казалось, еще один миг, и рассыплется, разрушится храм матери Мелитины. И унесла бы птица похищенную Книгу, но храмное поднебесье озарилось светом и в черной стае воронья возникли белые, Ангельские крылья.

В тот час, когда народ российский стонал и обливался слезами, роя себе одну бесконечно длинную братскую могилу, когда корежили суть его и выторговывали душу за пирожок и когда уже чудилось, что и помолиться некому за мученицу-Россию, над ее головой творилась незримая и неслышимая битва. Лишь черное да белое перо осыпалось наземь. Упадет черное — посветлеет небо; а как белое сронится — торжествует тьма! И пока кружились и мелькали черные тени в поднебесье, пока скрежетало железо вокруг белых крыльев Ангела, мать Мелитина стояла ни жива, ни мертва. Одолел Свет темную силу и спустился на землю. На месте, где потухла свеча, новую затеплил и отнятую у черных птиц Книгу положил на аналой. Засветились, заиграли буквы...

Обрадовалась мать Мелитина: "Верно, читать позволят! Благодарю Тебя, Господи!"

— Читала ли ты Книгу? — спросил Ангел.

— Нет, не читала, — призналась она. — Свеча не Тобою была затеплена, чужая рука сатанинский свет принесла. А при свете том истина ложью оборачивается.

— Черные птицы хотят похитить Книгу и переписать ее на свой лад, — сказал Ангел. — Потому отныне она будет храниться здесь, перед тобой, на аналое.

— Но ведь отсюда ее легче похитить! — ужаснулась мать Мелитина. — Черные птицы над головой вьются, крыльями бьют, когда молюсь. Нельзя ли спрятать Книгу?

— Нельзя, — вздохнул Ангел, и вздох Его зазвенел серебряным бубенчиком под сводами. — Когда вершится судьба народа, в этой Книге начертанная, надо, чтобы она на виду лежала, на глазах. Чтобы никакая другая сила не смогла изменить ни одной буквы в судьбе, ни одной строчки переписать.

— Можно ли мне читать ее? — осмелилась мать Мелитина. — Хотя бы одним глазком заглянуть?..

— Даже если я приду и скажу — читай, ты все равно не

притрагивайся к Книге, — предостерег Он. — Нельзя читать Книгу Нечитаную, ибо, познав судьбу, тебе захочется изменить ее.

— Прости меня, безмудрую! — взмолилась мать Мелитина. — Но неужели такая уж горькая доля начертана нашему народу? Что ждать ему? Что будет с ним?! А что станет с миром?!

В тот миг под сводами храма послышался злобный клекот и железный лязг крыльев. Ангел воспарил над аналоем и, прежде чем умчаться в поднебесье, очертил вокруг матери Мелитины бережный круг. Мать Мелитина потянулась к нему руками, да так и осталась стоять в ожидании. Поняла она, что нельзя спрашивать, не будет ей ответа. Покаялась, потупила голову. Стены же храма расширились беспредельно, купол вознесся высоко вверх, но, даже стоя на земле, можно было слышать, как там, под сводами небес, гремит битва не на жизнь, а на смерть.

И еще поняла она, что теперь, когда Книга Судеб Народов лежит на виду у всего мира, ее будут похищать каждый день, каждый час, каждую минуту, потому и земля, и небо — кругом поле бранное...

19. В ГОД 1933...

Организованный в Березине колхоз называли "Светлый путь".

Обнаружив не учтенное никакими переписями, неизвестное миру село с дремучим единоличным хозяйством, причем богатое, хлебное, районное начальство велело немедленно преобразовать его в колхоз. Можно было бы всех раскулачить и выслать, но кто же тогда останется работать? Поэтому в Березино приехали представители власти из Есаульска, привезли с собой худого кадыкастого парнишку Артема Никитича Главадских и стали записывать в колхоз. Березинские от ссыльных, что зимовали по избам в селе, кое-что уже слыхали о коллективизации, и, конечно, ничего положительного. Бывшие кулаки хвалить колхозную жизнь никак не могли. Потому и приуныли мужики; бабы, столько лет не ведавшие ядреного бабьего рева, ударились в слезы; дети смотрели печально и со страхом. Коллективная жизнь представлялась березинским чем-то вроде жизни в плену либо под иноземным игом: земля вроде твоя, по крайней мере, ты ее пашешь, кони как будто тоже твои, и коровы, и выпасы, и луга — все принадлежит тебе. Однако ты сам вместе со всем коллективным хозяйством принадлежишь кому-то всеильному и недостижимому, так что нет у тебя даже своей рубахи, ребятишек своих, не говоря уж о земле, конях и коровах.

Но делать было нечего — кончилась привольная жизнь в Великом Забвении.

В колхоз записались почти все, кроме жадного до работы, спать и по ночам переставшего Мити Мамухина, наконец-то разбогатевшего собственным трудом, Ивана Понокотина и Андрея Березина.

Вернувшись домой после тюрьмы и условного расстрела, Андрей еще отлеживался на печи с воспалением легких, а к нему в дом через день, а то каждый день стал захаживать председатель колхоза Артем Никитич. Было ему тогда неполных семнадцать, но то ли порода, то ли природа так распорядилась: у него в это время ломался

голос. Поэтому он либо говорил густым басом, либо срывался на мальчишеский фальцет. Ходил он при нагоне и в длиннополой шинели, хотя ни на каком фронте и быть не мог.

— Раз тебя отпустили, гражданин Березин, входи в колхоз! — агитировал он. — Жить в особицу и вести паразитическое существование не позволим. Так и знай!

Он без всякого стеснения расхаживал по дому, заглядывал в углы, под кровати, откидывал занавески, словно что-то искал. Андрей лежал на высоких подушках и молча смотрел на председателя. Так ничего и не услышав в ответ, он громко хлопал дверью и потом еще шарился в кладовой и подклете.

Наконец, в апреле, когда Андрей уже выходил на улицу погреться на солнце, Артем Никитич явился с ультиматумом, по которому давался трехдневный срок вступления в коллективную жизнь. По истечении его хозяйство Березина подлежало раскулачиванию, а сам он вместе с семьей — высылке в бывшее село Свободное. Андрей опять молча выслушал председателя, слепил тугой снежок и залепил ему в глаз. И, глядя на отца, Иван с Петром начали пулять снежками в Артема Никитича и прогнали со двора. Уже за заплотом председатель вспомнил про наган, но было уже поздно: ворота заложили на засов.

— Ну, гражданин Березин! — официальным басом пригрозил Артем Никитич. — За сопротивление вождю коллективного хозяйства!..

Он не договорил, зарыдал по-мальчишески сдвленно и зло, потряс наганом и убежал.

И Андрей чуть не заплакал, до того было обидно, что посылают мальчика издеваться над взрослыми людьми. И становишься беззащитным не перед властью, а перед этим мальчиком, в которого и можно разве что кинуть снежком.

Он вошел в дом и сказал Любушке, что через три дня их станут раскулачивать и ссылат в Свободное. Новость она встретила спокойно, лишь перекрестилась на иконы и тихо проронила:

— На все Божья воля.

Андрей обнял ее, прошептал на ухо:

— Терпи, жена, терпи, милая. Будет еще хуже.

— Если делить участь с народом, то нам бы в колхоз вступить, — слабо воспротивилась Любушка. — Народ теперь там. А где будет хуже — в ссылке или колхозе, еще неизвестно.

— В ссылке единолично жить не дадут, — сказал Андрей.

Через три дня в каждом дворе, не вошедшем в колхоз, выставили охрану, и в сельсовете, временно помещенном в старой церкви, собралась конфискационная артель — Артем Никитич, председатель сельсовета и милиционер. Все они, в том числе и охрана, были присланы из других местностей, поскольку никто из березинских не захотел брать в руки оружие и идти раскулачивать.

— Баптисты! — кричал на мужиков председатель. — Вы что? Забыли, что в колхозе? Что по светлomu пути идете?

— Не желаем, — тянули мужики. — Бывало, и грабили, и воевали. Не желаем более.

В назначенный день, когда пошли раскулачивать, все березинские попрятались в своих домах и лишь смотрели в окна, через цветы на подоконниках.

Начали с Березиных. Председатель сельсовета с

милиционером запрягли Андреевых коней в сани, в телегу и ходок и стали грузить инвентарь. Вся семья, одетая и снаряженная в дорогу, сидела на ступеньках крыльца и ждала своей участи. Никто не плакал, не возмущался, и это спокойствие начинало бесить Артема Никитича. Наверное, за свои маленькие годы он раскулачивал не первый раз и повидал всякого, кроме невозмутимости. И сейчас этому подростку становилось неинтересно, скучно конфисковывать чужое добро без крика, ора, матюгов и, возможно, стрельбы. Раскулачивание напоминало грабеж или даже воровство на глазах хозяина и потому раздражало Артема Никитича своей обыденностью. Похоже, готовился долго к своему первому самостоятельному делу, ночей не спал, тут же было все не так, как в юношеских комсомольских мечтах. Когда погрузили всю утварь, скарб и привязали веревками скот к саням и телегам, Артем Никитич зачитал постановление, по которому дом Березиных подлежал конфискации под колхозную контору. Думал, хоть это произведет впечатление, однако ни хозяин, ни хозяйка, ни кулацкие сынки и дочки звука не издали.

— Выметайся со двора! — добавил от себя Артем Никитич. — И следуй к месту ссылки.

Вся семья подхватила каждый по узелку, Андрей взял ящик с инструментом и повел всех со двора.

Скорее всего под такой покорностью Артему Никитичу виделся некий хитрый замысел, подвох: от Березина все можно ожидать. Кинул же снежком! И тоже молча!

На улице Артем Никитич догнал раскулаченных, выхватил у Андрея ящик с инструментом.

— Я предупреждал! — закричал он. — Весь инвентарь принадлежит колхозу!

Однако и это не поколебало спокойствия Березина. Тогда Артем Никитич подозвал милиционера и приказал арестовать Андрея.

— Не положено, — сказал милиционер, годами вдвое старше председателя. — Сопротивление не оказывается.

И тогда Артем Никитич разглядел сквозь злые слезы новенький дубленый кожух на Березине.

— Ага! — закричал он, распаляя себя. — Шубу утаил от Советской власти! Снимай!

Андрей молча снял кожух и положил на заледеневший снег, оставшись в длиннополой, домотканой косоворотке. Любушка тут же скинула с себя полушубок и набросила на плечи мужа. Ошарашенный, напрочь обескураженный такой покорностью председатель Артем Никитич взял за вешалку кожух и потащил его волоком во двор дома. И там, скрывшись за воротами, он выхватил топор из инструментального ящика и стал рубить кожух, вмещая в удары всю детскую ненависть и прямоту.

Тем временем сердобольная соседка, наблюдавшая из окна, вынесла Андрею старый зипунишко, времен начала Забвения, и тут же спряталась в своем дворе.

— Ну что же, — сказал Андрей, глядя на тихих детей и жену. — Пойдем в ссылку.

И они пошли по весенней грязи в Свободное, где ссыльные раскулаченные уже начинали строить избы. Погода сразу испортилась, потянуло с севера, и обвалился на землю сильнейший снегопад. Шли они медленно, щупая дорогу и держась за руки, однако когда вышли к часовенке на берегу Кровавого оврага, пошел дождь. Пришлось спрятаться под обветшалую крышу. И пока пережидали

непогоду, Любушка накормила детей из тех припасов, что взяли с собой в узелках. Андрей смотрел, как озябшие его дети — младшие, закутанные в шали, и старшие, рано повзрослевшие, одинаково со слезами глотают холодную пищу, безропотно разделяя судьбу родителей. Смотрел, и разрывалась душа, и тянул сквознячок сомнения: а справедливо ли это — мучить жену, детей? Они-то за что страдают? В чем их вина? Может, пощадить их и отказаться от избранного пути? Во имя высшей веры на земле — детей? Но как же тогда жизнь во искупление?

Эти мысли грызли его потом до самого Свободного и отступили, когда Андрей увидел, что в стороне от старого пожарища поднимаются белые срубы домов, и уже обозначилась первая длинная улица вдоль реки. Ссылнопоселенцы работали артельно, помочью, переходя со сруба на сруб, так, чтобы никому не было обидно. Возрождение села сразу напомнило Андрею возрождение Березина. Когда Андрей с Любушкой закончили свой путь скитания и вышли в родные места, Березино вот так же, одновременно и быстро поднималось из пепла. И в этом повторении Андрей угадывал какой-то знак. Зачем-то нужно было судьбе дважды провести его одним и тем же кругом. Может, чтобы показать, что жизнь неугасима, пока живы и неистребимы разум и воля?

Заметив бредущих по дороге березинских, мужики повтыкали топоры, слезли со сруба и встали, повинно потупя глаза. Андрей поздоровался с ними, сказал сдержанно:

— Принимайте в артель, мужики. Одна беда — топора нет у меня.

— И у вас началось? — вздохнул один из ссынопоселенцев и оглянулся на мужиков. — Примем, а?.. Они нас по осени приняли.

— Примем, — тоже сдержанно загалдели мужики. — Какой разговор. И топор найдем... Скольких еще разорить хотят?

— Да еще два хозяйства, — сказал Андрей. — К вечеру придут...

— Ничего, места хватит.

Андрею дали топор, а Любушку с детьми поселили в бараке, срубленном на краю села под временное, весеннее жилье. Андрей повертел в руках ловкий, ухватистый топор, попробовал пальцем лезвие. Еще раз надо было начинать с нуля, еще раз оправиться, прийти в себя и снова вместе со всеми строить развороченный муравейник.

Однако через неделю с лишком, когда уже затвердели мозоли на руках и легли в основу дома четыре венца, все обернулось неожиданно и круто.

В Свободное прискакал председатель Артем Никитич Главадских, разыскал Андрея и встал перед ним, словно ошипанный петушок.

— Ошибочка вышла, Андрей Николаич, — протянул фальцетом председатель. — Вы бы сразу сказали, что герой гражданской войны и должность высокую занимали, дак мы бы и не раскулачивали... Я же не знал! Я не хотел!

Андрей сразу же догадался, в чем дело. Ноги подкосились, и топор выпал из рук. А мужики подходили, рассаживались на бревнах и молча дивились на всклокоченного, мокрого и залепленного грязью Артема Никитича.

— Мы в ваш дом все возвратили, — продолжал председатель, ковыряя сапогом талую землю. — И коней, и коров, и овец пригнали. Скарб там весь, инвентарь... Только шубы вашей нету, дак я со склада велел новую выдать.

— Выдрать бы тебя, — проворчал кто-то из мужиков. — Чтоб неделю на задницу не садился...

Андрей встал и, не дослушав ни мужиков, ни Артема Никитича, побрел к бараку. Председатель догнал, попросил, чуть не плача:

— Будут спрашивать, дак не выдавайте... А то грозятся из комсомола исключить. Куда я без комсомолу?.. Знал бы, в жизнь не тронул!

Андрей побежал, оставив Артема Никитича среди улицы.

Возле барака он постоял, переживая отчаяние, попытался собраться с мыслями. Конечно, этого и следовало ожидать. Наверняка районное начальство предупреждено, чтобы ему, Березину, не чинили никакого вреда. Его спасают и берегут, хотя ясно и Шиловскому, и всем, кто стоит за ним, что из Березина не вышел председатель ревтрибунала, не выйдет и директор госбанка. Нет, Шиловский не поверил Любушке, будто он оставил службу из-за болезни. И он прекрасно знает, что Березин бежал и скрывался от него, что он вообще не годен на роль "борца" и не приемлет не то что мировую, но и всякую революцию, ненавидит любое действие, совершенное для р а з р у ш е н и я.

Неужели теперь Шиловский таким образом мстит ему? Мстит за измену?

"Пока мы вместе, с тобой ничего не случится", — будто бы на ухо, вкрадчивым шепотком проговорила жена.

Если не месть, то что? О нем заботятся, будто из любви, как уверяла когда-то Юлия. Из любви... Да возможно ли такое?

Или существует какая-то высшая цель, понять которую ему не дано, однако принадлежность его к этой цели необходима? Без него не станет соборности, полного круга, если он включен в некую неразрывную цепочку. Пусть ничего из него не выходит, пусть в голове у него другие мысли, но он нужен как балласт, чтобы удерживать воздушный шар у земли. Придет час — сбросят этот мешок с песком и мгновенно забудут, да не пришел тот час...

Первой мыслью было написать письмо Шиловскому, затем Андрей уже почти решил — ехать! И все высказать в глаза. Откопать книги и маузер, спрятанные на чердаке особняка в Красноярске, швырнуть ему, чтобы забрал назад, и хлопнуть дверью.

И лишь поостынув, Андрей понял, что ехать никуда не нужно. А изменить положение вещей, выйти из-под чужой воли и заботы можно только отсюда.

Неужели бывает такое наказание, когда невозможно разделить участь своего народа? Если да, то это самое страшное наказание. И не на то ли рассчитывает Шиловский, что, помытарившись, потешив свою волю, он так или иначе будет отвергнут теми, с кем живет, и тогда ему ничего не останется, как примкнуть к тем, кто заступает. Ну а примкнув, играть определенную роль с той добросовестностью и честностью, с которой он делал всякое дело.

А блудного сына всегда встречают лучше, чем других, благополучных сыновей.

Андрей вошел в барак, разыскал среди множества ребяташек — чумазых и похожих друг на друга — своих и стал звать Любушку. В огромном бараке стояли дымные битые печи, на которых одновременно варили, жарили и кипятили десятки семей, пар и смрад вечно стоял на уровне человеческого роста, всюду висели лохмотья сажи, и черная блестящая копоть покрывала бревенчатые стены и накатной потолок.

— Пойдем в Березино, домой, — сказал Андрей жене. — Там скотина не кормлена.

Она вскинула голову, в глазах промелькнул страх.

— Пойдем, пойдем, — поторопил он. — Ссылка отменяется.

Боже, зато сколько радости и восторга увидел он в детских глазах! Никогда не были они так счастливы.

В березинском дворе и правда орали голодные коровы и молодняк. Колхозники под руководством Артема Никитича привезли семенной хлеб и теперь ссыпали его в амбар. Председатель немного повеселел, однако все еще с надеждой поглядывал на Андрея, словно хотел сказать: не выдавай, не выдавай меня! Пожалей! Ты же взрослый!

Доска с красной надписью "Колхоз "Светлый путь" висела уже над крыльцом дома Мити Мамухина.

Андрей поймал Артема Никитича за воротник шинели, развернул к себе.

— Своди все назад, — глухо выговорил он. — Принимай в колхоз.

Председатель ослаб, обвис в шинели.

— Меня же... Меня же исключат, — забормотал он. — Велено не трогать...

— В колхоз хочу, понял? — Андрей встряхнул Артема Никитича. У парнишки мелко задергался кадык.

— Велено... Велено...

Андрей выпустил председателя и остановил в воротах мужика с мешком, отнял ношу и бросил в телегу. Мужик отчего-то набычился, утер рукавом лицо и полез за кисетом. Это был сродный брат конюха Ульяна Трофимовича, Семен Брюзгин, березинский родом, и корень его уходил туда, в Воронежскую губернию, в историю семьи Березиных.

— Что это ты, Николаич, в колхоз собрался? — недобро спросил Семен.

— От тебя отставать не хочу, — проронил Андрей. — Вместе единолично пожили, вместе и колхоза попробуем.

Семен Брюзгин раскурил самокрутку, отплевал табак, не сводя с Андрея пытливых глаз.

— Получится вместе-то? — недоверчиво спросил он.

— Получалось раньше...

— То раньше, — вздохнул Семен. — Да теперь жизнь по-другому пошла. В тюрьму забрали — отпустили. А мы-то тебя уж оплакали. Как оплакали-то, Николаич! Всем селом жалели. Да ты слезы наши обманул. Раскулачили... Да вот, видишь, назад все вернули. И извиненья преподнесли. Этот-то парнишка эвон какой перепуганный... Отчего так, Андрей? Ни дед твой, ни отец народ никогда не обманывали.

Андрея заколотило. Он схватил Семена за плечи, потряс его, заглядывая в глаза:

— Семен! Семен! Я вас не обманывал! Нет!..

— Может, и не обманывал, — согласился Семен Брюзгин. — Может, и не хотел. Но так получается... Как теперь жить тебе в Березине? Сам подумай: Мамухина с

Понокотинным раскулачили и в ссылку угнали, а тебе хоть бы что... Не обижайся, Андрей, люди так понимают. А как понимают, так и говорят.

Пользуясь тем, что Андрей занят разговором, Артем Никитич убежал со двора задами, сделал круг и спрятался в конторе.

Семен Брюзгин помолчал, кивнул на мешки с зерном:

— Чего прикажете? Ссыпать или в колхоз везти?

Андрей медленно развернулся и побрел в дом.

Всю ночь он просидел у печного зева, глядя в его жаркую черноту. Любушка при свете лампы разбирала имущество, сваленное кучей на полу, развешивала задержушки на окнах, раскладывала вышитые салфетки-уголки, но делала все это лишь для того, чтобы разделить участь мужа. Зато сладко и безмятежно спали умытые и переодетые в чистое дети. Домашнее тепло, родной запах избы, свежего хлеба облегчил их ребячьи души, и отступило, забылось тяжкое горе, как может скоро забыться только в детстве.

За всю ночь Андрей определенно и бесповоротно решил для себя единственное — нельзя лишать детей дома. Пусть в колхозе, пусть в ссылке, но лишь бы не бездомными. Он явственно вспоминал свои чувства, когда в восемнадцатом, после "эшелона смерти", вернулся в разрушенный и разграбленный дом, вспоминал, как скитался по дворам в Есаульске и не было на свете состояния трагичнее, чем бездомность. И страшно представить, что пережили дети за эту неделю жизни в дымном, многолюдном и чужом бараке! Какая рана осталась в их душах! И пусть ее сейчас рубцуют сон, запахи родного дома, пусть это возвращение утишит детскую боль.

На рассвете Андрей зашел в детскую половину и долго глядел, как спят сыновья и дочери. Кроме старшего, Ивана, все попростыли, дышали не по-детски шумно и тяжело. Он не заметил, как за спиной оказалась Любушка, обняла его, прижалась к лопаткам.

— Ты куда-то собрался? — спросила тихо.

Он вышел из детской и стал одеваться. Намотал чистые портянки, надел просушенные сапоги и покопался на вешалке, подбирая одежду. Выбрал армяк, шитый во времена забвения для зимней работы. Натянул его, подпоясался кушаком и взял баранью шапку. Любушка ждала.

— Нам хорошо было жить с тобой в Забвении, — проговорил он.

— Куда ты?..

— Помнишь, как мы жили?

— Помню... Андрей, не уходи!

— Если бы вся Россия хоть бы чуть пожила в забвении! Год бы, нет, и месяца хватило... — Он опустил голову. — Но не дадут. Не позволят. Вот опять разворошили муравейник...

— Что с тобой? — пугаясь, спросила Любушка. — О чем ты говоришь?

— Говорю вот... с тобой можно было жить в забвении. — Андрей надел шапку. — Хорошо можно было жить... В забвении всем живется хорошо.

— Ты куда?!

— Коней поить, — бросил он и вышел, не взглянув на жену.

Кони привычно и приветливо заржали, чувствуя хозяина, потянулись мягкими, просящими губами, но

Андрей не взял с собой посоленного хлеба, как это делал всегда.

Он выдернул жерди из загона, выпустил коней, махнул длинным рукавом армяка.

— Пошли! Н-но! Хоп-хоп!

Лошади рысцой потянули к речке, и там, забредя по колено в мутную, полую воду, прильнули к ней, замерли, и лишь прядущие уши напоминали птиц на гнездах. Напив коней, Андрей согнал их с берега по направлению ко двору, и они дальше пошли сами, повинаясь привычке. Андрей же присел возле разлившейся речушки, умылся ледяной водой и ею как бы смыл последние сомнения: да, он уходит из дома. Уже ушел. Иначе придется уходить с детьми и сделать их бездомными.

Андрей подошел к своему заплоту и осторожно выглянул: лошади уже стояли в загоне и терлись боками друг о друга, счесывая зимнюю шерсть.

Любушка стояла на крыльце и, приложив козырьком руку, всматривалась в сторону речки. За спиной Андрея вставало солнце...

Андрей пригнулся и пошел вдоль заплота, по задам, чтобы никому не угодить на глаза.

Альбина Мамухина не ушла с отцом в Свободное, а осталась жить в своей бане, у речки, в трех шагах от воды. Председатель Артем Никитич пытался выселить ее, однако Альбина заперлась изнутри и кричала в отдушину, что подожжет себя вместе с баней, если будут прогонять. Ее считали ненормальной, поэтому отстали; к тому же колхозной конторе, устроенной в мамухинском доме, баня была не нужна.

Альбина сидела на полке возле отдушины и пряла куделю. Андрей опустил на высокий банный порог и вытянул ноги: прошел совсем немного, а ноги уже гудели, как телеграфные столбы.

— Что же ты, все время прядешь и прядешь, — заговорил он. — Зачем тебе столько ниток?

— Белую рубаху соткать хочу, — занимаясь делом, сказала Альбина. — Без единого шва, без единого узелка соткать хочу. Белую-белую!

— Нитки-то у тебя черные, — заметил Андрей.

— А я подожду, когда они поседеют и выбелятся.

— Помоги мне, Аленька, — попросил он. — Нет мне пути больше, не вижу дороги.

Альбина оторвала от кудельки нить, смотала ее, затем взяла другое, пустое веретено и выпряла короткий зачинок, только чтобы на веретенной ножке завязать.

— А ты иди, и будет путь, — вымолвила она. — Пошел ведь уже, так иди.

— Куда мне идти?.. Не знаю я, не знаю! Воли моей нет! За руки держат, ноги связали...

— Дети за руки держат, жена ноги связала. — Не было в ее голосе ни обиды, ни ревности и зависти. — Ты же путы порви и ступай. Кто не идет никуда, тому и пути нет.

— Спасибо, Аленька. — Андрей поднялся.

— Иди, иди, — поторопила она. — Так и быть, выпряди я тебе дорожку. Длинную выпряди, иди...

В низкую банную дверь било восходящее солнце.

В Есаульске он сразу же пришел к бывшему дядину дому и спросил у часового, на месте ли следователь Колодкин. Часовой оглядел Андрея, поправил винтовку на плечо и сказал, что уже поздно и в ГПУ никого нет.

Андрей знал, что есть и Колодкин наверняка там: ночью начинались допросы, однако настаивать не стал. Он разыскал постоянный двор, именуемый теперь "Домом колхозника", однако на ночлег его не пустили, потребовав справку. У Андрея не было ни справки, ни какого-либо документа, поэтому он спустился с крыльца и подошел к костру, возле которого стояло и сидело несколько человек. Они были чем-то похожи друг на друга — нищенки, калека, на обрубьш тела которого был надет рогожный куль, согнутая пополам, с вывернутой головой старуха, бритый наголо старик-татарин и довольно молодой, но, похоже, душевнобольной мужик, по лицу которого пробежали судорожные гримасы. Похожесть эта состояла в том, что все они находились здесь в ожидании и, слышав даже тихий шорох в Доме, мгновенно оборачивались на него, как на выстрел. Андрей молча встал в круг и протянул руки к огню.

Он отметил еще, что они все здесь давно знакомы и собрались не случайно, поскольку сразу же неприкрыто стали рассматривать нового человека. Инвалид-обрубьш подергал Андрея за полу армяка:

— Чего, не пустили? Справки нету?

— Нет справки, — сказал Андрей.

— А из какой волости будешь?

— Из Свободненской... Бывшей Свободненской.

Калека округлил глаза.

— Слыхал! Слыхал-слыхал-слыха-а-а! Это вы там по лесам прятались? От Соввласти скрывались?

— Мы просто жили, — проронил Андрей.

— Э-э! Нынче просто не живут! — засмеялся калека. — Нынче все коллективно. А ты, значит, не захотел?

— Не захотел.

Калека стремительно огляделся и заговорил шепотом:

— Дак тебя живо приберут! Помалкивай. Нынче строго!

— Я не боюсь, — сказал Андрей, глядя в огонь и чувствуя на себе взгляды.

— Поглядите, какой храбрый! — засмеялся калека. — Это ты в лесу сидючи храбрись, а здесь язык прикуси.

Андрей поднял глаза и увидел, что его боятся, потому что смотрят со страхом, будто готовые в любой момент, стоит ему сделать одно неосторожное движение, сорваться и бежать без оглядки.

Вот они чем были похожи!

— Чего же вы боитесь, люди? — спросил он. — Вам-то что бояться? То, что у вас есть, уже никто не отнимет и хуже, чем есть, не сделает.

Инвалид вцепился жесткой рукой в армяк и потянул к себе с такой силой, что Андрей невольно согнулся.

— Сделает! — горячо прошептал он. — Ты в архиерейских погребках не сидел? А я сидел. Туда из выгребной ямы дыру пробили. Сидел, брат, и не приведи Господь... Я тоже был храбрый. Все молчали — я говорил. Но как попал в погребку... Уж лучше тут, у костерка да воздухом дышать. А за полночь благодетельница в Дом пустит. Ты не хорохорься. Не таких там ломают.

— Не сломают, — твердо сказал Андрей. — Потому что я их не боюсь. И ненавижу.

— Одичал, одичал ты, парень, — жалея, протянул калека. — Ох, попадешься Колодкину, на его колодку, он тебя быстро оформит лет на десять. Нынче каналов много копают, народ везде нужен.

— Бывал я и у Колодкина, — признался Андрей. — Да видишь, не оформил.

— Джигит, — похвалил старик-татарин. — Батыр...

И наступила полная тишина. Калека, взглядевшись в лицо Андрея, оперся ручками-деревяшками о землю и сделал неожиданно большой и сильный скачок в сторону. Отвернувшись от всех, он достал из рогожного куля, в котором сидел, шкалик водки, разгрыз зубами сургуч, распечатал и сделал несколько глотков.

Душевнобольной принес откуда-то две полугнилых плахи, переломал их о землю и, делая страшное лицо, взгромоздил на костер.

— Что ты делаешь-то, что? — гусыней закивала согнутая пополам старушка. — Зря только и переводишь. И так огонь теплый. Да впустят скоро. От бестолочь...

Сыроватые плахи почти заглушили костер, повалил дым. Люди машинально подвинулись к огню. На Андрея уже не глядели, словно вдг забыли о нем. "Перед кем я тут расхрабился? — с горечью подумал Андрей. — Что за язык потянуло?.." Однако желание говорить не угасало, наоборот, ему хотелось кричать, бузить, как перепившемуся мужику на свадьбе, буянить, как буянил дед Прошка Грех на каждой гулянке. Он понимал, что все это от бессилия, но сдерживать себя не мог да и не хотел.

Калека вновь оказался рядом, дернул полу.

— Хоть на тебе одежда эдакая и бородачи, а все одно заметно, ты человек образованный. А раз так, значит, ряженный, значит, в запрещенных разговорах у тебя интерес. Да ты напрасно тут ошиваешься. Народ вон тихий, убогий: нищие да калеки.

— Ты что же, за шпиона меня принял? — спросил Андрей. — За провокатора?

Инвалид угнездил свой обрубьш в заранее приготовленную ямку, чтобы не опрокинуться, и тем самым освободил две руки.

— Ныне, брат, такие разговоры разговаривают либо провокаторы, либо дураки набитые, — пояснил он. — Ты дак вроде не дурак.

— Ну а если душа болит? — нагнувшись к инвалиду, спросил Андрей. — Если уже терпение лопнуло? Молчать?.. Нет, говорить буду! Они меня напугать хотят, и пугали... Весь народ в страхе держат!

— Ты перед нами здесь не гуди, — остановил инвалид. — Нас нечего агитировать. Разве мы — народ? Да мы сор от народа. А ты пойдй вон на базар. Или лучше к архиерейскому дому. И там агитацию проводи. Тогда я погляжу на тебя.

— Батыр, — снова похвалил старик-татарин. — Настоящий чалавик.

В это время на крыльцо вышла пожилая женщина, завязанная платком до самых глаз, огляделась, махнула рукой:

— Заходите, православные.

Нищие и убогие посеменили, поскакали, побежали на крыльцо, один за другим пропадая в темном дверном проеме. У костра остались Андрей и душевнобольной.

— Ты не знаешь меня? — вдруг спросил он тихо, склоняясь к лицу Андрея. — Ты меня раньше не встречал?

Андрей слегка отшатнулся, посмотрел в лицо человеку.

Человек глубоко вздохнул, тараща глаза на огонь.

— Никто меня здесь не знает... Беда, беда. Всех спрашиваю.

— Может, это и хорошо? — предположил Андрей, чтобы поддержать этот странный разговор.

— Чего же хорошего? — загоревал человек. — Мне и в жизнь не узнать, кто я. Так и буду без настоящего имени, без отчества.

— Вы не помните свое имя? — заражаясь его тоской, спросил Андрей.

— Не помню, — проронил он. — И документов нет... Вот только матрешка есть. Кто-то дал. А зачем — не помню.

Он достал из-за пазухи вытертую до серого дерева матрешку, разъединил половинки — там были медяки, видно, собранные днем у пристани.

— Заходите и вы, — предложила женщина из "Дома колхозника". — Что же вам стынуть-то...

Беспамятный человек спрятал матрешку и молча поплелся к двери. Андрей зябко передернул плечами, глядя ему в спину.

Женщина смотрела на Андрея с материнским состраданием.

— Заходи, заходи, странник...

— Спасибо, — проронил Андрей.

Весь беспсправочный народ помещался в углу коридора, отгороженном занавеской. На полу были постелены соломенные матрацы, такие же подушки и солдатские одеяла. Андрей выждал, когда улягутся завсегдатаи, и лег на свободное место. Впервые в жизни ему не было неловко и стыдно, что он, здоровый и молодой человек, находится вот так, вместе с нищими и убогими, с тем самым "сором", что сбивается у церквей, ночлежных домов, на пристанях и вокзалах; именно среди них он впервые почувствовал, что и сам нищ и убог. Едва он прикрыл глаза, как сразу вспомнил писателя Ивана Бездольного и стал думать о нем. Нет, не случайно и не зря он, прикинувшись блаженным, пошел ходить по земле. В пору, когда жестко закрепощается народ, когда изобретаются хитроумные способы управления человеком, когда он лишается возможности проявлять свою волю, свободными остаются юродивые да блаженные. Сколько же их ходит теперь по России, прикинувшись слабоумными только для того, чтобы спрятать свой бунтующий ум? Сколько душевнобольных, скрывающих под этой маской страдающую душу?

Кто мог крикнуть правду царю? Крикнуть и остаться вольным?

Ночью к ногам Андрея почти неслышно прискакал инвалид-обрубыш, дернул за сапог.

— Эй ты, спишь, что ли?

— Не сплю, — отозвался Андрей. — Думаю...

— Думай, парень, думай, — зашелестел инвалид. — Я вот что сказать хочу. Часто болеют те, кто заболеть боится. От страха хворь нападает. Ежели весь народ под страхом ходит, обязательно надо, чтоб хоть один в уме оставался и не боялся. И резал бы правду-матку. Понял? Да такую правду, про которую народ думает, но сказать не смеет. А будет один с правдой на устах — не пропадет народ, выживет. С меня какой нынче агитатор? Я полчеловека только остался. И после погребов-то ничего сказать не могу, отняли силы последние. Я замолчал, а кто-то говорить должен.

Андрей показал на беспмятного человека, спокойно спящего у самого порога.

— Кто это?

— Он и сам не знает, кто он, — проронил инвалид. — Безымянный... А что, признал его?

— Не признал, — сказал Андрей. — Но будто видел где-то... Вспомнить не могу.

— Вспомни! — вдруг загорячился обрубыш. — Я смотрю на него и думаю: а если он какой-нибудь такой человек!.. Такой человек!.. Ну, вспомнил?

— Нет, не могу, — признался Андрей. — Но глаза знакомые...

— Вспомнишь, так приходи сюда, — попросил инвалид. — Он все время здесь, проезжих спрашивает... Говорить надо, парень. Люди вон уже память теряют. А ну как все такие станем? А ну как все, а?!

Говорить, говорить, пока горит в душе эта яростная сила!

Андрей сориентировался и пошел в сторону пристани. Конечно! Надо ехать. Ехать и говорить, идти и говорить, ползти и все равно говорить. Они устанут слушать. Должны устать.

Он уже вышел к пристани, уже увидел деревянные баржи у бревенчатого причала и пароход-колесник с черными трубами; увидел людей с мешками, корзинами и чемоданами, ожидающими посадки. На устах уже зажигался фитиль первой дерзкой фразы, но похолодела вдруг душа и разжались кулаки.

Кричать и говорить можно было в ГПУ, где его не слышали. Но ведь слова его, сказанные перед народом, станут возбуждать в нем мятежный дух. Он, Андрей, осмелившись говорить правду, начнет поднимать людей. И они, захваченные ветром слова, десятками пойдут по лагерям, сотнями, тысячами! Можно быть смелым, когда ты — неприкосновенный. Но люди-то беззащитны! И, срывая зло, ими будут набивать лагерь. Или даже ямы...

Провокатор из благих побуждений.

Нельзя поднимать людей на явную смерть, нельзя без времени будоражить в них душу. А правду они видят сами.

Однажды уже поднимал, когда организовывал самооборону Есаульска. Что вышло из этого? Повесили безвинную женщину...

"Боже! Боже... Что же делать мне? — думал он, стоя на широко расставленных ногах там, где его слова опередила разумная мысль. — Кричать могут блаженные. А я — кто?.. Никто. Меня расстреляли. Меня нет больше... И меня не услышат. Я беспутный..."

Мимо спешили люди, толкали его, задевали корзинами, а он стоял и качался, как пьяный. Вот уже толпа бросилась к трапу, загомонила, закричала в давку; вот прощально просипел пароходный гудок и опустевший причал потянулся за кильватерной волной.

У всех был свой путь...

Мутная весенняя вода мыла береговой откос, и слышно было, как шелестит влекомый течением желтый речной песок.

20. В ГОД 1962...

Новый город Есаульск строили между старым, лежащим в руинах, и бывшим женским монастырем. самого города еще не было: на месте вырубленных сосновых боров стояло несколько десятков приземистых

бараков и сотни разнокалиберных вагончиков. Пока лишь строились основательно и навечно ремонтные мастерские, база материально-технического снабжения и шестиэтажное управление буровых работ. Да несколько бывших есаульских жителей, вернувшись с Севера на родину, взялись за топоры и срубили большие, на подклетах, дома окнами на Повой. То, что было на земле вместо города, отныне называлось Нефтеградом, а прежнее имя Есаульск оставалось за стареющим пожарищем.

Уже второй год после пожара Есаульск напоминал какую-то неведомую, трагически погибшую цивилизацию. Люди почему-то боялись ходить сюда даже днем, в солнечную погоду, пока по пожарищу не проторили дороги и не поставили несколько буровых вышек.

А выше по течению, за Нефтеградом, пока еще оставался на земле последний осколок этой культуры — женский монастырь. Вскоре после войны лагерь из него убрали, однако место это с тех пор негласно считалось проклятым, и люди сюда тоже не ходили. Если и случалось кому по великой нужде войти в распахнутые ворота — ходили в основном за колючей проволокой для огородов и палисадников, — то входили вдвоем-втроем, и то ненадолго. Одному же оставаться здесь было жутко. Ветер хлопал дверьми гниющих бараков, выл в струнах колючки на стенах, гремел железом и шуршал густым чертополохом, заполонившим монастырский двор. И лишь голуби, с незапамятных времен поселившись в дырявых маковках и закомарах собора, не боясь ничего на свете, носились и кувыркались над печальной и страшной обителью.

Нефтяники, бывалые люди, прошедшие Крым и Нарым, лишь однажды ввалились сюда гуляющей пьяной толпой, в нерешительности потоптались в воротах, побрякали, глядя на стены и бараки, повспоминали свое прошлое, поговорили "по фене" и ушли с тоской в глазах и протрезвевшими головами.

На людях бывший подполковник внутренней службы Деревнин тоже не любил поминать монастырь и, если кто его видел, никогда не заходил во двор. Однако когда оставался один, то безбоязненно бродил по обители, заглядывал в бараки и даже изредка, испытывая душевное волнение, проникал на хозяйственный двор. Именно проникал, потому что калитка на хоздвор была накрепко забита плахами и опутана колючей проволокой. Но у самой стены, в лопухах и крапиве, имелась дыра, через которую иногда лазали собаки во время гона. И если встать на четвереньки, низко пригнуть голову, а кое-где и на локти опуститься, то можно было пробраться за высокий, рубленый заплот и постоять там, среди буйной полыни и ядреного татарника. Сюда уж наверняка никто не ходил и не мял этой травы.

Деревнин появился в Есаульске в шестидесятом году, накануне пожара. Отслужив срок, он выхлопотал персональную пенсию и, выехав из лесных лагерей, где был начальником, "хозяином", получил квартиру в городе Сыктывкаре и собирался уже спокойно прожить свою старость. Детей у него так и не было, хотя он женился два раза. Условия службы в лесах были тяжелыми, жизнь невероятно однообразной да и опасной из-за большого скопления заключенных, поэтому женам скоро становилось невыносимо, и они уезжали в места более приветливые. Выйдя на пенсию, Деревнин жил вместе со своей престарелой теткой, к концу жизни прибавившейся к

племяннику. И все бы ничего, если бы вдруг в пятьдесят восьмом году не началось разбирательство с его послужным списком. Ко всему прочему, на Деревнина пришло несколько анонимных писем и официальных заявлений от бывших заключенных. Деревнин знал, отчего это начали копать прошлое. Он чувствовал, что в народе начинается брожение и недовольство не только лагерным режимом, но и жизнью. А особенно прошлой, тридцатых годов, жизнью. Конечно, этот "шухер" можно было придавить и пресечь в самом корне, построив еще три-четыре лесных лагеря, но власть во главе с "Никитой" все-таки решила поиграть в демократию и отдать в жертву несколько фигур, мало что значащих в великой "перековке" народа. Деревнин хорошо играл в шахматы, поэтому сразу же просчитал все ходы Никиты: заткнуть рот возмутителям пешками и одновременно прикрыть главные фигуры, а то и сделать рокировку, надежно упрятав короля. И вот его, Деревнина, заслуженного чекиста, бросили на пол, как тряпку, и стали вытирать ноги. Когда-то, загребая его руками жар, они делали свои дела и политику, вешали награды и звезды на погоны, а когда стал не нужен, отдали на растерзание спецкомиссии, партийным аппаратчикам и журналистам. И все, кто расправлялся с ним, безбожно ввалили вышестоящим органам, сами себе и народу. Он мог смеяться им в лицо, если бы захотел! Ни один, занимающийся его делом, никогда и ни за что не мог сказать всей правды, ибо ему обязательно пришлось бы замахнуться на таких вождей, на таких учителей-гуманистов и на такие "святые" времена, что рука вмиг отсохла бы! И голова вместе с рукой.

Как они изворачивались! Как они оправдывали террор, разделяя его на зверство и благородство! А того не ведали, что пуле все равно, по какой категории укладывать людей в землю. Они же, иуды хитрозадые, обвиняли и судили пулю! Очень уж им хотелось искупаться в святой водичке, но так, чтобы штанов не замочить. Отняли все награды, персональную пенсию и даже из квартиры выгнали, запихав в барак на окраине Сыктывкара. Можно было кое-кого зацепить в состав; пусть самого "паровозом" сделали, но и кто-нибудь бы побрякал колесами на стыках. Однако Деревнин знал, что бывает, когда начинается большая игра. И правила таких игр знал и принимал, что потом и оценили, назначив пенсию по старости чуть только меньше размером, чем персоналка. Жить, конечно, в Сыктывкаре уже было нельзя, и Деревнин отправился на родину.

Приехал он незаметно — его тут почти забыли, купил небольшой домик с огородцем на окраине и стал жить тихо и благородно. Правда, приходилось скрывать, где работал и чем занимался, да люди в Есаульске по-прежнему были наивны и верили всему, что ни скажешь. После пожара, когда оставшийся народ сбежал из города, воцарился мир и покой. Деревнин даже не жалел сгоревшего домика. Он получил компенсацию от нефтеразведочной конторы и небольшой теплый вагончик со всеми удобствами. К тому же ему была обещана квартира в первом построенном доме.

И тянуло еще к бывшему монастырю. Куда бы ни пошел, хоть десять кругов по окрестностям дай, а все одно ведут ноги к первому лагерю. Иногда Деревнин, забывшись либо вспоминая о товарищах по службе, пойдет просто так побродить, глядишь, а уже под стенами монастырскими. И заметил он, что как только ступит во двор, будто сам не свой делается.

Много было тут памятных мест. И одно, за заплотом, тянуло особенно. Вроде и не хочется глядеть, и нутро все замрет, заледенеет, а в голове жарко и мысль, как сверчок, свербит и свербит, мол, ну, погляди. Залезь и постой немного. Надо посмотреть. Там трава выросла...

И идет тогда Деревнин. Становится на четвереньки, нагибает голову. Живот мешает, бывает, и штаны трещат — неловко, как ни говори, седьмой десяток распочал.

Как-то однажды — уже после пожара было, к осени дело шло — ходил Деревнин под монастырскими стенами: по дорожке, где наружный пост был по охране периметра, и увидел старуху в черном. Рядом огромная собака идет. Оба худые, будто их только из ШИЗО выпустили. Подошла старуха к воротам и стала молиться на выложенный кирпичом овал, где обычно лагерная вывеска висела. Деревнин так и сел. Старуху он не узнал, а догадался, кто это. Слишком памятен был тот давний случай, когда Голев заставлял забеливать надвратную икону. Чтобы проверить свою догадку, Деревнин подкрался поближе, но пес старухин почуял и насторожился — совсем близко не подойти. И все-таки узнал. А узнав, оцепенел, словно на хозяйственном дворе. Это надо же! Еще живая ходит!

Переезжая в Есаульск, думал он, что встретить кого-либо из "крестников" просто невозможно. Их быть не должно. Кто остался — война домолотила, послевоенный голод и время. А вот тебе пожалуйста! Узнает, чего доброго, и тут шум подымет. Куда потом ехать?.. Огляделся он по сторонам — никого, а руки сами непроизвольно шарят траву, шарят, но ничего подходящего нет. Камнем если — пес вмиг порвет. Собак-то таких сроду не видал, здоровее овчарки. Дома-то наганишко был, и мелкокалиберная винтовка была, да ведь ждать не станут, пока он ходит.

А старуха помолилась и вошла во двор. Деревнин крадучись пошел за ней, вдоль стен, по лопухам — что делать станет? Пес же чует, ворочает своей головицей, тянет носом... Старуха побродила по траве, нашла какое-то место и встала на колени.

— Прощай, сын и брат мой, Александр, — услышал он. — Прощай, брат во Христе. И ты, брат преосвященный, владыко Даниил, прощай. Кланяюсь праху вашему. Царство вам небесное!

Деревнин несколько успокоился. Если прощается, значит, оставаться в Есаульске не будет. А может, вообще на тот свет собирается, если прощаться пришла. Старуха прочитала молитву, поправила лямки у котомки и побрела за ворота. Деревнин на расстоянии за ней последовал: куда пойдет? И так провожал до нового города Нефтеграда. Там старуха побродила между вагончиками, поплутала по лабиринтам и все кого-то высматривала. И собака ее тоже ходила следом, высматривала и вынюхивала. Увидела старуха ребятшек, которые по луже бродили, остановилась, подозвала к себе, а дети не идут, боятся. Тогда пес завилял хвостом и сам полез в лужу. Дети его погладили, даже верхом посидели, а старуха все приглядывалась к ним. Так часа четыре она слонялась по Нефтеграду, потом только вышла на старый город, постояла среди пожарища и направилась к Красноярскому тракту. Деревнин проводил ее километров за восемь и вернулся домой только ночью. Старуха, похоже, уходила куда-то навсегда.

Почти с такой же необъяснимой силой, с какой тянуло

его на хозяйственный двор обители, манило и в другую обитель — в милицию. Там были свои... Нет, разумеется, там сидели другие люди, те, кто готов кинуть на растерзание ближнего, своего, когда в нем нет нужды. Это в основном молодые работники, гонористые, образованные, шухерные законники. Кто постарше, кто захватил время, о котором говорят — вот раньше было! — те по-человечески к людям относились. И представление имели, с каким контингентом приходилось работать еще совсем недавно. Однако те и другие носили форму и делали дело, к которому был всю жизнь причастен и он. И дело это повязывало всех, какого бы толка работник ни был и что бы в голове ни держал. Оно, это дело, напоминало Деревнину некий тайный союз посвященных. И на своем языке можно было бы славно потолковать, так что потом друзья на вечные времена. И ты уже вхож и в кабинеты, и в курилку — свой человек.

Деревнин же до такой степени не сближался с есаульской милицией. Теперь эти игры были лишними и могли повредить спокойному житью. Однако тянуло, и приятным казалось посидеть рядом с человеком в форме, понюхать, как она хорошо, до душевной истомы, пахнет табаком, одеколоном, еще казарменным духом кислой капусты, совсем немного потом и оружейным маслом. Несведущему человеку не понять, не прочувствовать этого запаха; ему ни за что не понять, в чем же красота, когда от перекошенного плеча или вскинутой руки переламывается и встает гребешком погон. И не дано знать ему, как тянет ремень тяжелая кобура особой, пистолетной тяжестью, как чисто и благородно скрипит начищенный, зеркальный офицерский сапог. Все это требовало тонкого слуха, особого зренья и долгой привычки. И потом, кем бы ты ни был, уже не обойдешься без этого, как зеленоносый нюхач без понюшки табаку.

Деревнин примелькался есаульским милиционерам еще с той поры, как пришел на прописку. С одним поговорил, с другим побеседовал, потом, на улице встретив, за руку поздоровался. Так и пошло. К нему скоро привыкли и без всяких фокусов считали своим. Деревнин приходил как домой, иногда зимой сидел в дежурке, а чаще всего на скамейке под стеной КПЗ или в каптерке у старшины отдела. Сидел, нюхал, слушал, приглядывался, и хорошо становилось на душе старого сотрудника. Здесь никогда не говорили такие пошлые, простонародные слова, как милиция, милиционер, служба. В ходу были другие, точные, по-своему изящные, веские, как пистолет в кобуре, и всегда загадочные для постороннего — органы, сотрудник, работа. Даже и это повязывало незримыми нитями, из которых и ткалось высокое понятие — честь мундира.

Его называли здесь по-свойски, но и уважительно — дед. Он был на равных, когда вечером дежурный по отделу гонял бригадмилыца за бутылочкой, над ним изредка подтрунивали, имея в виду одинокое, без старухи, житье; он мог запросто войти к кому-либо в кабинет, покурить, спросить, что новенького. Деревнин был для сотрудников вроде небольшой отдушины в нудном и суконном милицейском житье-бытье. И года не прошло, как все забыли, откуда и каким образом появился при есаульских органах Деревнин. Казалось, он тут вечно, и, стесняясь выглядеть дураком, никто и в ум не брал спросить, кто он на самом деле, почему ошивается возле милиции и что ему

надо. Это как раз и нужно было Деревнину, чтобы поддерживать в себе состояние принадлежности к органам, ибо, потеряв такую связь, он бы потерял вкус к жизни, что так часто случается с пенсионерами.

Однако спустя три месяца после пожара, когда купол, на котором стоял Есаульск, дал просадку и река Повой, шатнувшись к городу, начала подмывать берег, Деревнин потерял покой. Никто еще не ведал о том, хотя геологов было пруд пруди. После осеннего паводка высокий, до двадцати метров, яр почти стал отвесным, а раньше он имел горбатый песчаный склон. Деревнин стал реже появляться в милиции и почти все время находился на берегу возле монастыря или у воды, для блезиру прихватив удочку. Он закидывал леску с крючком без червяка в посветлевшую воду, а сам глядел на песчаную толщу, будто отрезанную ножом. Если за слабосильное осеннее половодье столько съело берега, то что же будет весной?.. Он забирался на яр и, сделав метр при помощи спичечного коробка, измерял расстояние от обрыва до монастырской стены. Оставалось три метра семнадцать сантиметров...

Расстояние очень опасное...

Но никому еще не было дела. Всю зиму он жил в тревоге и ночами изобретал способы, как остановить крушение берега. Будучи на строительстве Москанала, он видел, как укрепляют берега от размыва, как строят дамбы и шлюзы. Деревнин придумал способ: следовало вдоль всего яра по урезу воды забить несколько тысяч свай, а уже на них завязать ряж из бревен, который потом забутить камнем и глиной. Он все рассчитал, предусмотрел и, прежде чем начать что-то предпринимать, стал ждать весны.

А весна унесла один метр три сантиметра суши!

Дурная вода грызла берег на глазах. Земля откалывалась от своей материнской толщи, зависала над водой, затем без всплеска, "солдатином", уходила в пучину.

Это была трагедия...

Милиция Нефтеграда располагалась в соединенных между собой и выстроенных в виде бублика вагончиках. Возле них полукругом стояли жилые вагончики, а внутри, в самом центре, в замкнутом пространстве было КПЗ. Деревнин разыскал паспортный стол, вошел в тамбур вагончика и поднял руку, чтобы постучать в дверь. Поднял и замер.

На двери была прибита новая табличка: "Уполномоченный паспортного режима тов. Березин Н. И."

Ему сразу же привиделась старуха с собакой, бредущая по густой траве монастырского двора. "Ишь ты, живы, — тихо изумился он. — Этот наверняка того корня... Значит, где-то близко живут. А я и не знал".

Он постучал и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. За столом над бумагами сидел молоденький лейтенант в отглаженной, новенькой гимнастерке. Она сидела на Березине, будто влитая, и пристегнутые золотистые погоны, твердые, наверняка с целлулоидными пластинками, щеголевато нависали вперед. Пронзительно синий цвет ее и ласковость новой ткани вызвали легкое возбуждение. К тому же глаза у лейтенанта были синие, и это сочетание, и то, как упруго перетягивает широкую спину ремень портупеи, говорили лишь об одном — пойдет у него служба! Личит ему, как говаривали раньше, милицейская

форма. Правда, лицо не совсем подходящее. Нет твердости, сурового взгляда, нет еще чекистского прищуря, да это все наживное. Посидит, потрется среди старых сотрудников, напитается духом органов и далеко пойдет!

И еще отметил Деревнин, что порода та, березинская. Если бы ему шрам на лицо, так перекреститься бы захотелось, как похож. Судя по возрасту, наверняка внук, да и инициалы больше для внука.

— Товарищ лейтенант, — начал Деревнин официально, однако вкладывая в слова ту независимость, которая должна напоминать Березину его молодость и короткую службу в органах. — Товарищ лейтенант, говорят, вы историей интересуетесь? Старину собираете?

Березин широко заулыбался и встал, показывая тем самым, что воспитан и уважает пожилых людей.

— Интересуюсь... Да вы присаживайтесь!

Деревнин сел, но не к столу, где могут сидеть допрашиваемые и посетители, а к стенке, у окошка.

— Это хорошее дело, я вам скажу, — одобрил он. — А то нынче все ровно помешались: нефть, нефть!.. Вон город из-за нее спалили, а людей по баракам распахали. Оно, понятно, коммунизма без нефти не построить, да ведь и без истории не обойтись.

Лейтенант расцвел от удовольствия.

— Как хорошо, что есть еще понимающие люди! А то черт-те что творится. Никому ничего не нужно.

— Вот и я говорю, — подхватил Деревнин. — Одними полезными ископаемыми сыт не будешь. Для души надо, для воспитания подрастающего поколения. А на чем его воспитывать? На истории. На любви к родному краю, на примерах жизни отцов и дедов. Ведь и так все растеряли, все похерили. А будущему поколению каждая старая безделушка станет дорога. Все надо сохранить, сберечь по-хозяйски. И нас потом не один раз добрым словом помянут.

— Что вы! — замахал руками лейтенант и возбужденно заметался возле стола. — Кто об этом думает?.. Город сгорел, все архивы сгорели, предметы жизни, быта, старого уклада — все в пепел превратилось. Опять все с начала, опять начинать с пустого места! Да что там говорить!.. — Он склонился к Деревнину. — У нас люди потерялись — никто не ищет! Арестованных, которые в КПЗ сидели, во время пожара догадались выпустить. Вот теперь их ищут. А больше тысячи народу исчезло с концами — хоть бы кто пальцем шевельнул. Я делаю запросы — как в воду канули.

— Неужто? — удивился Деревнин.

— В самом деле! Нигде не объявлялись, а уж год прошел. — Лейтенант вздохнул. — Прихожу в школу, говорю, ребята, давайте на пожарище раскопки делать. Ведь скоро сроят, а мы бы хоть что-нибудь, да спасли. Нет... Не интересно. Возле буровых вышек часами могут стоять, а что под ногами пропадает — не интересно. А знаете, я уже столько экспонатов нашел! Такие удивительные вещи попадают! Например, настоящее бронзовое литье восемнадцатого века, старинные ручки от дверей, шпингалеты, посуда — художественные произведения!

— Эх, лейтенант, лейтенант, — вздохнул Деревнин и передразнил: — Шпингалеты, чашки-ложки... Есть кое-что поважней!

— А что? — оживился Березин.

— Монастырь, к примеру! Видал его?

— Видел, — чуть растерялся лейтенант. — Так он не сгорел, стоит...

— Пока стоит, — оборвал его Деревнин. — Да скоро рухнет! Последний исторический памятник.

— Почему рухнет? — удивился Березин. — Сносить собираются?

— Потому что берег размывает! — рубанул Деревнин. — По метру в год!.. И никому дела нет. А там бы можно было музей организовать!

Лейтенант механически сел на стул, покачал головой и засмеялся от радости:

— А мне и в голову не приходило!

— Ничего, ты еще молодой, — успокоил Деревнин. — А такие мысли к старости только приходят... Там надо берег укреплять. Надо общественность поднимать, в газету писать, мало будет — в Москву!

— Спасибо, что ума вставили! — по-мальчишески восхищенно поблагодарил Березин. — Я за это дело возьмусь!

— Берись, берись давай, — подбодрил Деревнин. — На стариков не надейтесь, мы свое отжили, а вам жить... Сам-то ты откуда родом?

— Издалека, — протянул лейтенант. — В Северном Казахстане родился.

— Да... В степях, значит? — понимающе сказал Деревнин. — А наши места лесные, можно сказать, заповедные были, пока нефть не нашли. Тайга кругом, и вся жизнь в таких городках была.

— Я знаю! — разублаился лейтенант. — Тут моя прародина. Я же после пединститута сюда приехал, по распределению. Да по комсомольской путевке в милицию угодил. Правда, ненадолго. Закончится паспортизация, уйду в школу.

"Так тебя и отпустили, — подумал Деревнин. — В органы попал — двадцать пять лет барабанить..."

— Родители из этих мест? — осторожно спросил он, будто бы из уважения.

— Даже деревня такая была — Березино, — горделиво сообщил лейтенант. — Там сейчас дед мой живет, переехал. И прадед, и прапрадед жили. Село красивое, дома высокие, смеются стоят, а народ...

— Слышал, слышал, — равнодушно бросил Деревнин. — Разбегается, поди, как паспорта-то давать стали?

— Да нет, — пожал плечами Березин. — Народ там запуганный, тихий — смотреть тошно. А нищета какая...

— Где сейчас богато живут? — Деревнин покачал головой. — Кругом нищета. Колхоз, он всех под монастырь подвел. Вон, один богатей, Чингиз! За нефть готовы с мужика последние штаны снять. Кормилец-мужик задницей сверкает, этот на золоте ест. Где справедливость?

— А была она? — тихо спросил лейтенант. — К крестьянину ее никогда не было. Если бы нефть за границу не гнали, и Чингиз сверкал бы.

— Так-так, — подтвердил Деревнин. — Земля-то труда требует, а нефть что? Качай да продавай... Ну, с монастырем-то надо решать. — Он поднялся. — Уж не забудь, товарищ лейтенант, похлопочи.

— Постараюсь, обязательно! — горячо заверил Березин. — Простите, а зовут-то вас как?

Деревнин рассмеялся, развел руками:

— Зовут-то?.. Да я тут известный. Дедом меня все зовут.

Дед, дед, кричат. Я уж и привык. Чего обижаться, раз дед? А мне нравится!

Он вышел из паспортного стола, ходом миновал милицкий квартал, поплутал лабиринтом между вагончиками и оказался возле трубы, из которой текла вода. Забредя в лужу, он подставил шею под струю, вымыл лицо, руки и напился. Было такое ощущение, что вырвался из жаркой, останавливающей сердце бани.

Делая круги, Деревнин добрался до своего вагончика, закрылся на внутренний замок и сел у двери.

Следовало все обстоятельно продумать и взвесить. Может быть, зря ходил к этому молокососу? Зря себя обнаружил?.. Нет, все равно бы столкнулся, так лучше первому прийти. Ладно, внучок — птенец желторотый, ему уши "притереть" — раз плюнуть. А что с дедом делать? Живой, бродяга! Ему же лет под семьдесят... И как они умудрялись выживать? Заговоренные, что ли?.. Придется уезжать. Они мне здесь житья не дадут, все равно рано или поздно старик объявится. Уезжать. Только куда? Назад в Сыктывкар нельзя, там еще не забыли... Но почему мне уезжать? Он тут останется, а мне ехать?

Наверное, зря затеял с монастырем! Эх, зря! Пусть бы он валился к чертовой матери. Ну, посыплется из ям, так что? Он-то при чем? Да и в ямах-то, поди, труха осталась... Нет! Нельзя допускать! Ни в коем случае! Пускай лежит и труха, пускай с песком там смешивается, пускай там будет музей-размузей, лишь бы землю не ковыряли, лишь бы на белый свет ничего не показывалось!

А со стариком? Может, взять наганишко да пойти шлепнуть? Народу пришло много, бичи со всего света слетаются. На иную рожу глянешь — по десятку статей написано, по три-четыре ходки в зону... Да ведь никогда в жизни не совершал ничего противозаконного. Если не считать Голева с бабой. Так ему, людоеду, так и надо!.. К тому же по молодости случилось, по глупости. И теперь нельзя! Пускай живет. Глядишь, скоро сам приберется. Нет, нельзя нарушать законов!.. Может, старик подзабыл, как все было? Лет-то сколько прошло? И если разобраться, так он, Деревнин, спас от смерти Березина. Ведь условно расстреливали-то! Условно!.. Березин помнит. Да пусть помнит! В конце концов, кто виноват? Служба была такая...

Внук приехал в субботу, когда дотопливалась баня. Приехал в форме, на милицком "черном воронке" и, отпустив его, снял фуражку, огляделся и пошел к воротам.

Андрей Николаевич сидел на крыльце возле дымящегося самовара и вязал свежие веники.

— Переодевайся, не пугай народ, — хмуро сказал он, не здороваясь. — Говорил же, не ездь сюда в форме. Что, переодеться лень?

— Не успел, дед, — засмеялся Коля. — Начальник машину на полтора часа только дал... Баня готова?

Дед не ответил, затягивая веник шпагатом. Руки у него были заскорузлые, с трещинами на сгибах пальцев: Андрей Николаевич все еще обживал свою усадьбу, простоявшую пустой двадцать четыре года. Хорошо крытая драньем, крыша выдержала, и дом сохранился, хотя и здорово постарел. Конечно, огород зарос, дернина едва лопатой прорубалась, прясла попадали, так что заново пришлось городить все заборы. Всю весну с дедом пластались, а сейчас вон уже картошка по пояс выросла, цветет, и лук

хоть косой коси, и свекла, морковка, репа: отдохнула земля. Правда, и трава прет, поли не поли эту дурнину, за один год не выведешь...

Коля рассупонил портупею с пистолетом в новенькой кобуре, снял гимнастерку, рубаху и уселся рядом с дедом. Как только Андрей Николаевич переехал на родину, в Березино, и стал жить на земле, сделался ворчливым и даже каким-то прижимистым. Однажды Коля привез с собой на выходной ребят из милиции — двое с ним вместе по путевке пришли, ни родни у них, ни кола, ни двора, — так дед потом три недели ворчал и предупреждал, чтоб не возил больше чужих в Березино. Мол, я вам тут не лакей баню топить да кормежку готовить. Вы, как жеребцы, ржете да скачете, и все вам подай-поднеси...

Коля считал, что дед испортился оттого, что, приехав сюда, не застал свою мать, то есть прабабку. Сразу заметно было, из деда словно воздух выпустили. Выглядел он всегда моложаво, своих лет не дашь, а тут стареть начал, как покинутый хозяином дом. Года не прошло, как здесь живет, кажется, и работа по хозяйству ему в радость и на пользу, однако на глазах вянет старик. Вздумал же какой-то дурак дать прабабке паспорт! Она и раньше, до паспорта, все порывалась уйти, и каждый раз ее задерживали и возвращали домой. Ну, а как получила, так сразу ушла, и ищи теперь ветра в поле. Коля объявил ее во всесоюзный розыск, и теперь по всей стране была расклеена листовка с портретом.

— Ну? — не вытерпел дед. Это означало, нет ли каких вестей о прабабке, матери Мелитине.

— Тишина, — сказал Коля. — Да ты не переживай, дед. Она старуха приметная да еще с собакой ушла. Найдем.

— Вы найдете, — заворчал дед. — Может, ее и в живых нет?

— Розыскники по трупу бы опознали, — нашелся Коля.

Дед связал веник, бросил его на ступени.

— Как из тебя эта милицейская зараза лезет!.. Старуха, труп... Это же прабабушка твоя! Моя мать!

Коля смутился, приобнял деда.

— Прости, дед... К языку пристаёт, прости.

Андрей Николаевич поднял веники и молча удалился в предбанник. Он был недоволен, что внук оказался в милиции. Коля окончил в Томске педагогический институт, историческое отделение, готовился идти учительствовать, однако в связи со всеобщей паспортизацией очутился в органах. Андрей Николаевич никак не мог понять, насколько по своей и насколько по чужой воле это произошло. Сам же внук клялся и божился, что ему не отдавали в институте диплом, пока он не дал согласия на милицию. Однако если не по собственной охоте пошел, тогда бы отчего все время ходил в форме, при пистолете и будто бы козырял этим. Видно же, когда человек любит мундир и когда его ненавидит.

Но если Колю насильно впрягли в службу, то он теперь словно один к одному начинает повторять его, Андрея Николаевича, судьбу.

Это болело так же, как болело по ушедшей в никуда маменьке, матери Мелитине...

Сыновья Андрея Николаевича, Иван и Петр, жили в Северо-Казахстанской области, дочери — Люба, Лиза, Лена — рано повыходили замуж и разъехались по белу свету. Но с ними все сразу было ясно: отрезанные ломти. А вот то, что сыновья отказались вернуться на родину,

удручало Андрея Николаевича. Как он ни старался выковырнуть их из сухой, степной земли и пересадить в родную, ничего не получилось. Иван и Петр жили в одном целинном совхозе, в одном двухквартирном доме, держались друг за друга, как малые дети в ветреную погоду, держались за эту горячую, изъязвленную солончаками землю, словно голодные за кусок черствого хлеба. Летом от черных бурь, от земли, поднятой в небо, меркло солнце; зимой от буранов и снежных заносов нельзя было выйти из дома. А они жили, радовались и ничего лучшего не желали. В пятьдесят шестом году, когда Андрей Николаевич впервые приехал к сыновьям в степной совхоз, то застал их уже обкоренившимися мужиками. У обоих семьи, дети, хозяйство, но ни один из них так и не выучился. Старший, Иван, до войны закончил десятилетку, Петр — девять классов. На том и остановились, и никакой науки, кроме хозяйской и житейской, не хотели.

Вся надежда Андрея Николаевича оставалась на внуков. А было их уже двенадцать душ. Коля — самый старший из них, сын Иванов, рос балбес балбесом среди послевоенной шпаны, однако обсыпалась с него шелуха, появился умишко — и парень, на глазах перерождаясь, потянулся к учебе. И историческое отделение пединститута выбрано было по настоянию Андрея Николаевича. Забресжил свет перед ним: закончит Коля институт и поедут они вместе учительствовать на свою родину. Дед и внук в одной школе, с одними детьми...

Приехали. Внук милиционер, дед крестьянствует.

Андрей Николаевич размешал угли в каменке, вытащил и сунул в ведро с водой недотлевшую головню, затем поддал, чтобы выгнать остатки угара, и пошел собираться в баню.

Временно, на период паспортизации...

А если, как и у него, надолго? Навсегда?..

Париться начинали по всем правилам, с разминки, с разогрева, от третьего пота, когда задышит тело и запросит жара. Внук давно втянулся в норму деда, хотя изредка побрякивал и похваливал дедово сердце. Он не знал, что когда-то мучила это сердце грудная жаба, которая не то что банного пара, а и комнатной духоты не могла терпеть. Дед в бане был диктатором, хотя Коля все время повторял, что в пределах бани все равны. Андрей Николаевич ложился на полок и командовал:

— Поддай!

Коля опрокидывал ковш на каменку, предварительно заперев двери на крюк, надев шапку и рукавицы, брал два веника и начинал работать. В стене на уровне полка была прорезана специальная дыра. Когда голова не терпела, дед вынимал затычку и высовывал голову на улицу. И тогда казалось, что тело горит в аду, а голова тем временем находится в раю. Потом дед укладывал внука, заставляя голову держать в холоде, и начинал парить.

После первой ходки они вывалились в предбанник, растянулись на полу возле ведра с квасом. Отпыхались, попили, пришли в себя.

— Слушай, дед, ты когда последний раз в монастыре бывал? — вдруг спросил Коля.

— В каком?

— Да в этом, — кивнул внук. — Где лагерь был.

— В тридцать третьем, — сказал Андрей Николаевич.

— Да нет. — Коля сел, привалившись к стенке. — Вот уже, когда сюда переехали...

— Не бывал, — бросил дед. — Мне в Березине места хватает.

— Понимаешь, тут один старик ко мне пришел, — начал внук. — И хорошую идею подал. Музей там организовать, в монастыре. Я в тот же день пошел, посмотрел... Страшно там. Бараки эти, крыши провалились, травища кругом нетоптаная. А в соборе еще фрески видно, и копоть черная, пыль... И ни души. Только голуби под сводом трепещутся. На улице ветер, в монастыре же ни одна травинка не шелохнется. Какой-то страшный покой.

— Ну?

— Я подумал, может, правда, сделать музей? Только ничего там не делать, а так и оставить, как есть. — Внук смотрел на деда, но тот лежал лицом вниз, уткнувшись головой в веник. — Чтобы бараки, колючая проволока. И трава... Чтобы ничего не менять. Как, дед?

— Никак, — буркнул Андрей Николаевич. — Попробуй — увидишь.

— Я попробовал, — не сразу признался Коля, — В райком ходил.

— Коля, в твои годы уже нельзя быть таким дураком, — сказал дед. — Что я терпеть не могу в вашем поколении, так это самоуверенность при простоте ума.

— Примерно так, — согласился внук. — Ты, дед, правильно заметил. Я туда пошел дураком, а вышел умным.

— Слава Богу...

— Но боюсь, что теперь туда загонят бульдозер и все выгребут, — сообщил Коля. — И бараки, и траву...

— Выгребут, — определенно сказал Андрей Николаевич. — Пока ты паришься и чай с дедом распиваешь.

— Без меня былинки не сорвут, — с некоторым удовольствием заявил внук. — Я ворота запер на два замка и опломбировал. И аншлаг выставил: собственность МВД. Ну и слух запустили, будто снова тюрьма будет.

— Накаркаешь...

— Тут все средства хороши, — отпарировал Коля. — Времени слишком мало. Берег моет здорово. Через три-четыре года может и собор навеститься.

— Что ты говоришь? — Андрей Николаевич подскочил. — Да там же не мыло никогда!

— Не знаю, — пожал плечами внук. — Теперь берег валится по метру в год, а то и больше.

— Вот как, — задумчиво произнес дед.

Коля напрягся, потянулся к деду.

— Что с тобой?!

— Ничего...

— Но у тебя лицо страшное!

Андрей Николаевич зачерпнул квасу, выпил и остатки полил себе на голову.

— Перепарились немного, — отфыркиваясь, объяснил он. — Или угар остался...

Внук сдернул с гвоздя брюки, достал папиросы и закурил. Смотрел внимательно, тянул враз повлажневший табак и не верил.

— Что в райкоме сказали? — спросил дед.

— Дорого, сказали, музей этот обойдется, — пояснил Коля. — Денег таких нет. Надо строить материальную базу коммунизма.

— Потом он дороже обойдется, — сдержанно проговорил Андрей Николаевич. — Не сказать и во сколько...

— Ты что имеешь в виду?

— Ничего, — бросил дед. — Дорого встанет, и все. Пошли!

Не дожидаясь внука, дед распахнул дверь и нырнул в огненный жар.

— Поддай!

Коля молча зачерпнул кипятка, изловчился, чтобы не ошпарило, и выплеснул на каменку. Нити черной сажи под потолком закружились вихрем, прильнули к закоптелым доскам, словно кошачья шерсть. Коля взял было часы с подоконника, но отдернул руку: накалились.

— Не баня, а карибский кризис, — буркнул он. — Вроде переборщили.

— Терпи, — сказал дед. — Кстати, что там, на Кубе-то?

— На Кубе революция. Американцы душат, наши, как всегда, помогают, — без интереса сообщил Коля.

— Значит, она все-таки жива, — медленно проговорил дед. — Жива, зараза...

— Кто? — спросил внук, натягивая шапку.

— Кто-кто! — неожиданно разгневался Андрей Николаевич. — Мировая революция, вот кто!

Внук присвистнул, хотел съязвить, уже и губы сложились в усмешке, но, видно, передумал. Он забрался на полку, сел рядом с дедом и поболтал ногами.

— Послушай, дед, — неторопливо начал он. — Ты все время темнишь, все время себе на уме. Но со мной-то, в бане, можно говорить откровенно? Или ты меня презираешь, что я в органы попал?.. Кончай темнить, а?

— Что я тебе натемнил? — проворчал дед, укладываясь на полке. — Поддавай!

— Погоди, дед, — миролюбиво сказал Коля. — Не обижайся. Допустим, что ты делал в женском монастыре в тридцать третьем?

— В тюрьме сидел, — буркнул Андрей Николаевич. — Что я всю жизнь делал?

— Вот видишь, когда признался!

— А ты меня раньше не допрашивал! Это сейчас научился...

— Мог бы и сам рассказать, без допросов, — обиделся внук. — Теперь все можно говорить! И газеты обо всем пишут!

— Обо всем ли, Коля? — Дед поправил веник под головой и повернул лицо к внуку. — Ты же закончил историческое отделение. Тебя пять лет чему учили? Кроме диалектического материализма?.. Истории учили. Так ты должен мыслить исторически, а не так, как тебе подают мысль: обсосанную и прилизанную. Учись, раз не выучился!

— Кто же меня учить будет?

— Жизнь научит, мордой об лавку.

— Научит, — согласился Коля. — А ты — не жизнь? Что тебе стоило сказать, что и в монастыре сидел?

— Я и сидел-то там — месяц, — отмахнулся дед. — Забыл уже...

— Врешь, не забыл! — подхватил внук. — Ты ничего не забыл, я же вижу. Я даже вижу, когда ты вспоминаешь. У тебя все на лице написано, когда ты думаешь.

— Прозорливый, — заворчал Андрей Николаевич. — Один такой прозорливый по фамилии Недоливко сотнями на тот свет отправлял. Тоже говорил — насквозь вижу.

— Оставь мою службу в покое, — попросил Коля. — Я и сам не рад... В конце концов, я там временно. Да и паспорта

крестьянам давать — это кое-что значит. Дело знаменательное и символическое.

— Это так, символическое, — пробубнил дед. — Теперь вся Советская власть только на бумажке.

— Да я знаю, — засмеялся Коля. — Ты старый антисоветчик. Только паспорт — это, по крайней мере, свобода передвижения. Маленькая, но свобода.

— Я антисоветчик? — Дед сел. — Я за Советскую власть воевал!

— Это мне известно. Ты скажи про другое...

— Ничего тебе не известно! — Андрей Николаевич спрыгнул с полка и пошел в предбанник, так и не допарившись. Внук снял шапку, сбросил рукавицы и потащился следом.

— Ты обижаешься, как девушка, — сказал он, подождав, когда дед напьется и чуть успокоится.

— Потому что у тебя милицейские замашки! — отрезал дед. — Даже не милицейские, а НКВД.

— Я же пошутил!

— Молодец...

— Ну, прости, дед... — затянул Коля. — Времена и в самом деле изменились. Двадцатый съезд же был...

— Изменились времена. — Андрей Николаевич утерся полотенцем. — Дед по лагерям, внук в милиции. Пожалуй, кое-что изменилось. Только не пойму пока, в какую сторону... Советской власти как не было, так и нет.

— За что же ты воевал?

— Но не за эту, — отрезал дед. — За эту я сидел.

Коля подсел поближе, приобняв деда, примиряюще потискал его сухое, жилистое плечо.

— Вот видишь... А нас не учили, какая та, какая эта. Мы только одного вождя вырвали из учебников и все. Остальное по-старому.

— И хорошо, — проворчал и сгорбил Андрей Николаевич. — Поживите пока так, дальше видно будет.

— Чего хорошего? — серьезно спросил Коля. — Я же чувствую... А вы на самом деле темните. Тот старик, что из-за монастыря приходил, тоже какой-то... Будто все верно говорит, а что-то недоговаривает.

— Он есаульский? — слегка оживился дед.

— Вроде бы... Пенсионер.

— Как фамилия?

— Не сказал, — пожал плечами внук. — Его дедом зовут. Все дед да дед. Говорят, у милиции отирается. Только я узнал. Деревнин его фамилия.

— Деревнин, — спокойно повторил Андрей Николаевич. — Знакомый человек... Ты бы, Коля, похлопотал, чтоб мне в школе разрешили работать. Я же в лагерях работал... Зима начнется, что буду делать?

— Ко мне на зиму, — предложил Коля. — У меня вагончик теплый.

— А ты мне допросы устраивать начнешь?

— Постепенно сам расскажешь, — усмехнулся он. — Зимние вечера длинные. Сядем рядком, поговорим ладком...

— Не дождешься.

Внук встал на корточки перед дедом, заглянул ему в лицо.

— Но почему?... Ты мне скажи, дед? Я пойму тебя! Мы же всегда друг друга понимали! Ты мой родной дед.

— Потому ничего не скажу, — отрубил Андрей Николаевич.

— Хотя бы про монастырь?

— Монастырь отстаивай, — сказал дед. — Его надо сохранить. И тебе в этом прямой резон. Там твоя родня схоронена.

— В монастыре?! А кто?

— Да есть. — Андрей Николаевич стал загибать пальцы. — Мой дядя, епископ Даниил, брат мой, Саша. Потом... Потом твой прапрадед Прокопий.

Коля помолчал, сгреб с себя листья от веника, встряхнулся.

— Можно было и раньше сказать... Я бы могилы поискал.

— Не найдешь, — бросил дед. — На них бараки стоят. А кресты в окна вставили.

— Разве это кресты?! Я еще подумал: какие красивые решетки...

— Решеток красивых не бывает, — вымолвил Андрей Николаевич. — В каждой решетке мне видится крест... После этого...

— Ну, ну? — подтолкнул внук. — Что ты замолчал?

— Да отстань ты! — рассердился дед. — Прилип, как банный лист. Все равно ничего не скажу.

Коля вскочил, взмахнул руками и закричал:

— Но почему, дед?! Почему?!

— Потому что не хочу ломать твою жизнь! Понял?! Не хочу и не буду!.. Ты и так моей дорожкой пошел. Не хочу! Ничего ворошить не хочу. Потому что зло пойдет. От правды зло пойдет, а это, Коля, самое страшное. Нам бы сейчас лет на десять в забвение... Чтобы все забылось, чтобы души отдохнули. И никто бы не мешал народу жить!.. Да где там! Молюсь, что хоть успокоилось немного...

Внук обвьял, неторопливо уселся на скамейку, опустил голову.

— Как же мне понять?... Как мне разобраться, дед? А я знать хочу, что было. Все знать хочу! Кто меня на исторический запихал? Ты!.. И только раздражили. Теперь ты дразнишь... Я же не слепой, все вижу. Советской власти и правда нет. По крайней мере, в Нефтеграде. Там Чингиз — власть... Когда это началось? Почему?... Мы же начали коммунизм строить! Как же строить, если и Советской власти нет!.. И если нет ее, нет и социализма... Мне от этих мыслей страшно делается, когда думать начинаю. К тому же война может быть в любую минуту, дед! Американцы просто так Кубу не оставят... Ты заикнулся о мировой революции. А я и о ней почти ничего не знаю. И в душе горжусь кубинской революцией!.. При чем здесь мировая, не понимаю. Говорят, Фидель — вождь кубинского пролетариата. Знаешь, дед, отец мне лгал, потому что боялся. Он с детства запутан, и я его понимаю. А ты... не хочешь говорить правды, потому что жалеешь. И это принимаю... Мое поколение, дед, обмануто дважды. Мы еще в институте говорили... Нас вообще лишили правды. И мы за это поплатимся. Нас, как безмозглых баранов, принесут в жертву. Жалко... Нельзя верить тому, кто обманывает, но и обманутым тоже нет веры.

Андрей Николаевич слушал и слабел. Подсознательно он ждал этого разговора, но был не готов к нему, думал, не пришло еще время, рано. Да и не к месту возник он. Два голых мужика в бане, старый и малый... Впрочем, нет, возраст один. Можно сказать, сверстники, если считать, что в бане все равны.

Ведь и раньше замечал, что внук приезжает на

выходной каждый раз другой. Пропадал щенячий восторг от самостоятельной вольной жизни, но на смену ему приходила не зрелость — спокойная и уверенная, а какая-то стариковская озабоченность и печаль.

Замечал, да не заметил...

Думал, на старости внук утешением будет. Жить и радоваться за него, если мало радости выпало за детей. Пожалуй, самому утешиться можно. А кто же его утешит?

— Вот что скажу тебе, Коля. — Андрей Николаевич положил руку на его вялое плечо. — Я не святой и не посвященный ни в какие тайны. Молодость всегда уповает на мудрость старости, но не всегда мудреет от нее.

Он попил квасу — пересохло во рту. Сверкнула в мозгу мысль: а прав ли я, что молчу? Может, рассказать ему все, и пусть потом думает...

Сверкнула и погасла. Он вспомнил просьбы сына Ивана, отца Колиного: не трогай внука, пусть хоть он поживет... Иван молодец. Он-то понимает, что правдой сейчас никого не вылечить и дела не поправить. Не готова душа к правде. Надо, чтобы гнев остыл и появилась воля и в душе, и в мышлении. Будет она, тогда душа и совладает с правдой. А воля к человеку приходит только в Великом Забвении, где нет ничьей чужой воли...

Как же отвести беду от внука, если она уже произошла, причем не сейчас — давно? И он, внук, не может уйти, не нахлебавшись досыта всего, что есть на столе у деда...

Что же сказать потом Ивану? Что сказать ему, выросшему с испуганными глазами?

Сын за отца не ответчик? У сына своя доля?

А внук за деда?

21. В ГОД 1934...

И уморила гнидобойка сестер-матушек...

Что ни день, то у одной припадок душевный, то у другой. Бьются головой о стены, скрипят зубами, рвут на себе волосы, а глаза сначала бешеные сделаются, затем пустые, стеклянные и скоро вовсе потухнут. И страшно было смотреть в эти глаза...

Больных сестер забирали в лазарет, и потом уж их больше никто не встречал. Лишь над каналом в течение сорока дней летали голуби, кто-то видел их, а кто слышал лишь стремительный посвист крыл.

К весне мать Мелитина одна осталась в гнидобойке. Просила Господа: "Возьми и меня к Себе! Открой передо мной Свои двери, как перед сестрами открыл. Домой хочу! Домой!" Но тут же и замаливала слабость свою, каялась и клялась пройти весь земной путь до конца без стога и упрёка.

А путь был во тьме, с трепетным огоньком свечи на сильном ветру, света которого теперь хватало, только чтобы озарить себе дорогу. И уже не видно было, что вокруг. Из мрака доносился человеческий плач и тяжелое дыхание, но чаще и чаще слышала она пение и смех. И ничто другое не приносило таких страданий, как эти веселящиеся люди. Надо переделать природу человека, для того чтобы он, распятый и мучимый на кресте, запел и засмеялся.

Мать Мелитина трудилась и плакала за них, однако все реже являлся ей для молитвы покой в стенах храма, родного монастырского храма, где приняла она постриг. И

даже когда переносилась она под церковные своды, то уже не ощущала прежней благодати: собор был темен, а под куполом, в небесной тверди, день и ночь гремела битва, и некому было затеплить лампы.

И видно было, как одолевает свет темная мгла. Вот и реки повернулись вспять, потекли в гору, вот уж сомкнулись Балтийское и Белое моря и с ними — сошлись части Света.

Переделав Природу, погнали черные птицы человеческое стадо на новый канал, на новый круг, ибо хотели они повторить все сначала для тех, кто остался еще в человеческом облике, созданном по образу и подобию Божьему. И пошла мать Мелитина на новые места, чтобы быть очевидцем страстотерпия народного и свидетелем мук российской земли, которую распинали, как Христа, и выпускали кровь, соединяя несоединимое: моря и реки, любовь и ненависть, добро и зло.

Лагерь на канале "Москва — Волга" содержался в большей строгости, нежели Белбалтлаг. В Карелии, в этой первозданной стороне, некуда было бежать; тут же, в центре России, в окружении городов и деревень надежда на избавление от неволи казалась ближе и манила, и кружила головы людям. Что делается с мужиком, когда увидит он пахаря в поле, жнивье или просто крестьянскую избу! Как заболит сердце о родном доме, как вздрогнет душа об осиротевших детях. И вот уже вселилась дума о бегстве — обманчивая, призрачная вера — заплясала, закачалась перед глазами мечта, словно лодка под парусом. И невдомек мужику, что бежать-то некуда, что остановит его через десять верст холодная пуля продрогшего на морозе стрелка. Разве что душа долетит до милого крова, оставив на дороге коченеющее тело.

Бежали часто, поэтому черные птицы привозили беглецов обратно и втыкали их в снег возле лагерных ворот, так что когда выводили на работы, идти приходилось сквозь молчаливый строй. Или подвешивали на колючую проволоку, как хороший хозяин подвешивает убитую ворону на огороде, в назидание другим, живым еще.

На Москанале ночевали за колючей проволокой, под вышками, под пулеметным оком и гортанным лаем сторожевых псов. Днем, с солнышком, охрана теплеела, не клацали затворами и клыками, и стрелки походили на людей, овчарки — на собак. В строю, когда вели на земляные работы, караульные позволяли петь не только песню, что стала лагерным гимном — "Утро красит нежным светом...", но и старинные, дорожные, весельные, каторжные. Позволяли, однако, с оглядкой, как бы не услышало начальство. И сами прислушивались к протяжному слову: то хмурились, то откровенно тосковали и тяготились, и простоватые лица стрелков освещались самым человеческим чувством — состраданием.

А что же происходило с ними, когда опускался на землю мрак? Что за сила владела людьми этими, коли до третьих петухов, до утра, до нежного света превращались они в нелюдей? Если страх, то ведь от страха человек чаще теряется, чем становится жестоким и хладнокровным. Они же по ночам, исполняя приказ черных птиц, стреляли без предупреждения в каждого, кто приближался к ограждению. Стреляли с лихостью, палили с разных вышек, состязаясь в целкости, будто на охоте по кабану. Могло бы показаться, что на ночь ставят злых охранников, а с рассветом, когда не страшно, меняют на добрых; но это

были одни и те же люди, ибо в человеке с ружьем изменилась человеческая природа. На Москанале мать Мелитину определили в прачечную, где работало много молодых женщин, и поэтому стрелки, свободные от службы, слетались туда, как мухи на мед. И опять на глазах превращались в обыкновенных деревенских парней — ухаживали, приносили подарочки и охальничали в меру. Все было, что бывает между мужчинами и женщинами. Все, кроме любви.

Со святой карельской земли, с Беломорского канала, мать Мелитина принесла в котомке дорожную иконку с каноником, рубаху с молитвами на теле, пастырский крест на груди и храм свой в душе. Принесла все, что берегла и хранила пуще жизни, но начальник лагеря велел обыскать ее и отнял иконку, каноник и крест. Остался лишь огарок свечи, рубаха да храм — рясу, латаную-перелатаную, не просто отобрали — изорвали в клочья на глазах. А вместо нее выдали старую гимнастерку, штаны и ватник.

— И за это благодарю тебя, Господи! — сказала мать Мелитина.

На Москанале знали об "игуменье", докатился слух...

Однажды встала мать Мелитина на молитву, и явился ей храм непривычно покойный и чистый. Вновь сияла неугасимая лампада, пахло ладаном и миром, словно только что отслужили долгую службу. Подошла она к аналою и, помня искушения нечистой силы, хотела прочитать очистительную, да вдруг услышала звон жаворонка в поднебесье — там, где бился Ангел с черными птицами. И вместе со звоном засиял свет, яркий, но не слепящий, настолько глазу приятный, что смотрел бы на него — не насмотрелся. Потянулась мать Мелитина к свету и услышала голос мальчика:

— Матушка, не молись больше ни за кого. Только за братца моего, за твоего сыночка молись.

Мать Мелитина взволновалась и от звона, от света растерялась, не вняла слову.

— За какого братца? — спросила. — За какого сыночка?

— За моего, матушка! — печально воскликнул мальчик. — За сына твоего Андрея. Беда ему грозит! Беда!

— Что же с ним, скажи!

— Его пути лишили! — со слезами крикнул неродившийся сын. — Только твои молитвы спасут его. Молись! Все забудь, меня забудь — помолись о его дороге! Прощай!

— Погоди, сынок! — Мать Мелитина пошла на коленях к свету. — Побудь со мной! Я все исполню, только побудь...

— Не могу, матушка! — услышала она удаляющийся голос. — Нельзя мне. Без позволения к тебе явился. И будет мне наказание — еще сто лет не родиться...

Последние слова она едва расслышала. Жаворонок позвенел еще немного, и все стихло.

Опомнилась мать Мелитина, отыскала глазами икону Андрея Первозванного, взмолилась:

— Святой Апостол! Помогите тезоимцу Твоему Андрею! Спаси его от беспутья. Дай дороги. Дороги дай!

И замолчала, спохватившись, что молится неверно, плохо, не по канону, а, словно кликуша, выкрикивает слово, когда надо выпускать его, как голубя выпускают из рук. А еще поняла, насколько огрубело сердце к сыну, и образ его померк в душе, истерся, будто золотая монета. Молитва же не получается оттого, что остыла к Андрею та страстная любовь, с которой ехала она на Беломорканал. Угасла, как

угасает догорающая свеча, и стала страсть бесстрастной.

Но зато насколько сильна любовь к духу нерожденного сына! К свету, что исходит от него! К пению жаворонка! Стоит услышать, и трепещет душа, как птичка, зажатая в кулаке. Почему она забыла совсем о детях земных? Плохо это или хорошо?

— Плохо, плохо, — горюющим, сострадательным голосом отозвался апостол Андрей. — Нельзя забывать земных детей.

— Я не забыла! — воскликнула мать Мелитина. — Любви материнской в душе не осталось...

— Плохо... Но я помогу тебе, совет дам. Но ты его исполни.

Колючей искрой пробежал сомнение — не искушение ли? — однако потухла искра.

— Исполню! — страстно сказала мать Мелитина.

— О дороге сына в дороге следует молиться, — произнес Апостол. — Иди и трудись. Чем больше верст пройдешь, тем крепче и слышней будет молитва твоя. Не медли, ступай!

— Благодарю тебя, святой Андрей! — воскликнула мать Мелитина. — И ты помолись о сыне моем! Попроси Господа о пути!

— Ступай, помолюсь, — согласился Андрей Первозванный.

И в тот же миг исчез храм, а вокруг очутилась изгородь из колючей проволоки. А снег густо сыплет и цепляется за каждую струну, прихорашивает ограду. И часовые на вышках подустали за долгую зимнюю ночь. Рассвет изгонял злобу, и усталые в ночном сиротстве души возвращались к ним, обогревали разум и затыкали пулеметные стволы...

Сенбернара привезли в лагерь и поставили на довольствие всего месяц назад, и он еще не успел обвыкнуться в тесном, вонючем собачнике. Огромную самку держали в отдельной загородке, опасаясь, как бы она не порвала в драке собак поменьше — овчарок, полукровок и цепных дворняг. Люди, занимающиеся собаками, еще плохо разбирались в них, тем более что сенбернар для них был псом невиданным, и они поступали по своей логике: мол, чем больше собака, тем больше в ней злобы и жажды властвовать, тем беспощаднее она к своим слабым соплеменникам. И только из-за своих редкостных размеров она угодила в лагерь. Сенбернар большую часть жизни прожил в московской квартире ученого человека, знал любовь и ласку, знал поводок и ошейник с намордником лишь на вечерних прогулках по парку и совершенно не подозревал, что другому человеку, который отбирал и реквизирует собак для лагерной охраны, его рост и морда могут показаться злобными и угрожающими. Старый хозяин пытался вразумить реквизитора, объяснял, что впечатление его неверное, что сенбернары совершенно добродушные собаки и, по сути, не годятся в сторожа лагерей, однако увещевал очень мягко, ненастойчиво, поскольку побаивался человека из племени гулагов и самого слова — лагерь. И, можно сказать, предал.

— Подойдет, — сказал человек. — Мы научим его всем качествам охранника. На цепи любой пес становится злой. А если еще неделю не покормить...

Ученый человек окончательно испугался, и в душе его началась отчаянная борьба между страхом и жалостью к

собаке. И тогда он выдал самый главный секрет, самое главное качество сенбернара.

— Пожалуйста, не сажайте на цепь! — взмолился он. — Используйте его для розыскной работы. Он очень хорошо идет по человеческому следу.

На реквизированного сенбернара завели документ, однако неопытные собачники, не разобравшись, посадили его на цепь между двумя рядами колючей проволоки. Сука вначале бесилась, молча бросалась на проволоку, грызла привязку и, поуспокоившись, стала бегать взад-вперед, таская за собой цепь по натянутой проволоке. Овчарки на соседних участках лаяли, отпугивая заключенных, сенбернар же бесконечно совершал свою странную прогулку между изгородей и смотрел на людей со спокойным равнодушием. Бесплезную в охране суку поддержали так недели три, и затем кто-то вычитал в документе, как ее лучше использовать, после чего собаку сняли с цепи и посадили в отдельную клетку.

И вот, наконец, нашлась ей работа — искать человека. Двое стрелков с винтовками взяли сенбернара на поводок, встали на лыжи и повели с собой. Сразу за колючей проволокой ее ткнули мордой в след человека. Но то был необычный след, с непривычным и удивительно знакомым запахом. Правда, выпавший снег притупил его, а холод заморозил оттенки, и сенбернар ходко пошел по следу, испытывая странное возбуждение. Человек отчего-то пробирался по глубокому, целинному снегу, хотя недалеко была наезженная машинами дорога. Сенбернару мешал поводок, мешали лыжи стрелков, бьющие по задним лапам, и он, увлекшись следом и ощутив себя в родной стихии, захотел свободы. Он вдруг резко прыгнул к своим поводырям и громогласно залаял, встряхивая брылами. Стрелки от неожиданности бросили поводок, и один сказал:

— Гляди-ка, вон какой злющий бывает!

Оба они попятнулись и на всякий случай потянули винтовки из-за плеч. Кто его знает, пес диковинный, что у него на уме?

А сенбернар, почуя волю, ударился вперед большими, тяжелыми прыжками. Свежеющий запах следа будоражил собачью память, раззадоривал мышцы. До позднего вечера, утопая в снегу, он шел вдоль глубоких ям, оставленных человеческими ногами, и когда окончательно вымотался, лег и заскулил от бессилия. Стрелки догнали его уже по густой темноте и привязали к дереву, развели большой костер.

— Завтра догоним, — сказал один из них. — Далеко не уйдет.

Всю ночь они дремали возле костра, страдали то от холода, то от жгучего жара, а отдохнувший сенбернар лежал подле человеческого следа и тихо скулил. След старел, и угасал от мороза его запах. И вместе с ним угасала разбуженная собачья память. Он звал людей вперед, просил их, умолял на своем языке, однако уставшие за день люди, измученные теперь тяжелым сном у огня, не понимали и злились. И даже рассвет не облегчил их души. Видимо, стрелку надоел этот скулеж, и он, схватив головню за холодный конец, пошел к собаке.

— Я тебе покажу, сука! — выдавил он хриплым полусшепотом. — Я тебя научу свободу любить!

Он ткнул в морду головней, и сенбернар в ужасе отпрянул, чудом уклонившись от огня. Он не понимал, что

хочет человек, как не мог понять, зачем его сажали на цепь между проволокой.

— На тебе! На! — хрипел стрелок, тыча в собаку головней. — Заткнись, паскуда! Все нервы вытянул!

— Ты что? — закричал другой стрелок. — Испортишь собаку!

— Нич-чего! — прорычал измученный стрелок. — Я ее воспитаю! Злее будет! А то жрет за троих, но толку — копейка. И скулит еще!

— По носу не бей! — однако же предупредил другой. — Нюх потеряет.

Сенбернар, почувствовав резкую боль от ожога, прыгнул к стрелку, заворчал, забил лапами снег — мешал поводок.

— Во! — удовлетворенно заметил задира. — Ну-ка, давай, отрабатывай довольствие! Я из тебя быстро человека сделаю!

— Чтоб собака злая была, знаешь, что делают? — сонно спросил стрелок у костра.

— Знаю. Пороть надо! — откликнулся другой.

— Не знаешь... — потянулся первый. — Берут небольшое осиное гнездо с осами, закатывают в хлеб и дают. Собака сожрет, а осы ее внутри накусают. Потом сяди во дворе, и никто носа не сунет.

— Где я тебе зимой возьму осиное гнездо? — огрызнулся стрелок. — Ничего, и так пойдет. Дешево и сердито.

Погоняв собаку вокруг дерева, он наконец успокоился и подошел к костру. Сенбернар потянулся к людям и заскулил еще сильнее: затоптанные стрелком следы совсем потеряли запах.

— Вот скотина! — возмутился стрелок-воспитатель. — Хоть кол на голове теши. Может, спустить? Пусть идет, да и нам пора.

Он спустил сенбернара с привязи, на всякий случай держа винтовку наготове, и тот махом ринулся по человеческому следу. Через полверсты, когда нос прочистился от вони огня и дыма, он вновь уловил тот странный, возбуждающий запах. Уловил и мгновенно "вспомнил", чей это след. Он не принадлежал ни вольному, ни заключенному, ни мужчине и ни женщине, ни старому, ни молодому.

Сенбернар встал над следом и, подняв голову к небу, завыл, словно боевая труба. Перед ним был запах следа святого человека.

Она молила о дороге сыну и шла по беспутью, по убродному снегу, и в ложбинах проваливалась по пояс, ползла, когда ноги не доставали земли. Она не выбирала направления, не осознавала, куда идет, и, моля у Господа о пути для сына, сама опасалась наезженной и нахоженной дороги, по которой стояли караулы. Любой стрелок, любой человек с ружьем мог оборвать не жизнь, а это страстное моление. Она не помнила ни о времени, ни о самой себе. В лесу было сумеречно, и казалось, все еще утро, рассвет, однако незаметно с темного неба опустилась ночь, и мать Мелитина случайно вышла на дорогу. В глубоких снегах молитвы были тяжелыми, мучительными, тут же слово полетело легко, вольно, как и ноги.

Все эти годы она ничего не знала о сыне, с того момента, как расстались они в монастыре, ни одна весть не

долетела до ее слуха. Будто в бездну канул Андрей. И ведь самой бы понять должно, почувствовать бы надобно было, когда лишили его пути. Ан нет, чуяло сердце — жив, да как жив? Чем жив? — и в ум не брала. Напротив, увещевала себя, дескать, только живи на свете, а уж я за тебя и помолюсь, и пострадаю. И крест веры понесу за тебя, коли недостает ее в душе твоей. Надо, чтобы сохранился единственный корешок, надо, чтобы выжил, выдержал огонь и стужу, потоп и безводье.

И, приняв на себя страдания за сына, возжелав ему жизни, словно забыла о нем и молилась за людей, ее окружающих, за человечество. И оставила его без в е р ы!

По тому ли пути пошла сама? Не легкий ли избрала? Не труднее ли молиться и содержать дух в вере за одного, родного человека, нежели чем за все человечество?

Лес, снег и холод кругом. Спросить не у кого, советовать некому. Внезапно огонек на дороге вспыхнул. Владыка небесный! Не выстрел ли?.. Нет, спичку зажгли! Бросилась мать Мелитина в придорожные кусты, побежала, утопая, и отяжелили труды ее. Освящая святым белым снегом уста, шептала она слова своей неканонической молитвы:

— Как птице неведомо, куда улетает она из родного гнезда, так и человеку неведомо, куда ведешь ты его, Владыка Всевышний. Как птице, твари Твоей, гибель, коль незнаем ею путь, так и душе человеческой беспутье гибельно.

Шептал снег под ногами, шептали деревья и морозный, игольчатый воздух. Мать Мелитина боялась остановиться и прервать этот шепот. Ночь же казалась бесконечной, как и ее путь, как дорожная молитва. Она выбивалась из сил, слабела, но голос Андрея Первозванного подгонял ее, торопил и обнадеживал; чем дальше дорога, тем крепче молитва и слово Богу слышнее. Но странное дело — не только тело слабеет с каждой верстой, а и голос, и слово едва отлипает от уст. Рука же и подняться не может для крестного знамения. И ладно бы, можно в душе трудиться, да ведь и душа пустеет, разум гаснет...

Остановилась мать Мелитина, умыла лицо снегом и, начертав круг бережный, встала на колени. В тот же миг завывло, загрохотало над головою и сронился снег с сосновых крон.

— Все одно гибель тебе! Гибель! — закричала черная птица. — А сына твоего не отдам! Мне он станет служить! Мне будет послушен и предан!

Душа матери Мелитины, словно цвет мать-и-мачехи, открылась солнцу, согрелась любовью.

И увидела она, как сын Андрей идет по пути к греху, на мерзкое дело. Будто снег кругом, холод и сумрачный ночной лес. Андрей идет впереди на лыжах — лицо куржаком занялось, сверкают во тьме глаза — за ним люди, много людей. Вот Андрей останавливается и гневно кричит: "Вперед! Вперед!" Рот его раскрывается черной ямой от нового черного слова: "Карать! Карать!"

— Карать! Карать! — с неба закричала черная птица.

"Что же раньше не услышала я тебя, сынок? — тихо, без молитвы, думала мать Мелитина. — Уж я бы тогда тебя остановила, уж я бы отвела тебя с пути грешного и на путь истинный поставила. Каково же тебе нынче, слепому-незрячему, по земле ходить без пути-дороги? Вот ты и упал, сыночек, вот и ушибся. Да ничего, встань. Поднимись на ноги и ступай. Давай вместе, ну? Поднимайся, держись

крепче за руку, и пойдем. Сначала махоньким шажком, потихоньку, а потом быстрее, быстрее, и побежим! Вон ты как далеко отстал. Вставай!"

— Я сам встану, маменька, — услышала она больной тихий голос Андрея. — Встану и пойду. Позволь только имя свое, тобой данное, сменить.

— Зачем же тебе другое имя, сынок? — спросила она.

— Чтоб черных птиц обмануть. Мне с моим именем не искупить греха, маменька! — признался Андрей. — Позволь? Ты мне имя дала, ты лишь можешь позволить взять другое. А душа останется моя! Ты ведь сменила имя свое, когда уходила от мира? Вот и я хочу сменить и уйти.

— Уйти от мира?

— Нет, маменька, в мир! К людям! Из-под власти черных птиц! Благослови!

— Что же, благословляю, — проронила она. — Какое же имя ты взял себе?

— Не чужое, маменька, — облегченно вздохнул Андрей. — Брата своего, Александра.

— А знаешь ли ты, сынок, — тихо и горестно заговорила мать Мелитина, — что вместе с именем ты берешь его судьбу? Судьба же его нелегкая, Андрей! Подумай!

— Знаю, — выдохнул он. — Помнишь, когда мне рассекли лицо... Помнишь, в детстве? Первый раз рассекли?.. Тогда мы с Сашей поменялись судьбой. И теперь я лишь возвращаю назад свою долю!

— Добро, сынок, ступай, — согласилась мать Мелитина. — И я пойду.

— Прощай, маменька! — крикнул Андрей-Александр.

— Прощай, — будто бы отозвалась она, расслабленно ложась на мягкий снег. — Я тоже пойду... Своим путем пойду. Только полежу немного, наберусь сил и пойду.

— Полежи, полежи, — зашептали снег, лес и холод. — Здесь так тепло и мягко... Полежи и ступай...

С неба опадала сверкающая морозная игла.

След под лапами уже был горячим. Собака шла прыжками и скулила, подавая сигнал надежды. В каждом прыжке, на мгновение зависая над землей, она успевала оглядывать пространство впереди, и цепочка глубоких ям становилась короче, короче, а темный комок человека на снегу ближе. Достигнув его, собака замерла на секунду: человек был жив, но жизнь уже едва теплилась, и от свернувшегося в клубок тела, повторяя его очертания, поднимался клубок света..

Сенбернар лег, накрыв собой человека, обнял лапами и принялся вылизывать коченеющее лицо. Так он приводил в чувство. Ему никогда не приходилось спасать людей, однако он з н а л, что нужно делать. Лишь единственного не мог он предусмотреть, неспособен был осознать своим собачьим умом и чутьем, что, отыскивая человека для спасения, он вел за собой его же смерть.

Притомившиеся и разгоряченные ходьбой стрелки остановились неподалеку на взгорке, сняли лыжи, умылись снегом.

— Фу, стерва! — вздохнул тот, что воспитывал собаку головней. — Далеко упоролась... — И окликнул товарища, присматриваясь к собаке: — Она что? Жрет ее, что ли? Глянь! Вот зараза! Грызет!

Другой стрелок не поленился, подошел ближе, засмеялся:

— Да нет, пока облизывает!... Во! Да бабенка-то живая вроде! Шевелится!

— Ну дак чего стоишь? — откликнулся товарищ.

Стрелок снял винтовку, повел стволом влево, вправо, растерянно опустил.

— Пес мешает! Зацеплю!

— Так сгони!

Выстрел в небо отозвался эхом в заледеневшем мире. Сенбернар вскочил и, не покидая человека, гулко залаял.

— Бей! — скомандовал тот, что сидел на снегу. — Под ноги ему!

Стрелок вновь вскинул винтовку, поприцеливался и вдруг заявил:

— Не могу. Боюсь!

— Тьфу, мать т-твою... — выругался первый и, выдернув винтовку из снега, пошел к товарищу. — Глаза на что дадены?

Он остановился в пяти саженях, присел, приложился щекой к морозному ложу, однако сенбернар в это время лег на человека, закрыл его своим телом и, забрав в пасть одновременно обе иссохшие, тоненькие руки, валял их, осторожно мял зубами и языком — грел.

— Вот погань! — изумился стрелок и зашел с головы. — Счас...

— Ой, гляди, не зацепи псину! — испугался его товарищ. — Бацку снимут...

Рука стрелка дрогнула в последний момент. Пуля вспорола снег возле головы и ушла в мерзлое тело земли. Сенбернар выплюнул руки и заорал по-медвежьи, широко разевая пасть. Скошенные книзу уголки глаз выпрямились: человеческое возмущение и растерянность сверкали в этих глазах.

— Не подходи, порвет еще! — предупредил стрелок-недотепа.

— Дак чего делать-то? На себе ее, что ли, переть? И так наломались!

— Давай покурим, может, бросит, отойдет...

Они сели в снег, свернули самокрутки, с удовольствием закурили. Собака чуть успокоилась и вылизывала теперь тоненькое горлышко человека. Кожа на глазах розовела, наливалась кровью и оживала. Наконец светлый клубок, висящий над человеком, опустился вниз и вошел в тело. И оно дрогнуло, движения стали осмысленными. Поднялись безвольные руки.

— Собака-собака, — проговорил человек. — К добру ль ты мне снишься или к худу?

Сенбернар заскулил от голоса, обрадовался. Мать Мелитина села, огляделась, однако собака приподнялась и обняла лапами за шею, чуть не уронив обратно в снег.

— Ты же, батюшка, тяжелый, не дави меня, — пожаловалась она. — Дай вздохнуть-то...

Стрелки курили, щурились на солнце. Винтовки держали на коленях, ждали момента. Рассиживаться долго на морозе было ни к чему: вспотевшие спины пробирал холодок. Мать Мелитина поглядела на них из-под собачьей лапы, прижалась к горячей, мягкой груди, втягивая целительное тепло.

— Батюшка, защитник мой, да тебя Господь послал, — пробормотала она, обнимая собаку. — А горячий-то... Не заболел ли?

Сенбернар не понимал, что с ним происходит. Снег под лапами уже протаял до земли...

Андрея арестовали далеко от дома, на омском вокзале: хотел еще дальше уйти — не успел. Взяли его как бродягу-странника, не имеющего документов и места жительства, препроводили в милицию и посадили в камеру к таким же грязным, заросшим людям в рвань. Ожидая разбирательства, он сидел под сырой стеной и откровенно разглядывал пестрое население камеры. Глаз цеплялся за спрятанные под бородами и бровями лица в лишаях и струпьях, за руки в красных экземных пятнах, за остатки крестьянской и городской одежды. Народ сидел угрюмо, самоуглубленно, и Андрею вдруг подумалось: сколько же таких, как он, ряженных, поневоле блаженных среди этих людей? Сколько судеб сейчас решится, сколько жизней потечет вспять!

И еще подумал, что тут, в камере, наверняка есть "подсадная утка", потому и молчит знающий, бывалый народ. Скажи лишнее слово, и вместо положенных три года десять намотают, а то и больше. Молодой парнишка в женском жакете и кепке с "нахлебником", по виду вор, но сельского рода, перехватил взгляд Андрея, выпучил безразличные глаза, подмигнул:

— Чего пялишь зенки? Эй, мужик?

Андрей промолчал и отвел взгляд. Парнишка не унимался, откровенно тоскуя.

— Хочешь, песенку спою? Про вашу жизнь?

И, не дождавшись ответа, вынул спичечный коробок, приладил спичку и, отщелкивая ритм, запел:

На деревне расставания поют,
Провожают председателя в нарсуд,
Всей деревней насушили сухарей,
Возвращайся, председатель, поскорей,
Возвращайся поскорей...

— Заткнись, — посоветовал человек с завязанным грязной тряпкой глазом. — Без тебя тошно...

Парень лишь рассмеялся и добавил горечи в голос.

Ты скажи нам, через сколько тебя ждать.
Интересно, где ты будешь отбывать.
Отвечает председатель им в ответ:
Ждать меня придется, девки, десять лет,
Ждать придется десять лет...

Одноглазый человек молча придвинулся к песеннику и ударил в лицо. Кровь брызнула из разбитого носа, окропила руки и колени. Парень медленно утерся рукавом, но стерпел, лишь глаза чуть сузились и вновь распахнулись.

— Ну хочешь, про твою жизнь спою? — предложил он с прежней веселостью. — Я всякие песни знаю.

В камере притихли, перестали дышать. Одноглазый, похоже, что-то означал тут для всех.

Парнишка отщелкал на коробке бодрый ритм.

Отец мой Ленин, а мать Надежда Крупская,
А мой дедушка Калинин Михаил.
Мы жили весело в Москве на Красной площади.
И дядя Троцкий к нам в гости приходил!

Одноглазый навис над поющим, схватил его за подбородок, сдавил щеки пятерней.

— Не смей, скотина! Вождя пачкать не позволю!

Андрей отбросил руки одноглазого, встал к нему спиной.

— Пой, парень, пой! Ну?

Парнишка плакал, размазывая кровь и слезы. Андрей обернулся к обидчику, дохнул в лицо:

— За что?

Одноглазый разглядел шрам, прикрытый бородой, чуть спустил пар.

— Душа моя болит...

— А ты не слушай, — посоветовал Андрей. — Не для тебя поют. Уши заткни.

Он огляделся. Должен быть подсадной, и, возможно, не один...

— Я — коммунист! — заявил одноглазый. — Я старый партизанин и не позволю бесчестить имя вождя пролетариата!

Андрей рассмеялся ему в лицо:

— Слава те Господи! Настал светлый час! Ворон ворону глаза выклеывает! Пой, парень, не бойся. Веселись, народ!

Но в камере сделалось еще тише. Люди смотрели на одноглазого партизанина и ждали развязки. Даже оказавшись в одной камере, они боялись его. Парнишка-певец, запрокинув голову, унимал кровь.

— Не связывайся, — бубняще произнес он, зажимая нос. — Он еще при царе в тюрьмах сидел. Ему привычно жить под замком. Нам тоскливо...

— Да, сидел в тюрьмах! — забубнил одноглазый. — Свободу вам завоевывал, когда вы барам пятки лизали!

— Ну, завоевал свободу? — снова засмеялся Андрей. — Вижу, всем завоевал: и нам, и себе!

Люди отворачивались, не хотели слушать. Старый партизанин неожиданно ушел к двери, уткнулся в запертую кормушку и заплакал, не стесняясь слез.

— Выпустите меня, — слабо и иступленно просил он. — Выпустите меня, выпустите...

Парнишка унял кровь, вытер лицо внутренней стороной кепки и повеселел.

— Ну? — спросил он, обращаясь к Андрею. — Какую тебе песню спеть? Какая песня люд твою жизнь подходит?

Андрей не отвечал. Он боялся теперь каждым лишним словом испортить впечатление о себе, которое должен был получить "подсадной" о безымянном бродяге со шрамом на лице. Пусть его примут за кого угодно — за бывшего колчаковца, монархиста, скрывающегося эсера или рядового врага народа. Только чтобы перевели из милиции в ОГПУ и вызвали на допрос. Он так давно и так часто вспоминал жизнь брата Александра, так подолгу твердил его слова, что начинал забывать свою жизнь и отвыкать от своего имени. Он и думать начинал о себе, как бы Саша думал о нем. И видел себя как бы со стороны глазами брата.

Происходило чудо! воскресал покойный иннок Александр, возрождалась его близкая, но так и не познанная душа.

И предстояло еще встать на ноги и сделать первый шаг по ее неисповедимому пути...

22. В ГОД 1968...

Давно ушла в Повой монастырская стена, река выедала теперь двор, заглатывая келейный корпус и мелкие хозяйственные постройки. Пройти вдоль берега уже было невозможно из-за нависшей торцевой стены, а на воротах висели замок и свинцовая плomba, снять которую Деревнин не смел. Поэтому, чтобы заглянуть в монастырь и

посмотреть, что там творится, приходилось брать лодку и выплывать на середину реки, а еще лучше — на другую сторону. Деревнин выплывал с удочками или приставал к противоположному берегу, со страхом глядя на обнаженный двор обители, словно разрезанный ножом. До храма еще было далеко, но некоторые бараки уже нависали над обрывом и конюшня на хозяйственном дворе приближалась с неумолимой скоростью.

Рыба напротив монастыря клевала хорошо, поплавки прыгали на воде, но ничуть не волновали рыбака.

Деревнин постоянно ощущал какое-то двойственное чувство. Иногда казалось, что приближение к обрыву конюшни ничем ему лично не грозит и грозить не может.

Однако чаще всего Деревнина охватывала тревога, причем неясная, недоступная разуму. Ему будто бы не хотелось, чтоб земля показывала, что в ней есть, не хотелось, чтоб открывались ямы, а с ними и тайны, столько лет хранимые монастырем. Деревнин чувствовал, что случись обвал, и в окружающем его мире, в нем самом что-то порвется или засветится, как фотопленка, оказавшаяся на свету. Скорее всего, и тревожился Деревнин, боясь засветиться.

Когда же, наконец, рухнули кельи, вздыбив в небо тучу красной пыли, и, накренившись, сполз в воду, словно лодка, один из крайних барачков, Деревнин не выдержал и, ощущая внутреннюю зыбь, отправился в горком партии. В милицию идти не было смысла: что они могли там? Пьяного в выпрезвитель отправить, ну, драку разогнать, хулиганов определить на пятнадцать суток. Милиция совсем не та стала, никто ее не боится, да и с кем говорить? Старые сотрудники поушли на пенсию, остался молодняк наподобие капитана Березина. Шесть лет Березин ходил по инстанциям, все добивался, чтоб монастырь сохранить и берег укрепить, куда только писем не писал, а что толку? Видно, чтобы не надоедал капитан, не мельтешил перед глазами, отправили его учиться в академию на два года. Он довольнехонек, собрался и уехал — оставайся тут лавка с товаром. Как ни рассуждал про себя Деревнин, выходило, что нынче власти нет ни у горисполкома, ни у милиции, ни у горкома партии. Чингиз всему голова.

Однако к Чингизу Деревнин не пошел: когда у одного человека столько власти, решить с ним вопрос невозможно, тем более такой серьезный вопрос. Чингиз уже ничего не понимал в жизни и не замечал ее. Он знал лишь политику, как добыть больше нефти и газа, и никакая другая политика для него просто не существовала. Поэтому Деревнин, поразмыслив, отправился к первому секретарю горкома Кирюку.

Кирюк был единственным начальником в городе, который всячески устраивал Деревнина. Был он еще довольно молодым человеком, пришедшим из комсомола на партийную работу в нефтеразведку. И еще будучи секретарем парткома, Кирюк иногда не ладил с Чингизом, но ровно настолько, чтобы не испортить с ним отношений и не нарушить негласной субординации. Чингизу даже нравилось, что Кирюк иногда сопротивляется под ним, барахтается, не сдается; это доставляло удовольствие и пробуждало азарт. Когда же Кирюк поднялся до первого секретаря, между ними сразу возникло уважительное отношение. Чингиз, как человек восточный, был откровенным в дружбе, но сохранял при этом и врожденную коварность. Ему ничего не стоило клюнуть раз

Кирюка, и тот бы сверзся со своих высот, как глиняный колосс, и рассыпался в прах, однако он-то понимал, что посадят нового, неизвестного, и надо снова искать с ним лад. В Кирюке Чингиза смущало лишь одно: плохо иметь рядом официального властителя, когда-то ходившего "под ним". Какой бы ни был человек, но, получив власть, он редко когда сохранит доброе расположение к своему бывшему властителю. В глаза будет славить и почитать; за глаза — ждать удобного момента, когда самому клонуть. Кирюк, став Первым в городе, понимал; в чьих руках деньги, техника и фонды, а значит, и реальная власть. И вот эта собственная ущербность, некая импотенция власти перед капиталом довлела над Кирюком как незаживающая язва. Порой она перерастала в ненависть к Чингизу, но, чтобы свергнуть его, увы, горкомовских сил бы не хватило, хотя в кармане генерального директора объединения лежал партбилет. За Чингизом стояли министерства, расположенные в нескольких минутах ходьбы от Старой площади.

И вот, наконец, ворохнулась у Кирюка маленькая еще надежда: в Куполе под старым Есаульском что-то происходило, нефтяные фонтаны начали иссякать. Они слабели с каждым днем, добыча резко пошла на убыль, и постепенно прекращался благодатный и дешевый самоизлив. Чингиз срочно добывал и устанавливал нефтекачалки на скважинах, тянул дополнительные линии электропередач — одним словом, всегда спокойный и невозмутимый, тут засуетился и потерял былую спесь. А когда на Куполе вновь появился академик с дружиной ученых, Кирюк понял, что дело обстоит очень серьезно. Чингиза можно было и не трогать, не задирать; он должен был повалиться сам, если дело никак не поправится. За Купол тому ответ держать, кто владел капиталом и реальной властью. Ему же, Кирюку, надо только вовремя и слегка подталкивать властителя к краю пропасти: выговор вынести на бюро, потом другой, с занесением в учетную карточку. Если вытерпит, в области вопрос поставить, заслушать, какие меры принял. А как придет другой генеральный директор — сразу можно брать в узду. И академика приструнить, чтобы не являлся в Нефтеград свадебным генералом, а работал. Звезды получать мастера, за одно Есаульское месторождение обвешались, как новогодние елки, и теперь готовы выйти из-под партийной власти. Им будто никто не указ! Ничего, теперь осталось только последовательность и партийную выдержку проявить...

Кирюк принял Деревнина под вечер, когда уже слегка притомился от дневных хлопот и для восстановления сил требовалось некоторое разнообразие. Прием по личным вопросам был как нельзя кстати: чья-то судьба — это не государственные вопросы, и за судьбой стоит лишь один человек, ну, от силы, два-три. Деревнин сел у приставного стола и спрятал руки под столешницу. "Сейчас я на тебя все вывалю, — подумал он, глядя на спокойного и уверенного в себе Кирюка. — И посмотрю, как ты забегаешь. Это тебе не тонны нефти и не кубометры газа. Это, брат, косточки человеческие..."

— Слушаю вас, — холодно проронил Первый.

— У меня дело государственной важности, — сообщил Деревнин, однако это не произвело никакого впечатления на Кирюка. Видимо, привык, что все пенсионеры идут к нему только с делами государственной важности.

— Продолжайте, — невозмутимо предложил Первый.

— Вы знаете, что в бывшем монастыре был лагерь? — спросил Деревнин.

— Да, знаю, — был ответ.

— И что там находятся могильники?

Деревнин поймал себя за язык: нельзя говорить — могильники, когда речь идет о могилах. Но было поздно.

— Могильники? Древние, что ли? — переспросил Кирюк.

— Нет, как сказать... Братские могилы, — поправился Деревнин. — Или, проще, ямы, где хоронили расстреливаемых врагов народа.

Первый даже не моргнул, не застучал пальцами по столу, не смерил испытующим взглядом собеседника.

— Ну и что?

— Берег обваливается, — сообщил Деревнин. — Скоро откроются ямы. И возможен большой скандал. Ну, не скандал, а возмущение народа будет обеспечено. С реки все видно, как на ладони.

— Сколько же ям? — спросил Первый.

— Должно быть, девять. — Деревнина начинала раздражать невозмутимость Кирюка. — За один год все не обвалится, ямы длинные. А под яром всегда рыбаки с удочками торчат, клюет хорошо. Местным жителям известно, что в монастыре был лагерь. И некоторым — что там расстреливали.

— Кому именно?

— Березину, например, — сказал Деревнин.

— Тому, что мы в академию направили?

— Его деду, — пояснил Деревнин. — Живет в селе Березине, так сказать, в своем имении.

Кирюк сделал пометку на листе бумаги и больше никак не выразил своего интереса.

— Надо укрепить берег от размыва, — предложил Деревнин. — Под видом сохранения старой архитектуры.

Первый вскинул на него глаза, и Деревнин сразу понял, что в этом кабинете ничего предлагать нельзя. Здесь сами знают, что надо делать, и сами привыкли решать все.

— На месте показать можете? — вдруг спросил Кирюк.

Деревнин на секунду задумался. Слишком прямо был поставлен вопрос. И, ответив на него, он должен был признать свою причастность к ямам. Правда, всегда оставался выход: можно сказать, что сидел в том лагере, что гоняли закапывать ямы, но Деревнин никак не мог расценить спокойствие Первого. То ли оно гарантия неразглашения тайны, услышанной от пенсионера, то ли, напротив, скрытое к нему презрение. Поди, угадай, что у таких людей на уме...

— Могу, — наугад сказал Деревнин.

Первый нажал кнопку, и в кабинет заглянула секретарша.

— Машину к подъезду, — распорядился Кирюк и встал.

— Ворота монастыря на замке, — предупредил Деревнин. — И пломба висит. Собственность МВД.

Он даже не удостоил ответом, надел шляпу, застегнул пуговицы пиджака и, прихватив папку, направился в двери. Деревнин пошел за ним.

К монастырю они подъехали на черной "Волге". Первый глянул на замок, кивнул своему водителю:

— Сними.

Тот достал из багажника ножовку по металлу и, пока

Кирюк осматривал нависающую над обрывом стену, отпилил дужку замка и распахнул калитку.

— Ведите, — приказал Первый.

Деревнин давно уже не бывал во дворе монастыря и поразился, насколько сильно тут все изменилось. Неизвестно отчего трава выростала такой высокой, что чуть ли не доставала гребня оставшихся стен. Просто джунгли какие-то! К тому же все старые тропинки заросли, и пришлось, идя передом, мять густо сплетенную, непролазную траву. Деревнин даже чуть не заблудился, сразу не найдя лаз на хозяйственный двор, и пришлось проминать тропу вдоль внутреннего деревянного заплота.

— Дальше придется согнуться, — предупредил он Первого и сам полез в дыру. Кирюк несколько не смутился и, встав на колени, безбоязненно проник на хоздвор.

Трава тут была еще гуще и выше. Маковки иван-чая и таволги качались вровень со стенами. Деревнин наугад протоптал дорожку к конюшне, от которой виднелась лишь одна крыша, и остановился подле обвисших, распахнутых створок ворот.

— Здесь они все, — пояснил он. — Одна только снаружи, под стеной.

— Показывайте, — распорядился Кирюк.

Деревнин ступил через порог конюшни и сразу ощутил легкую прохладу и запах старого дерева. Крыша провисла, прогнила во многих местах, и солнце, попадая через щели и дыры, искрещивало лучами все пространство конюшни. Трава здесь тоже росла, пробиваясь сквозь иструхлявевший пол, но была жидкая, бледная, худосочная и, не в силах подняться во весь рост, стелилась по земле, вздымая лишь головки и колосья, будто все время умирала.

— По углам каждой ямы вбейте по колышку, — приказал Первый.

И эта команда как-то враз расслабила Деревнина, хотя внутреннее сомнение все-таки оставалось. Возьмет и выставит перед народом, и экскурсию сюда устроит, и на колышки укажет. А кто, если не о ч е в и д е ц, может точно вбить колышки?

Правда, на дворе был уже не пятьдесят шестой год.

А был год шестьдесят восьмой...

Деревнин насобирал полугнилых палочек, досточек от ящиков и стал втыкать, измеряя на глаз расстояние. Первый прохаживался между колышками и хмурил брови.

Заметив это, Деревнин отмел последние сомнения. Есть отчего хмуриться. Когда таким потоком из Нефтеграда идет нефть, когда под нее заключаются международные контракты и когда так силен обратный поток средств, премий и наград, поневоле заскребешь затылок. Повалятся кости из яра — не только местные жители взволнуются. Иностранцев-то вон сколько бывает в Нефтеграде. Они хоть и из соцстран, да все равно звон пойдет по всей Европе. Пока они тут по нефтепромыслам ездят, так свои в доску, а уедут к себе за границу, кто их знает, кому шепнут на ухо. Когда Есаульск сгорел, так в то время ни одного закордонного человека не было в этих местах, а гляди, говорят, вражеские голоса сообщение сделали, когда еще головешки в городе дымились.

Ко всему прочему, в мире будто бы оттепель началась, приходит конец холодной войне. Зачем же пугать зарубеж эдакими страстями?

"Теперь-то уж никуда не денетесь, — думал Деревнин, втыкая колышки. — Как миленькие берег укрепите. А

можно было и раньше догадаться. Теперь бы уж и забыли..."

Закончив все дела в конюшне, они вышли на кромку обрыва, и Кирюк долго рассматривал и изучал берег. В своей комсомольской юности он закончил химико-технологический факультет и в ирригационных делах не разбирался, однако что-то прибрассывал и прикидывал для себя. Деревнин помалкивал, помня, что высокому начальнику лучше ничего не советовать. Он протапывал ему тропинки и натоптал много лишнего, думая, что Первому захочется измерить расстояние от углов зданий до обрыва. Наконец, осмотр закончился, и Кирюк пошел к монастырским воротам. Заметно было, что он чуть сгорбился и папку уже не держал под мышкой, а нес в руке, бороздя ею по траве. Возле самых ворот он неожиданно остановился, подождал Деревнина, идущего сзади, и спросил круто:

— Откуда вам это известно?

Деревнин мог и не отвечать. Он видел, что Первый и так догадывается, о т к у д а.

— Известно, — стараясь быть спокойным, сказал Деревнин.

Кирюк сгорбился еще больше и сузил глаза.

— Натворили дел, сволочи! — вдруг сказал он сквозь зубы. — Людей, как траву, в силосную яму... Людоеды!

И, круто развернувшись, пошел в ворота. Деревнин смешался, ухватился за высокую траву, устоял на ногах. В груди все оборвалось: "Неужто ошибся?! Неужто он..." С овладев с собой, Деревнин вышел из монастыря, встал, прислонившись к стене. Шофер достал новый замок, навесил его на калитку и сел в машину, где уже виднелась согнутая спина Первого.

Деревнина не пригласили. "Волга" газанула и с места взяла большую скорость.

До ночи бродил Деревнин возле уцелевших монастырских стен; всякий раз скрываясь за угол, когда по отдаленной дороге проносилась машина. Он трогал красный выветрелый кирпич, крошил его в пальцах, растирал в порошок, отчего руки становились тоже красными и пыль въедалась в кожу. Он щупал новенький, в смазке, замок на калитке и все больше убеждался, что совсем перестал разбираться в людях, особенно в молодых начальниках. При его деятельной жизни не было таких, не существовало! Это уже возросло какое-то новое поколение, образованное, задачливое, скрытое так, что с какого бы бока ни подступался, все равно не увидишь нутра. Они умели думать, но ничем не выказывать своих мыслей; они умели делать дела, но всегда непредсказуемые. Они были опасны, и только из-за недомыслия и отчаяния Деревнин, по сути, раскрылся перед таким человеком.

Ночью он пробрался к себе в квартиру на втором этаже, но уснуть так и не мог. Стоило прикрыть глаза, как он возвращался в конюшню и снова вбивал колышки под монотонное хождение Кирюка.

К утру у него родилась мысль, что пора собирать вещи и возвращаться назад, в Сыктывкар. Там, поди, уже забыли его. Да и год все-таки не пятьдесят шестой...

Возвратившись из монастыря, Кирюк наказал секретарше никого не впускать, закрылся у себя в кабинете и сел за стол, раскупорив бутылку с минералкой. Возмущение и гнев, вспыхнувшие возле ворот

заброшенной тюрьмы-обители, не давали покоя и здесь. Он видел перед собой контуры ям, отмеченных колышками, считал в уме примерный их объем и ничего не мог произнести, кроме одного слова — сволочи! — вкладывая в него всю ненависть к недавнему посетителю и к людям, ему неизвестным, но очень похожим на Деревнина. А что могло быть еще у Кирюка, кроме ненависти, если у него самого дед канул в Лету в тридцать восьмом году? Что могло быть, если ему теперь, спустя столько времени, приходится ломать голову над преступлениями таких людей? Чтобы не возмущать рабочее население города, чтобы сохранять его трудовую направленность и заботиться о благосостоянии народа, теперь придется тратить миллионы рублей на никому не нужный монастырь. Конечно, в комитете партии подобного расхода городских средств не одобряют, станут допытываться, зачем Кирюку понадобилась развалина, когда лучше на эти денежки отгрохать новый кинотеатр или даже музей. И придется рассказывать там про ямы... Безусловно придется, каждый рубль на счету. А расскажешь, так к тебе сразу изменится отношение. Да, он, нефтеградский секретарь, не виноват, что на его территории обнаружили ямы. И никто не обвинит, но обязательно станут думать: почему этих ям ни у кого нет, а у Кирюка они выплыли? Может, в его епархии и еще есть какие-то неожиданности и недоработки? Может, к нему комиссию послать и проверить все хорошенько? А то, что иссякает нефтяной поток, хотя по всем прогнозам не должен бы иссякать, ибо запасы не с м е т н ы е, какова роль Первого в этом деле? С человеческими костями шутки плохи, а с нефтью еще хуже! Если имеется в работе одна щербинка, то найдут и другую...

Ко всему прочему, о ямах наверняка заговорят на Западе, — к Нефтеграду внимание приковано международными договорами о поставках! — появятся памфлеты, дескать, они из человеческих костей качают черное золото...

Нет, Кирюк не виноват, что ямы вскроются, но все это — политика. Сейчас судить трудно, кто там в монастыре закопан, чья кровь пролилась; известно одно — костей не должно быть. За спокойствие среди населения, за его веру в чистоту революционных помыслов отвечает он, Кирюк, и никто больше. Потому что это дело д у х а.

Если ему сейчас не принять единственно верного решения, скандала вокруг монастыря и впрямь не миновать. Комитет партии спросит с него, потому что еще строже спросят с комитета в ЦК. Не будет правильного решения на месте — Кирюк поставит под удар не только себя. Сам — ладно, есть диплом химика-технолога, а слышно, вот-вот начнут строительство химкомбината на местном сырье. Но если он, Кирюк, поставит под удар ЦК и партию в целом?..

Руководитель нового типа, знал и верил Кирюк, это человек государственного мышления.

На следующий день утром он принял решение и собрался было поехать к Чингизу Азизовичу, однако позвонила его секретарша — опять новенькая (спросить бы для начала за секретарш на бюро!) — и переключила телефон на "хозяина". Чингиз сам звонил чрезвычайно редко, при исключительных обстоятельствах, и звонок его насторожил Кирюка. Тем более по голосу стало ясно, что генеральный непривычно взволнован и не может скрыть радости.

— Купол хочу будить! — сообщил он. — Совещание провожу. Приезжай!

— Я занят, — холодно и даже дерзко сказал Кирюк.

— Как — занят? Почему — занят! — возмутился Чингиз. — Я Купол знаю, как будить, как нефть стране давать — ты занят!

Пришлось согласиться: пока спрашивают за нефть, не за ямы...

Совещание длилось около часа. Академик приготовил для Купола меры конкретные и решительные: в скважины, на которых прекратился самоизлив, опускали заряды большой мощности, чтобы торпедировать нефтеносные пласты, да не просто чтобы возбудить нефтеотдачу, а как бы встряхнуть весь Купол, расшевелить его нутро, выбить все пробки, сдерживающие добычу.

— Землю будить буду! — заявил Чингиз. — Уснула земля! Люди здесь спали, и она спит, не желает работать. Не желает — заставим!

Сам академик был человеком все-таки честным и добросовестным. Ему было стыдно, что нефти оказалось много меньше, чем предполагалось, и потому он работал лихорадочно и смело. И если Чингиз сидел на совещании при трех звездах на груди, то академик не надел ни одной и на пиджаке его скромно синел вузовский ромб, как у молодого специалиста-первогодка.

Подземный взрыв планировался через три дня, поэтому все причастные к нему неизменно спешили. Обстановка напоминала канун великого сражения.

Кирюк подождал, когда генеральный останется в одиночестве. Он не хотел спешить, тем более посвящать Чингиза в свои замыслы: вопросы, касаемые д у х а, принадлежали партии.

— Можно получить полный комплект сантехники на две девятиэтажки, — сказал Первый. — Почти даром.

У генерального не дрогнул ни один мускул, хотя он-то знал, как туго с оборудованием.

— Что просят? — спросил он без интереса.

— Девять тонн плавиковой кислоты, — ответил Кирюк.

— Какой кислоты? Я кислоты не знаю. Где взять? Скажи?

— Она у вас имеется, — отмахнулся Кирюк, чувствуя, как Чингиз крепнет духом и положением. — С ее помощью измеряют искривление скважин. Это единственная кислота, которая даже стекло разъедает.

Последнее Кирюк сказал напрасно — Чингиз что-то заподозрил.

— Зачем стекло разъедает? Кто просит?

— По условиям договора назвать заказчика не могу, — мягко объяснил Первый. — Это не моя тайна.

— Правильно! — вдруг похвалил Чингиз. — Меньше нос суешь в чужие дела — долго с носом ходишь. Ты будешь хороший хозяйственник, умный.

Он вызвал начальника управления по снабжению и назвал, что требуется. Причем в лицо ему не глядел — куда-то в пол и пристукивал ладонью по столу.

— На год получаем всего сто килограмм, — на память сказал начальник.

— Девять тонн дай, — распорядился генеральный тем самым тоном, после которого уже нельзя было возражать. — Через три дня.

Кирюк знал, что кислота будет именно через три дня: у Чингиза можно было поучиться работать с подчиненными.

В присутствии посторонних, а тем более официальной власти, ему уже не отказывали ни в чем. Чингиз на глазах учил Первого исполнительности.

— Еще чего надо? — спросил генеральный.

— Больше пока ничего, — ответил Кирюк.

Оставаться дольше в кабинете Чингиза было не положено. Первый взял папочку и вышел.

Два комплекта оборудования у Кирюка были и лежали на складе стройтреста. О них знали всего два человека в Нефтеграде: один был сам Первый, другой — бригадир шабашной бригады, привезший это самое оборудование в обмен на заготовку строевого леса для Казахстана. А что отдаст за кислоту Чингиз, Кирюка уже не волновало.

Он вернулся в горком и позвонил командиру строительного батальона, расквартированного в бараках Нефтеграда.

— Через три дня утром отправь в мое распоряжение десять солдат и сержанта, — распорядился Первый.

— Слушаюсь! — отчеканил комбат. Он дослуживал последний год и по выходе в отставку просил оставить его в Нефтеграде начальником стройуправления.

— Чтобы шестеро имели водительские удостоверения, — продолжал Кирюк. — И чтобы все желательны были выходцами из Средней Азии.

— А они у меня все оттуда! — добродушно засмеялся в трубку комбат. — По-русски ни бельмеса.

Он положил трубку и пометил в календаре, перечеркнув дату крестиком. Увидел фамилию — Березин, подумал, поставил несколько вопросительных знаков, затем несколько раз зачеркнул ее и отбросил ручку. Можно было спокойно заниматься текущими делами.

Первый день Деревнин отсидел дома безвылазно. Никто не приходил за ним, никто не звонил в двери и не кричал под окнами. Несколько поуспокоившись, он вышел ночью прогуляться и незаметно дошел до монастыря: ни на берегу, ни на воде никакой техники не было, и стройматериалов тоже не видать. Деревнин потрогал масляный замок на калитке, походил возле и вернулся домой. Если бы Кирюк задумал устроить ему травлю, то уже бы это чувствовалось. В конце концов, Первый с его расчетом и холодным умом пошел бы в лобовую. Что ему терять? Наоборот, выиграет: завоеует славу честности, гласности и доверие народа в результате.

На второй день к вечеру Деревнин прихватил удочки, сел в лодку и поплыл к монастырю. До поздней ночи он просидел на другом берегу, не зажигая костерка, чтобы не слепить самого себя, однако у обители так никто и не появился. Но ведь должны же сначала пустить хотя бы изыскателей, чтобы промерить берег, рассчитать и придумать защиту от размыва! Что они не шевелятся? Или пошло по инстанциям до самой Москвы? И все ждут теперь, что оттуда придет? Деревнин решил пропустить один день и поплыл в следующий раз в обед. Заранее накопал червей, взял с собой "тормозок" — пару яиц и хлеб, и решил все-таки поудить, чтобы не терять напрасно время. Подплывая к монастырю, он вдруг увидел, что на самом гребне обрыва сидят солдаты и что-то едят из котелков, а за их спинами, во дворе, стоят трактора с буровыми шнеками и машины с цистернами, что поливают центральную асфальтированную улицу Нефтеграда.

"Начали! — про себя воскликнул Деревнин. — Зашевелились, сволочи! Ишь, сколько техники нагнали..."

— Ака! Ака! — закричали солдаты, завидев Деревнина. — Рыба дай! Дай рыба! Тушенка — на, рыба дай! Баба-а-ай!

Деревнин, не глядя на них, проплыл мимо и прибил к противоположной стороне, спрятав лодку в кустах. Он забыл об удочках и, устроившись на песке среди хвощевого, прогонистого тальника, стал наблюдать за солдатами. От волнения Деревнин стал заплетать таловые прутья в косу, затем достал ножик и, нарезав их, подумал, не сплести ли корзину. Плести он не умел, зато видел, как это делают: заключенные скуки ради чего только не вытворяли. Он согнул пучок прутьев и, срезая их, вспомнил пословицу: "Мужик как тальник — его рубят, а он все растет". И верно замечено. Сколько ни руби таловый куст, он все цел. И когда только нарастать успевают?

Солдаты пообедали, завели технику и начали гудеть. Что там делалось, было не видно из-за травы и барачных сизоватых дымов выбивавшихся из-под крыши конюшни на хоздворе. Потом дергались поливалки, переезжая с места на место: одним словом, скучно работали и совсем непонятно, зачем катались по двору. Деревнин начал одну корзину, другую, но все портил, тальниковая лоза ломалась, кривилась, и получались какие-то уроды, а не корзины. Он забросил это занятие и тогда стал ковыряться в песке: рукам обязательно что-то хотелось делать.

Лишь к вечеру солдаты выгнали с монастырского двора технику и неожиданно откуда-то появился бульдозер. Наверное, стоял у самой стены или за храмом. Бульдозер лихо прокатился по двору, развернулся и стал таранить конюшню. Он буровил ее, словно солому, крушил длинную стену, пока здание не накренилось и не расплылось, не раскатилось в гору бревен. Затем уже без торопливости, со знанием дела бульдозерист начал сталкивать руины в воду. Бревна разламывались под ножом, катились горой и, вздымая песок, обрушивались с крутояра. Зрелище было сильное: земля и вода поднимались дыбом и долго висели в воздухе. А переломанное дерево выныривало и плыло по течению вдоль берега. Минут за двадцать бульдозер спихал конюшню в реку, рискуя свалиться с обрыва, подчистил его кромку и выехал со двора. Еще через несколько минут вся техника выстроилась в колонну и потянулась к городу.

Завороженный увиденным, Деревнин перевел дух и растерянно осмотрелся. Неужели Кирюк такой недалекий человек — решил, что если столкнуть конюшню, значит, и делу конец? Ведь берег надо укреплять! Размыв останавливать! Ничего себе решение! Послал отделение солдат и думает, они все устроят. Да сюда нужно большие денежки вбухать! Шутка ли, с рекой тягаться!

Или он сделал это для отвода глаз? А сам, поди, давно повышения ждет, и ему ровным счетом наплевать, что в этой земле лежит. Может, ему года жить здесь не придется. Уйдет выше и потом с новенького спросит.

С сумерками он переплыл на монастырский берег, причалил, где пониже и положе обрыв, выбрался наверх и пошел к воротам. На калитке висел прежний замок, а рядом, на стене, жестяной плакат с надписью "Опасно для жизни!" с черепом и перекрещенными костями посередине. Деревнин обошел вокруг, но попасть во двор все равно было неоткуда. Хоть плачь перед этой проклятой стеной! А посмотреть, что там делали солдаты, хотелось немедленно.

Поразмыслив, Деревнин отправился в город и долго лазил по стройке, пока не отыскал подходящую лестницу. Нести ее оказалось тяжеловато и далеко — полтора километра, однако с частыми отдыхами и перекурами он дотащил ее до монастыря. Можно было и волоком, но Деревнин боялся, что останутся следы на земле и тогда могут найти, куда делась лестница.

Приставив ее к стене, Деревнин забрался наверх, затем перекинул лестницу во двор и спустился в траву. К этому времени совсем стемнело, и хорошо, что на коздрвор была набита целая дорога, а деревянный заплот оказался протараненным и наполовину снесенным. Щупая ногами землю, Деревнин подобрался к чистому месту, где недавно стояла конюшня, и ощутил резкий, удушающе-отвратительный запах. Он закрыл лицо рукавом, сделал несколько шагов вперед и пригляделся. Ему почудилось, что у него закружилась голова, потому что отутюженная бульдозерной лопатой земля проседала, проваливалась на глазах. Деревнин попятился назад и понял, что с головой все в порядке.

Тогда он зашел с другой стороны и попытался разглядеть, что же на самом деле происходит с землей.

Разглядел: земля проседала...

И еще увидел на белесом фоне реки, как из земли медленно поднимается буроватый, едкий дым. От него слезились глаза и схватывало дыхание.

Деревнин отступил на один шаг, на второй, на третий, не в силах оторвать глаз от тающей земли, потом медленно развернулся и побежал так, как если бы под его ногами рушился в речную пучину высокий, материковый берег.

Сенбернар устал быстрее, чем мать Мелитина, да и годами, в пересчете на человеческие, он был старше ее и потому больше плелся в хвосте, низко опустив тяжелую голову. Он немного оживал, когда впереди показывалась деревенька или большое село, догонял матушку и старался идти хотя бы рядом. Мать Мелитина, завидя такую прыть, спрашивала:

— Может, батюшка, котомку-то понесешь?

Пес отворачивался, будто разглядывая обочину дороги, и мохлястые лопатки его сильнее выворачивались при ходьбе; он начинал хромать сразу на все четыре лапы, тем самым показывая, дескать, ну какой же из меня носильщик, посмотри сама, едва ковыляю.

— Что же, ладно, — соглашалась мать Мелитина. — Придем вот в деревеньку, отдохнем, перекусим и дальше побредем.

Они приходили в притрактовую деревню, ходили по улицам, заглядывали во дворы, если была школа — в школу, и тогда сенбернар окончательно веселел и бодрился. Дети мгновенно его окружали, сначала несмело тянули руки, окликали разными именами и скоро уже гладили, чесали за ушами, щупали уши, лапы и, наконец, усаживались верхом. Пес был неведомый сельской ребятне и потому тянул к себе, как тянуло ее все неизведанное и непознанное. А пока дети возились со спутником, мать Мелитина сидела где-нибудь в сторонке и глядела в ребячьи восторженные глазенки. Иного она окликала, подзывала к себе и спрашивала, кто его мать. Дети, играя с собакой, становились разговорчивыми, не дичились незнакомой, древней старухи в черном, поскольку она тоже

казалась им не менее чудной, чем сенбернар. Потом они снова шли по улице и снова заглядывали во дворы, но там детей почти не было, а все больше старухи и стареющие женщины. Иногда им подавали милостыню, хотя они не просили, но если жертвовали, то не отказывались и принимали с Христовым именем. Давали больше хлебом, молочком и огурчиками — деревня скудела на копеечку. Однако более всего скудела она детьми. Иное село обойдешь, едва три десятка парнишек насчитаешь. В ранешние времена на такую прорву народа и в триста бы не уложиться.

Обойдя таким образом встречную деревню, они отдыхали за ее околицей, перекусывали чем Бог послал и плелись дальше. Изредка их подвозила попутная подвода, причем сенбернар смотрел вознице в глаза с такой просьбой, что даже самый строгий и задачливый разрешал собаке забраться на телегу. Конные попутчики были в основном колхозниками из ближних мест и потому не расспрашивали старуху. Верно, по тем временам и местам часто хаживали одинокие странники. Да и колхозники или колхозницы мало чем отличались от тех же странников: котомка за плечами, сапоги через плечо, пятки в трещинах. Кто подался в город к дочери, кто по родне пошел деньжат на коровенку собрать, кто себе пенсию хлопочет, а кого погнали в райцентр медальку юбилейную получать у военкома. У этой разве что собака чудная, издали глянуть, так телок полугодовалый, и глаза умные, печальные, того и смотри заплачет.

И еще заметила мать Мелитина, путешествуя по российским дорогам, что где бы то ни было — в деревне или в городе, на дорогах ли, на вокзалах и пристанях — кругом народ уж больно хмурый. Редко увидишь, как человек идет и улыбается просто так; все больше спешат, морщат лбы, и в какие глаза ни загляни — даже в детские; — везде забота сереет, а то нужда чернотой заливает. Экая радость, когда случается увидеть гулянку — свадьбу, проводины-встречины или Троицу. Соберется народ, попляшет, посмеется, попоет всласть, но расходится по домам — и снова грусть-кручина. Ровно околдованные, ровно очарованные печалью. Где же тот человек, который озарит лица народа православного, стряхнет с них серую дорожную пыль и украсит радостью?

Пока нет такого человека, народ лишь от вина веселится, в нем радость находит. Что же остается народу, ежели забота и нужда сушит его, словно гороховый стручок на солнце, сутулит, как коромысло, хмурит ненастной тучей? Где радость, где ему истина? В вине. Вот и пьет он, вот и глушит и в праздник и без праздника, утром и вечером, днем и ночью, и пока зачумлена голова, пока море по колено — гуляй, веселись! Потом будет трещать башка, и пустой желудок трижды наизнанку вывернется, и холодный пот прошибет — но ведь потом. А пока — радуйся, русский народ! Радуйся дешевому вину, радуйся, что его хоть залейся, радуйся и благодари благодетелей. Чему ж еще-то радоваться? Сколько прошла уж верст за эти годы мать Мелитина, а ни одной деревни не встретилось, где бы трезвый народ жил. Иной раз в придорожных канавах валяются люди, словно изношенные, засаленные одежины. Другого тронешь рукой — да живой ли? Захолодел весь, посинел, почернел, и ничем с ним не отводиться, как опять той же рюмкой вина. Сенбернар как-то не по-собачьи относился к пьяным: найдет лежащего,

подползет к нему и станет вылизывать лицо, глаза, губы. Верно, думал, замерзает человек. Очнется подзаборник, разлепит опухшие глаза и вдруг заплачет пьяными слезами от собачьего ласкового языка, загорюет, запричитает, и такая невыносимая тоска полетится — Господь Всемиловитый!

В лето одна тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года стала подходить мать Мелитина к большому городу. По шуму да по огненному морю, что ночами вспыхивал на горизонте, невиданный был город. А может, вовсе и не город, а просто людей так много стало на земле, что они теперь повсюду живут, все просторы заселили, и куда ни глянь, — дома, дома, дома...

Тут и обезножел сенбернар. Так все еще шел, ковылял, но как увидел впереди ночное зарево, дрогнул всем телом, вздохнул тяжело и повалился на землю.

— Пойдем, батюшка, пойдем, — уговаривала мать Мелитина и старалась поставить собаку на ноги. — Слышишь, вон какой город у нас впереди. Народу там миллионы, и если в каждой семье хоть по ребенку, это сколько же нам с тобой ходить? Вставай, батюшка, не лежи. Ведь лежало-то мы не найдем, не увидим сыночка. Я уж котомку сама понесу, не стану больше нагружать тебя. А ты хоть себя донеси. Осталось-то немножко, дома видать...

Сенбернар лежал на обочине и с трудом приподнимал голову. Он уже не мог втянуть вываленного языка, который валялся на земле как изжеванная, обветшавшая тряпка. Истертые об асфальт подушки лап кровоточили и оставляли мокрые следы.

Он не в силах был уже зализывать раны.

А мимо бесконечным потоком шли машины, обдавая дымом и жаром разогретого железа.

Чуть оправившись, сенбернар все-таки встал и, поддерживаемый матерью Мелитиной, поплелся по дороге.

— Вот так, батюшка, вот так и добредем, — приговаривала она. — Больно уж город большой. Здесь уж наверняка отыщем. Ты зубами-то, зубами держись за меня. На вот тебе подол... А как отыщем, так ляжем рядышком да и отправимся к себе домой. Там нас ждут, сестрицы соскучились. Да потерпят еще. Что делать, коли нам забота такая выпала? Исполним, что Господь отпустил на земле, и домой. Ишь как, батюшка: ты собакой родился, я — человеком, а дорога нам одна. Ты не печалься, найдем, если родился. Мы ведь сколько уж с тобой прошли! А чем дальше, тем надежды-то больше...

Она говорила и уже не слышала своих слов. Гул огромного города не стихал от раннего утра и до глубокой ночи. И чем ближе становился город, тем меньше оставалось надежды услышать тоненький серебряный колокольчик. Правда, было несколько тихих ночных часов, но в это время дети спали в каменных домах, стены которых заглушили бы пение жаворонка.

— Да ведь все равно надо идти, — убеждала она себя. — Услышу, поди, Бог даст. А не услышу, так у людей буду спрашивать. Когда людей много — хорошо. Кто-нибудь да услышит.

А гул все разрастался, охватывая все пространство, заполненное нагромождением высоких домов. Он поднимался вверх как пожар, закрывал небо и глушил, пожирал любой посторонний звук. Если зажать уши, то город немел и, немой, походил на огромную муравьиную кучу. Он дышал, испуская запахи, похожие на запах

муравьиной кислоты, он шевелился, как растревоженный песок, и в этом шевелении трудно было увидеть отдельного человека.

— Как-нибудь, как-нибудь, — надеялась мать Мелитина. — Имеющий уши да услышит...

В очередной раз сенбернар лег возле широкой дороги, сжимающей в своих объятиях городские окраины. По бетонным плитам в разные стороны неслись машины: одни по часовой стрелке, другие против. В этом виделась какая-то бессмысленность, но если такое существовало, значит, зачем-то было нужно.

Она размочила в котелке сухарь, размяла его и стала кормить собаку. Сенбернар едва двигал челюстями, глотал пищу и плакал, глядя на мать Мелитину.

— Не плачь, — уговаривала она. — Что ты, батюшка, ведь почти пришли. Осталось вон ту дорогу перейти, видишь, в горку дорога идет, над другой дорогой. Перейдем, а там уж слушать будем.

В это время мимо промчалось что-то — мать Мелитина и рассмотреть не успела, только увидела улетающий вперед и вверх свет, — путников обдало ветром, но не тем, что от дымных машин исходил, а будто луговым, парным, травянистым, как бывало в сенокосную пору. И сразу стало легко дышать, ноги сделались невесомыми и дорога мягкой, ласкающей ступни босые. Сенбернар вдруг вскочил, потянулся сладко, словно щенок-подросток, завилял хвостом и потрусил вперед.

— Слава Богу! — произнесла мать Мелитина. — Теперь дойдем. Эвон воздух-то какой сладкий!

И пошли они вверх по той самой дороге, что нависала над железобетонным кольцом. Идти было все время в гору, но они не ощущали усталости. Сенбернар оглядывался на бегу, смеялся, зазывая, и от радости устремлялся вскачь.

А дорога становилась круче, тянула куда-то вверх, вверх и разноцветно клубилась под ногами, словно покрытая туманом. Хватила мать Мелитина — обочин нет у дороги!

— Батюшка, куда же ты ведешь меня? — испугалась она. — Куда же мы идем с тобой? Дорога-то какая чудная!

Под ногами путников лежали все семь радужных косм...

23. В ГОД 1970...

Холм, на котором когда-то стоял дом Березиных, постепенно зарастал, и крутой чистый его лоб становился уже, склоны, скрадываемые молодым сосняком, выполаживались, а пепелище все глубже уходило в землю. Однако белесые стены кельи матери Мелитины все еще торчали среди голой поляны, словно первый зуб в деснах младенца. Плоская односкатная крыша зияла прорехами сорванного ветром дранья, на потолке, засыпанном землей, тянулись в небо тонкие березки, густая трава, образовав крепкую дернину, не пропускала воду, и поэтому внутри кельи было сухо.

Андрей Николаевич приходил сюда чаще всего вечерами, когда на опустевшем холме наступал благостный мир и безмятежный покой. Опираясь на палку, он не спеша, с остановками, обходил поляну, затем садился на колоду лицом к заре и сидел так до темноты. Его все больше тянуло на холм, к материной келье, хотя внутрь он заглядывал редко и всегда только днем. Там уже ничего не оставалось — печку и ту развалили, однако при этом в

келье все-таки удивительно сохранялся жилой дух. Казалось, вставь окно, поправь печурку — и живи, невелик урон. И он, всякий раз очутившись здесь, так и думал, вернее, прикидывал, что нужно сделать, чтобы келья стала жилой. Он будто примеривал ее на себя, как примеривают родительскую одежду.

И всякий раз Андрей Николаевич подолгу глядел на изгиб есаульской дороги, желтеющей у подножья холма, стараясь представить, как уходила отсюда мать Мелитина. Иногда ему чудилась ссутулившаяся фигура с котомкой за плечами, бредущая по склону, и набегали слезы. О ней по-прежнему ничего не было слышно, да и, судя по возрасту, едва ли она оставалась в живых, но со временем Андрей Николаевич все сильнее ждал вести о матери. Расклеенные по всей стране листки с ее портретом давно истрепались на милицейских стендах, однако по настоянию деда Коля еще раз объявил свою прабабку во всесоюзном розыске, и вот минул год, а никаких сообщений так и не пришло.

Это было скорее всего не ожидание и не призрачная, обманчивая надежда найти свою престарелую мать и повидаться с ней; тоска, густая и холодная, подобно осенней воде, обливала душу. В нем будто воссоединились детское сиротство и старческое одиночество. Вечерний покой на холме не приносил облегчения, и непоколебимый мир вызывал тревогу, а все вместе рождало необъяснимый страх перед чернеющим лесом, обступающим вершину холма, и перед темным, беззвездным небом. Он смотрел, как угасает заря, и одновременно с густеющим мраком становилась гуще и непроглядней знобящая тоска. И тогда ему хотелось света! Какого угодно — горящего фонаря, костра, лучины — лишь бы отогнать ночь. Андрей Николаевич зажигал спичку, держал ее, пока терпели пальцы, однако, когда свет угасал, делалось еще темнее.

Сыновья, выросшие без отца, очужели, и Андрей Николаевич даже не пытался вмешаться в их долю и как-то поправить отпущенную ему жизнь. Зато о внуке тосковала душа, как тосковала она по матери. Если Коля не приезжал на выходные, то Андрей Николаевич, проглядев все окна, выстуживал натопленную баню, застилал приготовленные постели и на ночь глядя брел на холм, к келейке матери Мелитины. После академии Коля был назначен начальником горотдела милиции и уже навсегда отбросил мысль об учительстве. О работе своей он помалкивал и всегда казался каким-то ровным, даже если что-то случалось в городе. Если Андрей Николаевич начинал расспрашивать внука, тот чаще всего отмахивался, нарочито веселился, и поначалу думалось, что он не хочет беспокоить деда своими делами. Когда же Андрей Николаевич принимался рассказывать ему, в каком виде дошли слухи до Березина о каком-нибудь происшествии, Коля молча выслушивал и морщился:

— Ладно, дед, не бери в голову...

В этой скрытности Андрей Николаевич угадывал какое-то затаенное недовольство: мол, ну что ты пристал ко мне? И так башка трещит от заботы. Видишь, не хочу говорить, не хочу... Он словно оставлял деду то, что оставалось всем старикам в Березине: содержать деревенский дом, топить баню, встречать да провожать внуков. Однако вместо обиды Андрей Николаевич чувствовал вину перед Колей. Не осознавая, в чем конкретно проявляется эта вина, он как будто бы расписывался сразу за все, и теперь, что бы ни случилось в жизни внука, дед обязан понести за это

ответственность. А ведь по старым временам Колиной судьбе можно было только позавидовать: нет и тридцати, но внук уже в звании подполковника и в чине начальника отдела.

Женитьба и потом рождение первого сына, казалось, лишь усугубили Колину замкнутость. Приезжая в субботу под вечер, он мог до ночи не проронить ни слова, а утром, взяв на руки первенца, уйти куда-нибудь на речку и до обеда сидеть на берегу, тетешкая младенца. Жена его, Светлана, время от времени бегала кормить грудничка и, возвращаясь, занималась хозяйством: стирала, мыла или возилась на огороде.

И чем громче становилось молчание Коли, тем сильнее подступала вина.

Однажды внук прикатил среди недели один, даже без шофера. Распахнув дверцу машины, долго сидел за рулем и курил папиросу за папиросой, затем перебрался на крыльцо, снял сапоги и, скрючив белые, не выдавшие солнца ноги, задумчиво смотрел в одну точку. От еды и от бани он отказался и лишь попросил воды. Андрей Николаевич подал ему ковш и присел рядом. Внук напился, остатки воды вылил себе на голову и, слизывая с губ бегущие по лицу капли, неожиданно спросил:

— Дед, а дед... Что же вы натворили?

И, не дожидаясь ответа, прихватил сапоги, швырнул их в машину и умчался, поднимая густую дорожную пыль.

Андрей Николаевич тогда решил, что Коля больше не покажется, однако в субботу он явился с семьей и как ни в чем не бывало отправился с сыном на речку. Но с тех пор Андрей Николаевич ждал каждого выходного, как ждут суда. Почему-то казалось, что если он не придет раз, другой, то не придет никогда. И, думая так, Андрей Николаевич приглядывал, примеривал к себе келью матери, матери Мелитины.

Иванов день выдался ветреным, беспокойным: на лугах повалило травы, а в селе от дымокура начался пожар, но короткий, сильный ливень потушил огонь, омыл небо и землю, и к сумеркам в посветлевшем мире наступил покой.

Андрей Николаевич поднимался по склону холма, когда заметил на дороге милицейский воронок, который скользнул мимо и направился в село. Было хорошо видно, как машина остановилась возле дома Березиных, поэтому Андрей Николаевич заспешил назад, но увидел бегущие навстречу фары. Он понял, что не успеет спуститься к дороге и они сейчас разминутся, причем до обидного нелепо — в десятке метров друг от друга. Проводив глазами воронок, он опять пошел в гору. Теперь и не узнать, зачем приезжал...

Он расположился на колоде возле кельи, лицом к заре и с удивлением обнаружил, что машина ползет вдоль речки по кочкам и буеракам, высвечивая прибрежный кустарник. Вот она свернула у топкого места к селу, фары погасли, и черный воронок растворился в темноте. Через несколько минут брезжащий автомобильный свет вспыхнул возле свободненской дороги и скоро пропал за колхозной фермой. Создавалось впечатление, что Коля рыщет вокруг села, хотя знает, где его искать вечерами. Встревоженный, Андрей Николаевич вглядывался в сумеречную даль, слушал тишину, пока вдруг снова не увидел машину на есаульской дороге. Круто повернув, она полезла на холм, и лучи фар уперлись в вершины старых сосен.

Воронок остановился недалеко от кельи, и Андрей Николаевич оказался в ярком, слепящем свете. Не выключая фар, внук выбрался из машины и, сутулясь, подошел к деду. Был он какой-то зябкий, нахохлившийся и руки держал в карманах брюк, словно только что прямо в одежде выкупался в холодной воде.

— Дед, я тебе гостя привез, — сообщил Коля. — Старого твоего друга... Встретиться с тобой захотел.

— Где же он? — Ослепленный, Андрей Николаевич видел только темную фигуру внука.

— В машине сидит.

Коля не торопясь открыл заднюю дверь, за которой обычно возили арестованных, хлопнул ею и, круто развернув машину, покати́л с горы.

Андрей Николаевич стоял, опершись на палку, и в первую минуту ничего не видел: в глазах стояло пятно света. Однако почувствовал, что рядом кто-то есть: живой, с хрипловатым дыханием. Вглядевшись, Андрей Николаевич различил темный человеческий силуэт, совершенно неподвижный, похожий на обгорелый столб.

— Ну, гость, приехал и молчишь? — наугад спросил он. — Я лица-то твоего не вижу...

— Меня доставили сюда насильно! — заявил гость и шевельнулся.

Андрей Николаевич зажег спичку. Перед ним стоял совершенно незнакомый старик в летней, навывпуск, рубаше и сетчатой шляпе, натянутой до бровей.

— Что-то не узнаю, — сказал Андрей Николаевич, когда спичка погасла. — Будто и не знакомы...

— Вот и хорошо, — отозвался старик. — Я и пойду себе... К утру, поди, добреду, если не подвезут.

— Нет, ты уж погоди! — Андрей Николаевич приблизился к гостю вплотную. — Так и уйдешь неузнанным? Не годится... С чего бы это внук-то мой тебя возил?

— Над стариком издевается твой внук! — заявил гость. — Знает, что жаловаться не пойду, вот и показывает силу. Он ведь что хочет — стравить нас! Чтоб мы тут хлестались до кровавых соплей, а он бы потешался. Я же Деревнин, помнишь?

— Деревнин? — тихо переспросил Андрей Николаевич.

— Ну да, я и не скрываю, — сказал Деревнин. — Он-то, внук твой, по-своему судит. Думает, мы до сих пор враги, если ты по тюрьмам сидел, а я начальником лагерей был. Он же меня на расправу к тебе привез!

— Вот как, — промолвил Андрей Николаевич, сжимая отшлифованную руками палку. — Он тебе так и сказал?

— Не так, но чего темнить-то? — возмутился Деревнин. — Явно подразумевал!

— Каков подлец, — протянул Андрей Николаевич. — Ведь и верно, на расправу привез...

— А я что говорю? — хмыкнул Деревнин. — Они нынче все по-своему думают... И ничего не понимают в нашей жизни. Я же внуку-то твоему говорил, как человека просил — не вози, не стравливай нас. Какая тебе в том выгода?.. Нет, силком посадил под замок и привез.

— Ты что же, Деревнин, и не сомневался, когда ехал? — осторожно спросил Андрей Николаевич.

— Да я чувствовал: ты зла не помнишь, — уверенно сказал тот. — Коль помнил бы, давно дал знать. А я живу сколько уж лет рядом с тобой, а тебя ровно и нет. Ведь ты же знал, что я в Есаульске поселился?

— Как же, знал... — Андрей Николаевич сел на колоду, обвис на палке. — Садись и ты, в ногах правды нет.

Деревнин подковылял и тяжело опустился рядом. Видно, страдал от радикулита, берег поясницу, придерживая рукой.

— Если откровенно признаться, я поначалу держал на уме грех, — сообщил он. — Боялся тебя... Думаю, может, изменился после лагерей, злой стал, не простишь... Одно время даже стрелнуть тебя подумывал. Вот как... Потом гляжу — ничего, прости.

— Ну, ты как живешь-то? — перебил его Андрей Николаевич. — С кем остался?

— С кем? Да ни с кем. Один живу, как и ты, — признался Деревнин. — Неужто у тебя интерес есть к моей жизни?

— У меня ко всякому человеку интерес, — проронил Андрей Николаевич. — А к старому и подавно... Так что, ни детей, ни внуков?

— Гол как сокол...

— Это хорошо. Это тебе повезло, Деревнин.

— Не больно и хорошо, — ворчливо не согласился тот. — Что ни возьми — все самому. А здоровье уже не то, другой раз нервы болят. Стану нитку в иголку вдевать и не вдену. Глаз-то видит, а рука ходит, ослабла. Соседку прошу. Она мне вденет сразу в несколько иголок всяких ниток, я и штопаю. Пенсия у меня по старости девяносто четыре рубля, не шибко-то заживешь... Где уж там повезло!

— Да, чудно, — задумчиво сказал Андрей Николаевич. — Родится человек под родительской опекой, а умирает под внучьей. Вот и весь круг. Родители умрут — ты еще не сирота; если внуков нет, тогда действительно...

Деревнин слушал настороженно и, похоже, чего-то не понимал, вернее, не мог определить, осуждает его Березин или жалост. Андрей Николаевич помедлил и добавил:

— Сиротой умирать хорошо. Некому потом за твой грех страдать. Умер — и все с собой унес, все спрятал в землю.

— Не больно спрячешь, — буркнул Деревнин, но тут же замолчал и настороженно притих.

— Спрячешь, — не согласился Андрей Николаевич. — Ведь о тебе потом никто думать не станет, никто тебя ни отцом, ни дедом не назовет, поминая. А коли думать не будут, значит, ты навсегда людей освободил от себя.

Деревнин покашлял, зябко повел плечами.

— Мудрено говоришь. Да только к чему?

— Чего же здесь мудреного? — вздохнул Андрей Николаевич. — Все ясно, как божий день... Вот меня внучек недавно спросил, так я до сего дня голову ломаю, что ответить ему. Что вы, говорит, натворили?.. Вот мудрено-то сказать, что натворили.

— А ты слушай его больше! — осмелел Деревнин. — Он тебе наспрашивает! Он тебе наведет тень на плетень.

— Нет, Деревнин! — остановил его Андрей Николаевич. — Тебе хорошо говорить, потому что нет над тобой ни суда, ни прокурора. Ты ответишь разве что перед Богом, и за тебя некому отвечать. А у меня внук, да не один. Еще вон правнук родился... Ну как все закричат в голос? Что это мы натворили?

— Кто им такие права-то давал — спрашивать? — будто защищая Березина перед внуками, задиристо спросил Деревнин. — И так живут на всем готовом. А мы как жили, помнишь? Пускай они с наше поживут и помучаются.

— Так-то так, да они хоть и прожили треть нашего, но

мучились больше, — мягко возразил Андрей Николаевич, прислушиваясь к треску козодоя. — Мы ведь все грехи свои на них переложили. Ты — нет, ты все с собой возьмешь, а я же на Колю вон наваливаю... Всю жизнь готовился к этому вопросу. Думал, дети спросят, потом думал — сродные братья. А внук спросил.

— А ты его теперь спроси, — посоветовал Деревнин. — Что они вытворяют. Если твой внук не знает, то я тебе могу сказать.

— Что бы наши внуки ни делали — виноваты мы, — твердо сказал Андрей Николаевич. — Но вся беда в том, Деревнин, что не нам, а им ответ держать. Ты уж примиришься с этим, признай.

— Чего мне признавать? — возмутился Деревнин. — За свои грехи я теперь могу ответить и сам. Могу! Хоть перед кем признаюсь!

— Да что толку-то? Признаешься, а сам в могилу нырнешь, — неторопливо проговорил Андрей Николаевич. — И оставайся лавка с товаром... Перед смертью можно каяться, но отвечать-то когда?

— И внуки не ответчики! — Деревнин сбил шляпу на затылок. — Видел я, все знаю!

— Признай, признай, Деревнин, — попытался вразумить его Андрей Николаевич. — Не нами это придумано, а видно, так уж изначально идет. Сын за отца не ответчик, но внук за деда его лямку тянет. Я вот гляжу на своего правнука и про Ивана думаю, про старшего своего. Живет пока малец и ведать не ведает, какая ноша ему приготовлена. Чуть подрастет — и впряжется в дедову лямку.

Деревнин вскочил, хватаясь за поясницу, и, наверное, резкая боль остановила его, заставила опомниться. Он вскинул было руку, но лишь вяло взмахнул ею и затоптался, распрямляясь и покряхтывая. Андрей Николаевич посидел, обвиснув на своей палке, затем спохватился и спросил, который час. Деревнин справился с болью и полез в карман за часами. Достал кисет, прицепленный на цепочке, развязал его и вынул наконец блеснувший в темноте кругляш. Андрей Николаевич посветил спичкой — без четверти двенадцать.

— Пойду, — сказал он. — Ты тут посиди и подожди меня. Я скоро.

— Куда ты? — Голос Деревнина напрягся. — Зачем?

На березе у опушки леса ворохнулась кукушка, спросонья принялась было куковать, но рассовестилась и умолкла.

— Сегодня же Купальская ночь, — напомнил Андрей Николаевич. — Папоротник должен цвести. Схожу посмотрю, может, будущее узнаю.

Он огляделся, прикидывая направление, и пошел к восточному склону, на котором чернели связанные кронами старые сосны.

— Ты что? — испуганно спросил Деревнин вслед. — Папоротник не цветет. Он же как гриб.

И замолк, видно, страшись тишины, что исходила от неба и охватывала землю. А может быть, в эти минуты покоя человеческий голос глух, как и все живое вокруг: Андрей Николаевич шел и не слышал своих шагов...

Он остановился под соснами, нащупал руками жесткие лапы папоротника и, выбрав место под деревом, очертил его бережным кругом. Затем, войдя в круг, опустился на колени и стал ждать. Тьма в лесу была настолько

непроглядная и густая, что замедляла бег времени, а вместе с ним и ток крови в жилах. И как тут ни всматривайся, как ни моргай или плачь — не сморгнешь и не смоешь слезами этот вселенский мрак. На миг Андрею Николаевичу почудилось, будто он оглох и ослеп. Захотелось уйти отсюда, однако он крепче сжимал руками палку и ждал. Пусть он не успеет или не сможет сорвать ни одного цветка, но лишь бы воссиял свет, ибо ничего нет превыше, когда земля лежит в темном безмолвии.

Коля приехал уже после восхода солнца и был каким-то помятым, всклокоченным — возможно, ночевал в машине. Он остановился неподалеку от стариков, сидящих у костра, подбочился.

— Что скажешь? — спросил Андрей Николаевич, не поднимая головы.

— Я хотел тебя послушать, — дерзко сказал внук. — После такой ночи есть что сказать.

— Есть, — согласился Андрей Николаевич. — Ты почему над старыми людьми издеваешься? Как ты посмел обидеть старика?

Внук переступил с ноги на ногу, хмыкнул:

— Не понял. Ты о чем, дед? Кого я обидел?

— А вот его! — указал на Деревнина Андрей Николаевич. — Или тебе уже все нипочем, если в начальниках ходишь?

— Его — обидеть?! — взвинтился Коля. — Да ты знаешь, кто он такой? Знаешь?

Деревнин сидел, нахохлившись, и мешал палкой угли в костре. Пепел и черная сажа — жгли резиновый баллон — поднимались вверх и оседали на дырчатую его шляпу.

— Знаю, — спокойно бросил Андрей Николаевич. — Он несчастный и одинокий человек. Ко всему прочему, в преклонных годах. Ты обязан был его пожалеть.

— Пожалеть! — тихо возмутился внук. — Пожалеть... Вы что, сговорились? Дед? Неужели ты?..

— Ну, а ты решил, мы в рукопашной сойдемся? — Андрей Николаевич помедлил и твердо добавил: — Николай, ты должен попросить у старика прощения.

Внук отступил к машине, присел на бампер и удивленно покачал головой.

— Да... Чтоб я у этой гниды?! Прощение?.. Он — убийца! Дед! Опомнись! Что ты говоришь? Ведь он расстреливал безвинных людей! Я все о нем узнал, все знаю!

Дряблая, иссеченная морщинами шея Деревнина гнулась, и покатые плечи, приподнимаясь вверх, торчали выше затылка. Обгоревшая палка бездумно ворошила уголь и густую, кипучую золу.

— А ты хоть можешь представить себе, сколько ям с трупами на территории монастыря? — каким-то утробным, крадущимся голосом спросил Коля, приближаясь к деду. — И это — его работа. Его!

Деревнин вдруг вскочил и, волоча за собой палку, бочком пошагал вниз по склону холма. Он все убыстрял ход и скоро уже трусил жалкой стариковской рысцой. Коля проводил его глазами и приступил к деду.

— Он сам, лично расстреливал! Свидетель есть. Я нашел очевидца! Сколько он людей сгубил?.. В яму, а потом густой известкой. Потом еще партию, и еще известкой. Пока доверху не набьют... Дед! Я привезу тебе очевидца! Сам слушаешь. И тогда...

— Не нужно никого ко мне возить, — отрезал Андрей Николаевич. — И все! Все! Занимайся своим делом, а старика больше не тревожь. И меня тоже. Слушать больше не хочу. И не буду!

— Почему? Ты же в лагерях был, и мать твоя... У них же целая технология была! Как на войне... Дед, почему?

— Да потому, что я все это знаю! — сдерживаясь, выдохнул Андрей Николаевич.

— Знаешь?!

— Знаю.

Коля присел перед дедом, чтобы видеть лицо и глаза, недоверчиво помотал головой.

— Не может быть... Откуда знаешь?

— Знаю. И не приставай больше.

— Не верю! Это ты говоришь, чтобы я отстал. Не верю!

— Что? Технологию рассказать? Как включали свет, когда перешагнешь порог конюшни? Как потом... — Андрей Николаевич оборвался на полуслове, сообразив, что и так наговорил лишнего. Коля приступил ближе, схватил деда за колени, потряс:

— Откуда?.. Скажи, откуда знаешь?.. Дед?! Почему раньше молчал? Почему ты всегда молчишь? Знаешь и молчишь!

— Потому что ты еще не дорос, чтобы слушать! — отрубил Андрей Николаевич. — И больше ни слова. Все равно ничего не скажу.

Внук медленно выпрямился и замер с опущенными, безвольными руками. Казалось, еще миг — и он расплечется.

— Все равно Деревнин — убийца, — наконец выдавил он. — Все равно...

— Я тоже убийца, Коля, — проронил Андрей Николаевич. — Суди и меня. Если взялся судить...

— Ты?.. Ты убийца? — Губы у Коли задрожали, на бледном лице проступил румянец, но тут же стерся, и выступила испарина. — Не поверю... Нет, не могу...

Андрей Николаевич тяжело поднялся с колоды и сделал несколько шагов прямо на поднимающееся солнце. Постоял, грея лицо, потыкал палкой землю и, опершись, обернулся.

— Я тоже, Коля, расстреливал. Пусть не своей рукой, но по моему приказу... Сорок шесть человек пленных. Сорок шесть душ... Всю жизнь перед глазами стоят.

— Пленных? — неожиданно ухватился внук. — Если пленных, значит, в войну? Скажи, дед, в войну?

— Нет разницы: война, не война...

— Как же нет? Есть! — Надежда появилась в его голосе. — То в войну, а то в тюрьме! В мирное время! Безвинных!

Андрей Николаевич потрогал звезды на погонах внука, одернул китель.

— Кто воевал на гражданской, все убийцы, Коля. Все в крови. Потому что убивали братьев. Все правы, и все виноваты. Убивали, чтобы победить. И обе стороны хотели победы. К убийству привыкли, потому и убивали в мирное время. Революция требовала жертвенной крови. И белые убивали бы, если бы победили... Мы все убийцы.

— Мне страшно, дед...

— Страхись, Коля. — Андрей Николаевич вздохнул и смерил внука взглядом. — Но не презирай людей. Их жалеть надо. Всех жалеть, всяких.

Коля поднял глаза, посмотрел в сторону, куда ушел Деревнин, и натужно покашлял.

— И таких?.. Неужели и таких? Не могу понять... Почему ты так говоришь, дед? Ты так думаешь или так хочешь? Мне кажется, ты через себя переступил. Не от сердца у тебя, от ума.

— От ума и от сердца.

— Как же ты можешь, дед? Он тебя в лагерях гноил, жена твоя в ссылке погибла. И мать всю жизнь сидела... А ты не трусишь? Перед ним? Ну, бывает же, психологический момент... когда из боязни льстят и не замечают?.. — Коля неожиданно взмолился: — Мне же за тебя, за вас всех обидно! Понимаешь, обидно!

— Ты должен забыть все обиды, — твердо произнес Андрей Николаевич. — С обидой в душе нельзя судить людей, а ты берешься... А если во вкус войдешь? И станешь мстить. За меня, за бабушку свою, за прабабуку... А?

— Но что делать? Что?!

— Прощать.

— Как? Зубами скрипеть и прощать?

— Сначала, может, и так, — проговорил Андрей Николаевич, глядя в растерянное лицо внука. — Народ поделили, Коля. На классы, на богатых и бедных, на друзей и врагов. Обидой ведь поделили, как дегтем вымарали... Как же теперь соединить людей? Чтобы снова стал народ? А прощением, Коля! Только прощением.

— Но это невозможно! — Внук потряс руками перед своим лицом, но устыдился отчаянного жеста, сник. — Сам подумай! Разве есть ему прощение? Перед людьми? Перед теми, кого он расстреливал?

— Значит, ты лишил его прощения? — тихо спросил Андрей Николаевич. — Вот так, взял и лишил того последнего, что остается у человека? Что даровано ему от рождения?.. Значит, у него и надежды никакой. Ну, а как теперь с ним поступить? К стенке его? В яму?

Коля перевел дух и неожиданно всхлипнул, словно после долгих слез еще не окрепло и не успокоилось дыхание.

— Должно быть возмездие, — упрямо сказал он. — Должно быть...

— Возмездие, — усмехнулся Андрей Николаевич. — Ишь ты, какое слово знаешь... Хорошо, уничтожим тех, кто расстреливал, набьем еще десяток ям, зальем известкой. Кстати, а чьими руками? Ты пойдешь в расстрельщики?

— Я?

— Ты, ты! Поднимется у тебя рука?

— На таких гадов поднимется! — отрезал внук.

Андрей Николаевич ссутулился, опершись на палку, рука сама собой нащупала шрам на лице, пальцы пробежали его сверху вниз — боль скривила рот и отяжелила щеку.

— Что же, карай. Можешь начать с меня.

— Дед, перестань!

— Карай, внучок! Во имя светлого будущего. Ради справедливости!

— Ну, при чем здесь ты?! — закричал Коля. — Если и был за тобой грех, так ты за него лагерями рассчитался. И не только за свой. И что за привычка сразу себя выставлять?

— А мне больше некого, Коля. — Андрей Николаевич вздернул плечи и остался так стоять, будто шел против ветра.

— Начинается, — отмахнулся внук. — С тобой стало невозможно разговаривать!

— Конечно, я выжил из ума... Тогда растолкуй мне, недоумку, чем ты-то будешь отличаться от Деревнина, если пойдешь карать? Если у тебя рука поднимется на старого человека?

— Я не собираюсь карать! — в возбужденной растерянности проговорил Коля. — Я говорю в принципе!

— В нем и дело. Нужен только принцип, причина, а потом стреляй сколько влезет. Это же просто: подвел к дверям конюшни, толкнул и включил свет, чтобы ослепить...

— погоди, дед! — Коля обнял Андрея Николаевича, прижался лицом к шраму на щеке. — Ты уже разозлился... И теперь будешь цепляться за слова. Я ведь не хотел с тобой ругаться. Ты меня должен понять... Я никогда не видел таких... Убийц видел, а таких... Приду в монастырь, представлю себе, как он... И ходит! И живет, сволочь! Неужели ты его прости?

— Простил, Коля, — признался Андрей Николаевич. — И жить нам надо теперь только так — простить все. Чтобы мне все простилось, чтобы я все простил. Не будет у нас такого дня Всепрощения — ничего не изменится. И снова загорится злоба, выплеснется обида и польется кровь. Когда же будет конец?.. И ты попытайся простить Деревнина. Простишь — человеком станешь.

— Не могу я, дед. — Он крепче обнял Андрея Николаевича, словно хотел спрятаться. — Перед глазами стена, люди и он...

— А ты попробуй, — попросил Андрей Николаевич. — Вспомни, какой он жалкий, несчастный... Приглядишься к нему и увидишь такое горе! Ведь он, Коля, без пути и без доли. Присмотришься, и не захочется тебе больше возмездия. Он несет самое страшное наказание; он не может разделить участь своего народа. Для него бы сейчас легче самому к той стене встать. Насильная смерть — это не путь для него. И суд — тоже. Он давно привык к насилию. Но твоё прощение станет ему началом пути. Дай ему возможность хоть перед смертью человеком по белому свету пройти.

— Я тебя совсем не понимаю, — сокрушенно проронил Коля.

— Сразу трудно понять, — согласился Андрей Николаевич. — Но ты доверься мне. И последуй совету. А потом все-все поймешь.

— Ладно, я прощу. Но как же те, которых он... Как они там, в ямах? Безвинные! — Коля отступил от деда. — Как перед их памятью? Имею ли я право такое? Да они там перевернутся в могиле!

— Вот если не простишь — перевернутся. Они безвинно пострадали, а потому сейчас как святые. Святые же, Коля, мученическую смерть принявшие, прощают всех нас, живущих, в миг самой смерти. И своих палачей прощают. Чтобы зла на земле убавилось. А ты сейчас злобишься и этим тревожишь мертвых.

— Я тревожу? — изумился внук и отступил еще на шаг. — Ну, дед, это уже ни в какие ворота... Да они, мертвые, просят мщенья! И пока эта тварь по земле ползает!..

Он не договорил, отвернулся, обидчиво закусив губу. А Андрей Николаевич еще чувствовал тепло и близость рук

внука, только что отнятых от плеч. Чувствовал и жалел, что оборвалась эта близость.

— Да, конечно, я не вправе учить тебя, советовать, — проговорил он со вздохом. — Потому что виновен перед тобой. И вины мне не искупить. Мы с тобой связаны, Николай. Не думал, что так крепко... Я хотел радости от тебя, но, видно, и этого мне не отпущено.

— Только не надо так печально, — буркнул внук. — И так на душе...

— Хорошо, не буду, — согласился Андрей Николаевич. — Хотя и в самом деле все очень печально. Неужели мы так и не научимся прощать?

Коля ничего не ответил. Потупясь, он разглядывал землю, вытопанную, сорную, и в глазах его, будто слезы, копилась обида. Наверное, он злился, что разговор с дедом оказался другим, не таким, как ему хотелось, и вместо уверенности в своей правоте получил одно разочарование. Ко всему прочему, дед будто еще больше отдалился и почужел. Андрей Николаевич чувствовал все это, но одновременно понимал и то, что внука сейчас не переубедить, не вразумить его, поскольку он уже шел по знакомому пути, на котором все постигается только мордой об лавку.

По-прежнему обижаясь, Коля сел в машину и запустил двигатель. И, ожидая, когда он прогреется, смотрел сквозь стекло пытливыми и одновременно безучастными глазами. Возможно, глядел на деда, а думал о своем.

— Неужели только в смерти будем прощать? — спросил Андрей Николаевич и пошел к машине. — погоди, так нельзя жить. Мы ведь катимся вниз, мы скоро одичаем, Коля!

Внук сдал машину назад и, очертив вокруг деда круг, поехал старой, когда-то наезженной, но уже зарастающей дорогой...

24. В ГОД 1938...

Скорее всего, сенбернара сняли бы с довольствия и расстреляли сразу же после первого случая, когда он проявил свой мягкотелый характер. Однако начальник лагеря оценил его способности ходить по следу и отыскивать спрятавшихся заключенных. Бежали на волю в основном таким способом: отчаявшийся просил товарищей прикопать его землей на дне канала либо в обваловке, и когда людей выводили с работ в лагерь, он выбирался на свет Божий и шел искать лучшей доли, чаще смерти своей. Однажды после работы по дну канала пустили сенбернара, и он в считанные минуты отыскал двух, зарывшихся в землю. Один успел выскочить и тем спасся; на другом оказалось больше земли, и пока он расшевеливал ее, стрелки взялись за лопаты и насыпали могильный холм. С той поры добродушного пса стали прогонять по каналу, по валам и дамбам каждый день. Он добросовестно отыскивал людей под землей и не мог взять в толк, что тем самым часто губит их. Он понимал одно — человек оказывался в беде, если находился под снегом или землей, и каждый раз с детской непосредственностью начинал раскапывать его; собака не могла изменить свою сущность, как хотели этого люди и как они меняли свою природу.

И еще одно качество сенбернара спасало ему жизнь. После побега мать Мелитина увидела свою спасительницу

только весной. Сенбернар линял, рыже-бурая шерсть свисала лохмотьями, и невыносимо чесалось тело. Мать Мелитина заманила его в прачечную, прочесала гребнем, приласкала, отдала свою пайку хлеба, а из шерсти напярла самодельной веретешкой большой клубок. Осенью она сделала спицы из куска колючей проволоки и стала вязать носки. Но когда довязывала последний, угодила на глаза начальнику лагеря.

— Из чего же ты носочки вяжешь, матушка? — спросил тот.

— Из ниток, батюшка, из шерсти, — ответила мать Мелитина.

— Где же ты такую шерсть взяла?

— Собачку почесала весной.

— Подари-ка мне носочки, матушка, — попросил начальник. — Ноги у меня ревматические и сырости не терпят.

У него и впрямь по весне и осени болели ноги. Да и как им не болеть, если слякоть такая, а он в резиновых литых броднях ходит? Подарила. И так начальнику понравились те носки, что он наказал весной снова почесать сенбернара и связать еще одни. Всю осень и всю зиму, как ни увидит мать Мелитину — нахваливает и нахвалиться не может. Заметно стало, будто подобрел он, отмяк. Стрелков поругивать начал, что те палят ночью почем зря, а наутро опять труп и нехватка рабочей силы. И то сказать, когда у человека тело от хворей мучается и веры нет настоящей те боли принимать с благодарностью, ожесточается душа. Весной мать Мелитина опять начесала линялой шерсти и связала новые носки. Старые же постирала, распустила и надвязала голяшки к новым — так и получились чулки. Начальник их год поносил, да и забыл, что такое ревматизм. Видно, человек он был не такой уж отпетый, оставалась в душе его благодарность, и вот он выскребал ее со дна и отдавал собаке. Дело в том, что кто-то из лагерников разбил камнем нос сенбернару, расхлестал так — страх посмотреть. Ненавидели его заключенные, не понимали собачьего горя. Начальник лагеря мог бы казнить бесполезного для розыска пса, мог бы устроить дознание и казнить изувера, но никого не казнил. А собаку жалел и приказал даже не топить ее щенят-полукровок — сука щенилась каждый год, а отдавать лагерницам, которым вот-вот на волю выходить. Полукровки сенбернара вообще никуда не годились — ни украсть, ни покараулить. Причем уточнил: надежным людям отдавать, чтоб не съели, наоборот, чтоб от своей пайки отщипывали и кормили щенков. Отсюда и пошла традиция: коль вручают кутенка — значит, скоро освобождение. Многие лагерницы и не знали своего срока. По расчету будто кончаться должен, но вызовут в канцелярию и объявят о продлении. Тогда и считать больше не хочется... Тут же сразу видно: кому щенка дали, тому и воля.

Весной тридцать восьмого стрелок-собачник принес щенка и матери Мелитине. Она не поверила, подкараулила начальника лагеря у ворот, спросила:

— Что же, батюшка, отпускаешь меня?

— Отпускаю, матушка, — сказал начальник. — Срок твой вышел. Через месяцок готовься. А за чулки тебе спасибо.

— Носи с Богом, — сказала мать Мелитина и взмолилась: — Батюшка начальник! Помоги и мне раны мои долечить. Поищи сыночка, пошли запрос. Он в

лагерях, да вот не знаю, в каких. А зовут Александр Николаевич Березин.

— По какой сидит-то? — Начальник стал записывать. — За что?

— А за что все сидят, батюшка...

— Постараюсь, — пообещал он. — Если жив — найду.

Потянулись дни ожидания как один бесконечный день. Мать Мелитина ночей не спала, молитвами спасалась да щенком. Щенок весь в мать удался, ничего от отцовской овчарочьей породы не взял. Да больно уж печальный был, не по-щенячьи серьезный. Через месяц вырос он с добрую лайку, и пайки хлеба одному ему не хватало. В то время матери Мелитине и кусок в горло не лез. И вот как-то утром зашел в женский барак надзиратель, кликнул по фамилии несколько человек, в том числе и мать Мелитину, велел собрать вещи, выдал проездные и к воротам повел. Открыл замок, выпихнул лагерниц и ворота захлопнул. Побежали женщины, словно от пожара, заревели, заголосили от радости. Мать же Мелитина осталась у ворот, кричит надзирателю через проволоку:

— Как же с сыночком-то моим? Начальник отыскать сулил!

— У него и спрашивай, — огрызнулся надзиратель.

До вечера мать Мелитина просидела у ворот, поджидая начальника лагеря. Вот уж заключенных с работ провели, а его все нет. Подозвала она стрелка, спросила.

— Не будет начальника, — сказал стрелок. — Ноги у него отнялись сегодня утром. В больничку отвезли.

Села мать Мелитина под столбик с колючей проволокой, да так и прокоротала ночь в обнимку со щенком. Неужто через собаку он человеком сделался? Коли здоровые ноги отнялись, едва мать Мелитина из лагеря вышла, знамо, наказание ему от Господа. Нелюдей-то Он не наказывает. Эвон стрелки на вышках на человеческие жизни зарятся, им хоть бы что, здоровей не сыщешь. Неужто собака след указала, где душа его, зарытая в землю, лежала?

Утром мать Мелитина поспрашивала у надзирателей, у начальника канцелярии, не знает ли кто, делался запрос на сына ее, Александра, или не делался. Однако никто об этом не знал и бумаги такой не писал. Не обманул ли начальник лагеря? Не посулил ли только для отвода глаз? Не исполнил зарок — вот и лишился ног...

Но Бог ему судья! Помолилась мать Мелитина на все четыре стороны, кликнула щенка и пошла от села к селу, от города к городу, от лагеря к лагерю — путем, по тому времени торным, знаемым, многими людьми пройденным.

Она была уверена, что найдет сына. Ей встречалось так много чужих людей, которые жалели странствующую монахиню и тайком, чтобы никто не слышал, убеждали:

— Не ходи, матушка, не ищи. Где же ты найдешь, коли весь народ перепутали и до сих пор гонят его с места на место, мешают, будто орехи на сковородке? Отступись, жив останется, так сам придет. Ты, матушка, ступай домой и жди.

Мать Мелитина противилась:

— Нынче каждый человек на счету. Во всех лагерях карточки пишат, все на виду живут. Да нынче человеку и невозможно потеряться.

— Ведь саму арестуют, — жалели встречные. — Теперь запрещено странствовать, статья есть.

— У меня бумажка есть! — радостно отвечала она и показывала бумагу. — Вот же, все написано: лагеря я прошла...

— А не боязно тебе, матушка? — страшились люди. — А ну как опять заберут? И собачка у тебя эвон какая подозрительная... Не дай Бог залает, на кого лаять нельзя. Боязно...

— Не лает у меня собачка, — признавалась мать Мелитина. — Безголосая она, немая. Мы ведь с ней совсем безвредные, как трава при дороге.

Передвигались они больше всего на поездах. Проводники пускали в вагон на один прогон между станциями — дальше мать Мелитина и не просилась.

Добравшись до очередного лагеря, мать Мелитина садилась у ворот и поджидала какого-нибудь начальника. Сенбернар же тем временем прятался, поскольку больно уж на него зарилось лагерное начальство, отнять хотели. Если не удавалось сразу узнать, нет ли здесь сына, мать Мелитина ходила вокруг и окликала:

— Саша! Андрюша!.. Саша! Андрюша!

Заключенные бежали к проволоке, отзывались:

— Мама! Маменька!

И все до одного были чужими, но так похожими на сыновей, что замирала душа и останавливалось сердце. Стрелки отгоняли ее то словом, то выстрелом, однако тронуть не смели, и случалось, сами отзывались, словно потерявшиеся ягнята:

— Мам-моч-ка...

Иногда ее впускали в лагерную канцелярию, усаживали на вытертые черные скамейки и заставляли ждать. Она терпеливо ждала, молилась про себя, чтобы потом выслушать короткий приговор:

— Александр и Андрей Березины за лагерем не значатся.

Не значились они ни в уфимских, ни в уральских лагерях. Мать Мелитина не отчаивалась, напротив, становилась тверже и лишь благодарила Бога. За Уралом лагерей пошло гуще, и когда идешь от одних ворот к другим, то чудится, будто всю Сибирь опутали колючей проволокой. Тут ни один человек не потеряется, все в кучи собраны, на всех карточки есть, и мимо сына уж никак не пройдешь. Вольного народа совсем мало увидишь. Пассажирские поезда полупустые ходили, и если пускались в дорогу по такой непогоде, то больше люди военные, командировочные, казенные. Остальные по своим домам сидели и жили тихо, а когда случалось подниматься на крыло — праздник какой или свадьба, то летали, словно летучие мыши в вечерних сумерках. Бывало, трудно отличить, где вольные, а где заключенные: на работу по гудкам ходят. Первый гудок — вставать пора, второй — из дома выходить, третий гудок — последний. Не успел через проходную на завод или в шахту — наказание тебе. Один раз еще простят, другой раз штраф дадут, потом суши сухари и на работу ходи под конвоем, коли нет в тебе самостоятельности. Люди уже не противились такому порядку, и, слышала мать Мелитина, многие хвалили его. Как же иначе-то коммунизм построить и капиталистам нос утереть без дисциплины? Когда, мол, построят его, тогда легче и веселее жить станет. А за светлое будущее и потерпеть можно. Однажды мать Мелитина попыталась вставить свое слово, дескать, если по-скотски жить всю жизнь, то потом любое облегчение светлым будущим

покажется. Человек вот выйдет из лагеря, так ему и нынешняя жизнь раем чудится. Но светлая ли она?.. Говорила — и чувствовала, как зреет в людях возмущение и ненависть к ней, того и гляди, крикнет кто-нибудь — враг народа! И запрут опять в лагерь. Ей же сына искать надо, о духе и вере его молиться. Отступилась мать Мелитина. Что толку в слове ее, коль люди, глядя на солнце, вконец ослепли и не видят, куда ступают и что топчут их ноги? Наверное, так писано в Книге судеб народов — побыть незрячими, чтобы потом настоящий свет увидеть. Не познав темноты, познаешь ли Свет? На все воля Божья и промыслы Его.

Сказано было — за сына молиться.

К зиме тридцать восьмого приехала мать Мелитина в город Омск. Побродила по вокзалу с собакой, приглядела колонну заключенных, что вывели из вагонов, и пошла следом за ней, держась на расстоянии. Сенбернар жался к ногам, скулил: боялся, однако шел, словно и его под конвоем гнали. Прошли они так до окраины города — уж степь завиднелась впереди, но сенбернар вдруг схватил мать Мелитину за подол и потянул назад.

— Да что же ты, батюшка? — спросила она. — Куда зовешь? Нам за мучениками идти надобно, они лагерь укажут.

Сенбернар лег на трамвайные рельсы, заплакал. Уговаривать же его некогда — колонна уж из виду пропадает. Побежала мать Мелитина за ней, а пес заметался: то догонит, то ляжет, то заскулит-заплачет, потом и вовсе куда-то спрятался. В другой раз она бы не оставила его так, позвала бы, хлебушка дала, успокоила. Тут же бежит, и в глазах темно. Сама чуть не ревет, руки дрожат, и чудится, будто где-то далеко-далеко жаворонок поет в холодном небе. Трамвайные рельсы выкатились из города и потянули в степь, на какую-то стройку. Красные трубы в лесах, красные корпуса, а рядом множество бараков и дым над крышами вьется. Колонна заключенных остановилась, и когда мать Мелитина приблизилась к ней, то разглядела изгородь из колючей проволоки, слабую, в один ряд. Издалека и не подумаешь, что это лагерь. Людей пересчитали, пропустили в ворота и захлопнули перед матерью Мелитиной. Окликнула она начальника, что принимал заключенных, однако тот и выслушать не захотел — больно уж занятой; к часовому же без толку обращаться, на посту разговаривать запрещено. А жаворонок между тем все слышнее и слышнее звенит над бараками!

Мать Мелитина огляделась и поднырнула под проволоку. Стрелки днем плохо сторожили, заключенные, видно, на стройке работали, кроме тех, что привели, и нет никого. Заметила она, что начальник вошел в крайний барак, выждала и отправилась следом. В бараке карточки на новеньких писали, головы некогда поднять — вон сколько работы прибыло! И спросить некого. Мать Мелитина притулилась возле столба, прямо напротив начальника, однако ее словно и не видят. А жаворонок заливается над лагерем!

— Батюшка, я сыночка ищу, — сказала она, потеряв терпение. — Будь милостив, скажи, нет ли у тебя моего сына?

Начальник вытаращил глаза и грозно наморщил лоб.

— Кто такая? Па-ачему здесь?

— Сыночка ищу, соколик, сыночка! — просительно

вымолвила мать Мелитина. — Смилуйся, погляди в карточках. Березин его фамилия...

— Убирайся отсюда! — закричал начальник. — Нет тут никаких Березиных! Не лагерь, а проходной двор, честное слово!

— Как же нет-то? — изумилась мать Мелитина. — Что же тогда жаворонок поет?

— Какой — жаворонок? — растерялся было тот и прислушался. Вольнонаемные писаря подняли головы от карточек, уставились на мать Мелитину и тоже будто прислушались.

— Птичка такая, — пояснила мать Мелитина. — Слышу, здесь он. А зовут Андрей Николаевич. Или Александр Николаевич.

Начальник вскочил и показал на дверь.

— Пошла отсюда! Уберите ее с территории!

— Не гони, батюшка, погляди в карточках! — взмолилась она. — Все равно не уйду, пока не узнаю. У тебя он, ты проверь!

Худенький стрелок, парнишка еще, взял мать Мелитину за локотки, подтолкнул к двери:

— Иди, баушка, иди!

А сам так смотрит, будто выманивает ее глазами. Повиновалась мать Мелитина, вышла. Стрелок же все дальше, к воротам толкает и шепчет:

— Здесь он, здесь... Я его знаю... На поселке работает, по утрам из лагеря ходит...

Мать Мелитина взяла его руку, опустилась на колени, стала целовать, прижимаясь лицом. Стрелок смутился, но руки отнять не посмел.

— Встань, баушка, — зашептал, озираясь. — Увидят люди, встань.

— Укажи, где он? — спросила мать Мелитина, не отпуская руки.

— В школе, на поселке он, — чему-то радуясь, сказал стрелок. — Детей учит... Иди к нему! Там и повидаешься, на воле.

Подвел он мать Мелитину к воротам, рассказал, как найти тот поселок, и выпустил из лагеря.

— Отцу-матери поклонись, — сказала она на прощанье.

Откуда-то вывернулся сенбернар, взвизгнул пощеньячи весело, потянул за собой, причем в сторону поселка. Поначалу мать Мелитина и в ум не взяла, подумала о собачьей радости как о своей: она сыночка нашла, сенбернар хозяйку. Но на окраине города сбилась с пути, заплутала среди улочек и домиков-засыпушек, только хотела спросить дорогу к поселку, как пес прыгнул на грудь, лизнул в лицо и позвал куда-то в сторону. Прошла мать Мелитина за собакой с версту и очутилась на трамвайных путях. А там, в конце их, и должен быть поселок.

— Веди, веди, батюшка, — тяжело дыша, попросила она. — Волей твоей Господь нас ведет...

Поселок, как и лагерь, весь состоял из бараков, поставленных в ряды. На вид казался маленьким, но когда вышла мать Мелитина на центральную улицу,глянула вдоль нее — поселку конца и края нет. Кажется, вся степь бараками застроена. И вроде новые, а будто в землю выросли, до чего низкие. Вдаль посмотришь — чудится, одни крыши на земле стоят. Кругом пусто, хоть бы один человек навстречу попался, и ни скотины, ни курочки. Темные окна без занавесок, бельевые веревки пустые ветром качает —

то ли не жилой поселок, то ли попрятались люди. Но вот же тропки по снегу натоптаны, там детские следы, словно птичьи крестики...

И дыма нет над шеренгами труб.

Тихо, как на старом, заброшенном кладбище. Тут и жаворонок умолк, хотя всю дорогу позванивал в морозном небе.

Остановилась мать Мелитина, огляделась беспомощно — куда идти? Однако сенбернар схватил за подол, дернул сердито, потащил вперед.

— Здесь ведь и людей нет, батюшка, — пожаловалась она. — Куда же ведешь меня, Господи?

И случилось неожиданное. Сенбернар отскочил на трамвайные рельсы и залаял. Густой, гортанный голос его откликнулся эхом, стряхнул оцепенение, и откуда-то с параллельной улицы послышался курлыкающий гомон. А через мгновение на трамвайные пути высыпали дети. Орава рассыпалась, растеклась вдоль бараков, и мать Мелитина не успела даже рассмотреть лиц. Перед глазами мелькали совершенно одинаковые спины в великоватых телогрейках, суконные шапчонки на оттопыренных ушах да пимишки с завернутыми голенищами. Дети были похожими друг на друга, как и бараки, как темные окна и трубы на крышах.

Сенбернар же, овладев голосом, трубил теперь на весь поселок, задрал морду в небо.

Она увидела Андрея в устье переулка, откуда только что выбежали ребята. Он шел медленно, засунув руки в карманы, смотрел по сторонам и улыбался. Почему-то он показался матери нескладным, неказистым, словно болезненный подросток: детская суконная шапка едва прикрывала затылок, рукава телогрейки были по локоть, однако шрам на бритом лице разглаживался и скрадывался в морщинах улыбки.

Андрей остановился возле трамвайного пути, поглядел в обе стороны и увидел сенбернара. В тот же миг пес сорвался с места, в несколько прыжков достиг Андрея и прыгнул к нему на грудь. Андрей пошатнулся, сдерживая равновесие, засмеялся и обнял собачью голову.

— Сашенька! — окликнула мать Мелитина.

Андрей встрепнулся, пошел навстречу. За спиной матери Мелитины послышался низкий, дребезжащий грохот.

— Маменька...

Спаренный трамвай остановился рядом с ними, распахнулись двери, но в первые секунды никто не выходил. В переполненном чреве трамвая было так тесно, что на площадках образовались плотные пробки и требовалось выбить из них хотя бы по одному человеку, как выбивают клинья из сапожных колодок.

— Вот я тебя и нашла, — сказала мать Мелитина.

— Маменька, — повторил Андрей, улыбаясь.

Клин выбили, и народ, словно камнепад, посыпался с площадок на землю. Задние напирали, передние не успевали перебирать ногами и падали с подножек, расползались в стороны, чтобы не топтали. Хохот и веселье на снегу напоминали гулянку на светлый праздник масленицы. Только вот одеты были бесцветно: серые ватники, суконные шапки, и смеялись сквозь серую усталость на лицах.

— Вижу, успокоилась душа твоя. — Мать Мелитина сняла шапчонку с сына, погладила рукой стриженную наголо, колючую голову. — Достанет ли силы понести крест?

— Достанет, — проронил он. — Я, маменька, теперь в школе работаю. Детей учу. Ты помнишь, я учитель.

Люди разошлись, и опустевший трамвай зазвонил, заскрежетал колесами по мерзлым рельсам, и сноп голубых искр окропил снег. Сенбернар вздыбил шерсть на загривке, зарычал и обнюхал место, где растворился огонь, заскулил с щенячьей беспомощностью.

— Я тебя ждал, — признался Андрей. — Мне было так плохо...

— Знаю, сынок, не говори. — Она дотронулась до его сухих, обветренных губ. — Но тебе и сейчас тревожно. Ты плачешь по ночам. Что тебя мучает?

— Скажу! — Глаза его поблекли. — У нас есть время. Трамвай развернется на кольце, и мы поедем. Назад он идет тихо, и мы успеем поговорить.

— Хорошо, Сашенька, — согласилась мать Мелитина, поглаживая пальцами шрам на лице сына.

— Я Андрей, маменька, — проговорил он. — Андрей... Вот же шрам.

— Разве ты не брал имя брата? — спросила она. — Ты ведь просил у меня позволения.

— Брал... — признался Андрей. — И позволения просил. Я с его именем встал на ноги. А пошел со своим. Саша мне подняться помог. Он меня будто заслонил и избавил от чужой воли. Теперь я сам пойду. Только ты прости меня, мама, что потревожил покой брата.

— У брата прощения проси, — посоветовала мать Мелитина. — Да он тебя простил. Он знает больше, чем мы с тобой. Беседуй с ним чаще, разговаривай. Он услышит тебя. Это я глухая и слепая. Ему же все ведомо и зримо. Верь брату и слушайся каждого слова его.

— Как же я услышу? — спросил Андрей. — Что мне нужно сделать?

— А что ты делал, когда желал пути? Когда хотел веры?.. Держись теперь за эту ниточку и зови к себе брата. Он тебя не оставит и поможет нести крест. Он умер мучеником, а души их помогают жить живым. Открой глаза свои и погляди, сколько Ангелов над тобою. Тебе казалось, ты один на земле остался, сиротою живешь. Нет! Всмотрись — и увидишь, что над головою не только одни черные птицы. Вся твоя родова, и все твои заступники. За какое дело бы ни взялся ты — воевать ли, детей ли учить — они с тобой. И старший среди них — твой брат, который и света не видел еще, и имени которому пока нет.

— О чем ты говоришь, маменька? — испугался Андрей.

Трамвай покатился по кольцу и, осыпая землю огнем, загрохотал к остановке.

— Говорю, о чем мне известно, что открылось, — твердо проговорила мать Мелитина. — Ты же слушай... Весь Род над тобою собрался. Те, кто жил, и те, кто не жил. И горе им всем, когда ты не ведаешь, что творишь, но радость, если на путь встал. А потому помни всегда о Роде своем, помни: ты его посланник на земле.

— У меня же есть дети, маменька! — взволновался Андрей. — Иван, Петр, Люба... Я тебе все-все расскажу!

— Хорошо, сынок, что есть дети, — перебила мать Мелитина, будто ей было и неинтересно знать о внуках своих. — Но есть и ты! Ты старший нынче на земле. Дети твои и внуки за тобой пойдут. А потому держать тебе ответ перед теми, кто за тобой, и перед теми, кто еще не родился.

— Знаю, маменька! — закричал Андрей сквозь трамвайный грохот. Я знаю теперь, кто я! Значит, я

заложник! Заложник, маменька! За всех, кто был и будет. За Оленьку, за брата, за детей. И за тебя! И пока я в заложниках, с вами ничего не случится. Мне хорошо, маменька! — Он засмеялся. — Вот они, мои Леса! А я искал, искал... И до смерти останусь заложником! Не отнимут! Не лишат!

— Я рада, рада, что утешилась душа твоя! — призналась мать Мелитина. — Ступай, ступай с Богом!

То ли не расслышал Андрей, то ли хотел еще что-то спросить — иссохшие его пальцы ловили руки матери, а в глазах стояла печальная надежда, — однако не успел. Трамвай резко затормозил, и покореженная людьми дверь отворилась, обнажив темное чрево вагона. Сенбернар бился у самых ног, будто хотел оттолкнуть мать от сына.

— Чего, приглашения ждете? — окликнула их кондукторша с брезентовой денежной сумкой на впалой груди.

— Идем, мама! — позвал Андрей и, наконец, поймав руку матери, повлек ее за собой. — Мне нельзя опаздывать! Другой трамвай будет через час.

Андрей подсадил ее на площадку, и в этот миг сенбернар сделал прыжок и очутился возле кондукторши. Та испуганно отпрянула, и билетная катушка, вылетев из руки, покатилась, разматываясь, по вагону. Андрей наклонился за ней, однако катушка убегала из рук, словно живая.

— Хулиганство! — опомнившись, закричала кондукторша. — А ну-ка уматывайте вместе с собакой!

Андрей подхватил катушку билетов, начал сматывать ее, торопливо забормотал:

— Простите, простите, ради Бога...

Мать Мелитина стояла у двери, опустив голову, а сенбернар лизал ей руки. Кондукторша выхватила катушку у Андрея, выпалила гневно:

— С собаками проезд воспрещен! Выметайтесь!

— Не гони нас, голубушка, — попросила мать Мелитина. — Я сыночка вот нашла...

И тут же замолкла: слова ее взбесили кондукторшу.

— Не положено! Вам русским языком сказано! Не то милицию вызову!.. Господи, ни днем, ни ночью от вас покоя нету! Понавезли сибулонцев проклятых!

Сенбернар выскочил на улицу с виновато потупленной головой.

— А мы с тобой пешком пойдем, сынок, — сказала мать Мелитина. — Недалеко тут... На ходу и поговорим.

— Мне нельзя опаздывать, мама! — взмолился Андрей. — У меня отнимут пропуск... Не пустят в школу!

— Тогда поезжай. — Мать Мелитина обласкала его взглядом. — Поезжай с Богом. И помни, что сказано было.

Андрей бросился за ней, удержал на ступенях.

— Но я не успел сказать!.. Дети у меня, маменька, семья... Они в ссылке, в Михайловке! В Северном Казахстане, на Ишиме... Помогите им выжить, маменька! Помогите, пока я здесь... У меня душа разрывается! Помогите! Пропадут!..

— Очисти вагон! — требовала кондукторша, комкая билеты. — Даю отход!

— Помогите, езжай. — Мать Мелитина поцеловала Андрея в лоб и сошла на землю. — Я за тебя спокойна. Только помни...

Дверь с грохотом затворилась. Андрей метнулся к окну, побежал по вагону, набирающему скорость. Хорошо, что

Мать Мелитину осыпало синими искрами.

— Как же ты?.. — по движению губ Андрея угадала она. — Как ты живешь?..

Сенбернар рыл лапами снег и щерился на этот мертвый холодный огонь...

25. В ГОД 1970...

С осени Андрей Николаевич еще надеялся и верил, что внук приедет. Перебесится, перемелет обиду и явится вместе с женой и сыном, чтобы ублажить деда. Все-таки, березинская порода: как бы ни разошлись во взглядах, а родная кровь потянет и приведет к миру. Ведь когда-то с братом Сашей вон как далеко расходились, казалось, вовек пути не сойдутся, но после размолвки лишь теснее жались друг к другу и делили по-братски одну-единственную долю. Да если рассудить, то не обида встала между ними тогда на холме — человек, ищущий прощения. И теперь этот человек, наверное, стоит перед Колиными глазами и молит — прости, прости меня! Он убийца, палач, некогда хладнокровный зверь в образе человеческом. Наверное, он таким и останется до самой смерти; скорее всего, ему и не важно, вымолит ли он прощение себе хотя бы у одного человека на этом свете, прежде чем встать перед Судией. Простить его надо ныне живущим! А этого как раз и не может понять Коля, и ему видится благородство в своей сердечной твердости. Но с кем он взялся тягаться, неразумный! Чье сердце скорее изложет злоба? Какое ей больше по зубам: каленое в чужой крови или по-юношески горячее от собственной? Неужели нужно пройти дорогу длиною в целую жизнь, чтобы лишь к концу ее понять такую простую истину: зло тем и живо, что стремится к размножению, подобно чертополоху, занимающему каждый кусочек невозделанной земли. А как заполонит он пустыри, наберет семенную силу — тут и пашне несдобровать. И рядится сорная трава под хлебный колос... Неужели одна из истин, еще Христом заповеданная — непротивление злу насилием, — открывается лишь к смерти, когда пройден полный Круг? Неужели, пока человек идет по этому Кругу, ему недоступен высший смысл заповеди и он так и будет воспринимать только ее внешнюю суть? И чаще отрицать в своей слепоте. Ведь посмотришь на иное болото — грязь, топь, гниль да тяжелый, смрадный дух, и невдомек, что именно из этого болота берет начало Великая Река с чистейшей, святой водой...

Прощать! Прощать, ибо прощение зла — это как крестное знамение для нечистой силы. Почему же Коля не может понять, что любой палач — будь он живым или мертвым! — только того и жаждет, чтобы его ненавидели, пока ходит по земле, и предавали анафеме память о нем после смерти. Таким образом он стремится к вечности! И сеет, сеет черное семя! А там, где ненавистью сдобрена земля, только зло взойдет...

Думая так, Андрей Николаевич все-таки ждал внука и накануне выходных дней метался от окна к окну: не загудит ли машина, буксуя по грязной улице, не покажется ли милицейская шинель среди одетых в кожушки и ватники колхозников, бредущих с работы. После распутицы, когда застыла хлябь и снег прикрыл бесстыдство изнасилованной тракторами земли, Андрей Николаевич снова стал

приходить на холм и ходил, пока не намело сугробов на пути. Со стороны Нефтеграда ехали грузовики, конные подводы, изредка пролетали вертолеты, и Андрей Николаевич на всякий случай всем махал рукой. Вместо Коли он дождался долгой, в две недели, пурги, а когда посветлело, выбрался из дома и не смог открыть калитку, зажатую сугробом. После метели навалились парные морозы, залившие окна толстым, молочным льдом — ни щелки, ни глазка в свет Божий, а потом снова заметелило, и гулкий серый ветер довершил дело: Андрей Николаевич однажды утром потолкал дверь, но ее словно подперли снаружи. Поначалу расстроился и хотел было выйти на улицу через завозню на повети, давным-давно забитую на самоковные гвозди, однако невольное это затворничество наваяло тихую радость. Вдруг вспомнились тихие и покойные дни жизни во времена Великого Забвения, причем так явственно, будто и не было ни условного расстрела, ни лагерей и ссылок. Показалось, вернется он сейчас в избу, а там — дети: Иван, Петр, Люба, Лиза, Лена. И Любушка... Ведь было так, было! Зимы в Забвении выпадали снежные, буранные, и случалось, по неделе сидели в доме, да и не было нужды выходить на улицу. Все во дворе, под крышей. Выйдешь дать сена коням и коровам или за водой в колодец, послушаешь, как свистит вездесущий ветер, и чудится, будто дом твой один стоит во всей Вселенной. И даже не стоит, а несется куда-то, как своя собственная планета. То были мгновения настоящего счастья, ибо уже ничего в этом мире не хотелось. Лишь бы дом не сошел со своей орбиты да не выстудился ветром. Управившись по хозяйству, Андрей Николаевич рассаживал детей вокруг обеденного стола и начинал урок. В буранные дни другие дети не приходили, и учение шло узким семейным кругом. Скорее всего это было даже не учение, а игра в школу. Андрей Николаевич раздавал берестяные тетрадки по чистописанию, выводил на доске углем буквы со всеми вензелями и завитушками и, становясь строгим, придирчиво следил, как трудятся его ученики. За чистописанием обычно шла арифметика, затем русский язык, естествознание, французский язык, и когда детские руки уставали от письма, начинался самый главный урок — история. Дети ждали его и совершенно справедливо полагали, что все другие предметы существуют и служат для этого одного урока. Они воспринимали историю как одну бесконечную сказку, в которой все выдуманно и на самом деле никогда не было, да и быть не могло. Впрочем, и сам Андрей Николаевич, прислушиваясь к своим словам, тоже верил в сказку: считанные годы Великого Забвения состарили историю, на века отодвинули события недавнего прошлого и выбелили их, как солнце выбеливает холсты. Однако кончалась метель и вместе с ней такие короткие и такие бесконечные минуты счастья. Андрей Николаевич выходил на улицу разгребать снег, ехал за сеном, и пространство как бы выветривало волшебство замкнутого мира. Иногда он останавливался и подолгу глядел вдаль: где-то там существовал другой мир, неведомый и сказочный для детей, родившихся в Забвении. И тогда тревога охватывала сердце. Дети старательно учили уроки, выдавливали палочками буквы на бересте, читали собственноручно написанные Андреем Николаевичем тексты, лопотали по-французски, но никто пока еще не спросил, зачем все эти науки? Они принимали мир таким, какой он есть, и пока еще верили учителю. Но сам

учитель, оставшись один, начинал ощущать бессмысленность этой игры в школу. Близок тот час, когда дети спросят не только о предметах, а и о том, каков же тот, другой мир, лежащий по ту сторону засеки. И придется их учить заново, придется ломать то, что уже выстроил в их доверчивых душах.

И в тот бы миг навсегда рухнуло блаженство Великого Забвения.

Но другой мир ворвался раньше, и вопросы еще не успели вызреть в детском сознании, как на каждый уже загодя был преподнесен жесткий и непререкаемый ответ. Загадки мироздания не существовало больше ни для учеников, ни для учителя. История перестала быть сказочной, и с первого же дня почувствовалась вся тяжесть ее земного притяжения. Дети оказались беззащитными перед большим миром, и Андрею Николаевичу открылась вся бессмысленность его уроков по курсу начальной гимназии. Хватило бы одного-единственного предмета — Закона Божьего. Но чтобы учить ему, следовало пройти свой Путь.

И все-таки было, было счастье Забвения!

Теперь, в глубокой старости, жизнь как бы еще раз позволяла Андрею Николаевичу испытать его. Пусть ненадолго и не в той мере, пусть условно, в воображении, но до чего же тепло на душе, если прикрыть глаза и, слушая ветер за стенами, вновь очутиться в безмятежном Забвении!

Он не стал откапывать ни дверей, ни ворот, напротив, затворился на крюк и стал жить с закрытыми глазами: все равно дни были короткими, серыми, а ночи длинными. Сначала он отрывал листки в календаре и заводил настольные стеклянные часы, однако скоро сбился со счета дней и потерял ощущение времени, когда остановились, сомкнувшись на двенадцати, все стрелки. Правда, время от времени кто-то невидимый подбирался по сугробам к окну, стучал в замороженное стекло и спрашивал бесцветным от холода голосом:

— Николаич? А Николаич?.. Ты живой там, нет?

Андрей Николаевич сердился — ведь идет же дым из трубы, значит, живой. Неужели не видно? И все-таки приходилось отвечать, не узнавая и своего голоса. "Это другой мир стучится ко мне, — обманывал и успокаивал себя Андрей Николаевич. — Как хорошо, что я не вижу его. А может, его и нет? Может, он больше не существует?" Когда на улице теплело и оттаявшие крошки стекол в окнах начинали "плакать", он меньше топил, чтобы заморозить "слезы". Это призрачное забвение напоминало сон: то слышалось ржанье лошадей в конюшне, то шаги на повети, где Любушка обычно сновала зимой. А то вдруг доносился детский смех и топот босых ножек по полу. Андрею Николаевичу хотелось продлить мимолетные сны, и, застигнутый ими за каким-нибудь делом, он замирал и будто впрямь засыпал. Постепенно отшелушились и обсыпались с души заботы, терзавшие с осени, забылись думы о внуке, и больше не тянуло к окну, когда мимо проезжала машина.

Мир за стенами дома был таким же призрачным и почти нереальным, как и внутри него.

И время остановилось. Андрей Николаевич почувствовал это, когда однажды, выйдя во двор за дровами, увидел, что белая снежная лента, вползающая сквозь щель на поветь, неподвижно застыла в воздухе,

словно сотканная из холста. Он склонился над этим метельным свищем, принесшим под крышу уже порядочный сугроб, хотел потрогать руками, однако белая змейка шевельнулась и медленно поползла вспять, на улицу, вытягивая с повети гребешок снежного заструга. Вместе с ней покатилося назад и время...

Когда он вернулся с дровами, то обнаружил в избе только что зажженную лучину. Огонек еще не разгорелся и лишь вылизывал самый кончик, почти не давая света. Андрей Николаевич сложил в печь дрова, приготовил растопку и, потянувшись за горячей лучиной, оцепенел с протянутой рукой.

У светильника сидела Альбина с куделькой на пряслице и пряла тонкую белую нить. Веретено, наполненное в четверть тугим серебристым коконом, приплясывало у ее ног и жужжало майским жуком.

— Откуда ты здесь? — тихо спросил Андрей Николаевич. — Почему?

— К тебе пришла, — не отрываясь от работы, промолвила Альбина.

Она была совсем молодой, даже юной — как тогда, в стожарах под скирдой сена. Белая рубаша, стянутая шнурком на груди и широкая в рукавах, чем-то напоминала лебединое оперение: когда поднимались ее руки, чудилось, будто разворачиваются крылья.

— Что ты делаешь здесь? — невпопад спросил он.

— Видишь — пряду, — похвалилась Альбина. — Погляди, какая нить тебе тянется. Белая-белая! Да тонкая — пальчики режет!

— Это судьба мне такая?

— Отчего же судьба? — засмеялась она. — Вот напряду белой пряжи да сотку тебе рубашку к свадьбе. И черным крестиком вышью.

— К моей свадьбе? — изумился Андрей Николаевич. — Да ведь я женат. И венчан! И дети, и внуки есть! Я же старый!

— Вот и хорошо! — обрадовалась Альбина. — Теперь со мной повенчаешься. Долго я тебя ждала...

Лучина разгорелась, высветила пол-избы, и огонь ее привел Андрея Николаевича в чувство.

— Но тебя нет! Говорили, ты сгорела в пожаре, когда горел Есаульск. Говорят, в огонь пошла...

Альбина снова засмеялась и, пустив веретено по полу, обмотала нитью ноги Андрея Николаевича, потянула к себе.

— Мне ни в огне не сгореть, ни в воде не утонуть! Я — вечная!

— Но я не вечен и жизнь прожил, — сказал Андрей Николаевич, чувствуя, как суровая нить режет икры ног. — Не знаю, сколько отпущено, но конец недалеко...

— Далеко, далеко! — пропела Альбина. — Мы с тобой поженимся и детей нарожаем, семерых.

— Все уже было: женитьба, дети...

— Жена твоя тебе не пара!

— Но перед людьми и Богом — жена.

— Она моих детей рожала! — вдруг закричала Альбина и натянула нить. — Моих! Она рожала, а я в муках корчилась! Мне только муки достались! И тебе — муки.

— Я не жалуюсь, — смиренно проронил он. — Жить заложником — благо. Только бы знать, что не впустую. Кому-то суждено рожать, а кому-то в муках корчиться за рожениц.

Альбинка опустила крылья, и прекратилось течение

нити, хотя веретенце все еще жужжало возле ног, набрасывая петли. Андрей Николаевич увидел, что постепенно обрастает белым коконом. Серебристая седая пряжа обволокла его по пояс, а сама юная пряжа повзрослела на глазах и стала такой, какой встретишься зимой восемнадцатого года. Вместо рубахи оказался кожушок, полушалок на голове, а лицо серое в предрассветных сумерках, лишь глаза светятся. На пряслице же вместо кудели — вязанка сена, однако нить все равно выбегает из-под пальцев белая и суровая.

— Освобожу тебя от мук, — замерзшими губами проговорила Альбина. — Ты же был червем и ползал по земле. Но пробил час! Я заключу тебя в кокон. А весной ты снова станешь мальчиком. И будет тебе другая доля.

— Не хочу, — вымолвил он. — Потому что все повторится. И волшебство не спасет.

— Я же выпряду тебе другую судьбу!

— Но тебе же известно будущее! — Кокон уже стягивал живот и подползал к груди, нити мешали дышать. — Разве ты не видишь, что все-все на свете повторяется! От деда — к внуку. Я искал себя в детях, а доля моя внуку досталась! Если можешь, освободи его от мук. Ему другую судьбу выпряди.

— Не могу, — сказала Альбина. — Не властна... Мало знать будущее, и чар моих для этого мало. Изменить долю только любви по силам. И потому власть моя лишь над твоей жизнью.

Суровая нить сновала у самого горла, веретенце набрасывало крепкие петли, но они не душили, как и весь кокон, а будто вытягивали и строжили тело, словно тугие детские пеленки.

— Хочешь, я сделаю тебя вечным? — вдруг прошептала она. — И ты сам, сам узнаешь, что станет с людьми и миром! Тебе откроется то, что никому не ведомо: откуда берется огонь и свет и куда он потом исчезает. А разве ты не жаждал знать, кто правит миром?.. Ну, одно твое слово, и начнется бесконечный путь.

Веретено замерло у ноги, занесло петлю над головой — возможно, последнюю, чтобы завершить кокон.

— Нет, я хочу умереть, — сказал Андрей Николаевич. — Я прожил свою вечность.

Она как-то сразу постарела, сгорбилась, и на ввалившейся щеке проступила родинка со щеткой волос.

— Что же, — проронила Альбина тихо и сокрушенно. — Отпускаю тебя. Но отныне ты будешь знать свой смертный час. Ты умрешь через пять месяцев и двенадцать дней.

В тот же миг застучали часы на столе и обсыпались на пол неоторванные листки календаря, обнажив число — двадцать пятое декабря. Облегавший тело кокон сжался, потом затрепал, как раздражаемая паутина, и невесомо развалился на две части, словно створки раковины. Андрей Николаевич заметил, что одежда на нем сопрела и теперь сходит и превращается в пыль. Он стряхнул ее остатки и очутился голым перед Альбиной.

— На, примерь, — сказала она и подала белую рубаху. — Должна быть впору. Носи, да смотри не занавивай. На дело береги.

Андрей Николаевич послушно просунул руки в рукава, и полотняное рубище покрыло наготу. Телу сразу стало легко, будто после хорошего банного пара. Альбина же исчезла вместе со своей прялкой и лишь лучина, зажженная ею, горела ровно, без треска, и давала яркий

сияющий свет. Зачарованный огнем, Андрей Николаевич какое-то время пребывал в беспамятстве и хватился, когда угасающий свет превратился в красную искру, оторвался от черного огарка лучины и, с пением унесясь под потолок, растворился во тьме.

С той поры он помнил каждый прожитый день и час и стремился распорядиться ими как последними кусками хлеба в голодный год. Первым делом он написал письма сыновьям и дочерям — письма обстоятельные, спокойные, в которых просил приехать накануне своей смерти и сообщал ее дату — шестого июня 1971 года.

Ушли письма — и словно в воду канули.

Жить в ожидании рокового часа ему было легко. Он не испытывал ни страха, ни горечи, напротив, ждал смерти с благодарностью и без суеты: многим ли из живших дано было знать свой срок? Надо было подготовиться к нему, и вот тут-то Андрей Николаевич начинал ощущать какую-то пустоту под собой. Закончив нехитрые хозяйственные дела, он неожиданно обнаружил, что ничего больше не остается, и он готов к смерти хоть сейчас. Правда, впереди еще была встреча с внуком — он ждал ее больше, нежели встречи с детьми, однако Николай так и не появлялся, и все заготовленные ему слова постепенно вяли, как скошенная трава. Когда апрельское солнце согнало снег и подсушило холм, Андрей Николаевич поднялся к келье матери Мелитины и, наглядевшись на запустение в ее жилище, вдруг засмеялся от радости: вот же, вот несделанное дело! Надо поправить келью и, переселившись сюда, умирать здесь!

На целую неделю, пока он чистил, вставлял стекла и белил вросшую в землю избушку, ощущение пустоты и собственной ненужности в этом мире отошло и растворилось в хлопотах. Однако, приведя в порядок келью, он еще больше почувствовал, что не готов к смерти, поскольку не сделано еще или не сказано что-то самое важное. А время неотвратимо уходило, и вместо недавнего благостного спокойствия полной весенней водой накатывалась тревога.

Трижды смерть была близко, и трижды он готовился к ней, но ни разу не возникало этого растущего тревожного чувства, что на земле остается неисполненным дело, отпущенное ему судьбой. Возможно, тогда его попросту еще не было: ни в "эшелоне смерти", где последним долгом стало помогать больным и закапывать мертвых, ни в камере смертников, где он по ниточкам распускал и вновь ткал свою жизнь. И даже перед "условным" расстрелом, перед дверью монастырской конюшни он не сомневался, что данный ему путь пройден до конца и осталось сделать всего несколько шагов по залитому кровью полу.

Тогда он не знал ни дня, ни часа своего срока; тут же, загодя предупрежденный — ведь не зря же ему отпустили столько времени, — он не мог прийти к назначенному мгновению со спокойной душой и совестью, ибо не сказал последнего Слова и не сделал последнего Дела.

Но в чем же суть Слова и Дела?

Он не находил себе места. Перебравшись жить в келью, он возвращался в село, бродил вокруг брошенного дома или по улицам и бормотал:

— Слово и Дело... Слово и Дело...

С ним здоровались, пытались разговорить, однако

Андрей Николаевич обходил встречных и спешил, не ведая куда. Состарившийся председатель Артем Никитич Главадских остановил его среди улицы и стал просить продать колхозу дом, дескать, все равно ты на холм жить перебрался, а мне переселенцев из Чувашии селить некуда. Андрей Николаевич ушел бы от него, но председатель загораживал дорогу и держал за рукав.

— Переселение — дело государственной важности, — строжился он. — Требуется закрепить приезжих граждан на земле и поднять колхозную жизнь на должный уровень.

Слова его не долетали до сознания, поэтому, чтобы высвободиться из рук Артема Никитича, Андрей Николаевич пожаловался:

— Шестого июня мне умирать, а я приготовиться не могу. Сказать бы что-то надо, сделать, а не знаю что.

— Так если помирать, может, дом по завещанию отдашь? Родному колхозу? Или внуку своему бережешь?

— Забирай, — отмахнулся Андрей Николаевич и пошел дальше.

— В сельсовет съезди! — вслед ему крикнул Артем Никитич. — Бумагу напиши!

— Слово и Дело, — забормотал Андрей Николаевич. — Слово и Дело...

Когда он возвращался назад и остановился возле своего дома, то увидел, что он уже плотно заселен: нескольких семей поместили даже на повети и в амбаре. Десятка два разновозрастных детей саранчиной стаей катились по усадьбе, обследуя новое место. Блистали черные, пытливые глазенки на чумазах личиках, босые ножки месили холодную весеннюю грязь. Туго обвязанные полушалками женщины жгли костры во дворе и готовили на таганах пищу. Андрей Николаевич постоял у распахнутых ворот, послушал неторопливое клекотанье чужого языка, бульканье варева в котлах и вознамерился было уйти отсюда навсегда, но тем временем босоногая худая старуха-чувашка подала ему кусок черствой ржаной лепешки. Андрей Николаевич принял хлеб, а уже потом догадался, что это милостыня. Он поклонился старухе, и та выговорила в ответ короткую, утешающую фразу. "Спаси Господь" — послышалось ему.

С подаванием в кармане он вернулся на холм и больше уже не спускался вниз. Бродить по весеннему лесу казалось спокойнее, к тому же Андрею Николаевичу иногда чудилось, будто именно здесь, среди оживающей природы, ему приоткроется тайна последнего несказанного Слова и неисполненного Дела. Он часто останавливался и, возбужденный предчувствиями, таил дыхание: сейчас, вот сейчас придет к нему истина! Однако вместо озарения подкатывала крутая изжога: милостинный хлеб оказался кислым и прогорклым.

Прошатавшись по лесу до вечера, Андрей Николаевич наткнулся на развороченный до основания муравейник. Недавно поднявшиеся из глубины его муравьи, еще вялые от холода, ползали по руинам и пытались слепить посередине разоренного жилища маленький холмик. Андрей Николаевич поплевал на муравьиное скопище и подставил ладонь. Тончайшие струйки охолодили руку, кислотовато-терпкий запах перехватил дыхание.

На развалинах муравейника проступали огромные медвежьи следы.

Извергая кислоту, многочисленный лесной народ пытался защититься от нападения, но до чего же жалко

выглядело это оружие! С такими трудами собранный по дресвинке дом, наполненный загадочной, единожды и навечно установленной гармонией жизни, он, по сути, всегда был совершенно беззащитным, а население его — невероятно уязвимым. И при этом муравьи жили открыто, смело, прячась разве что от непогоды. Какое же гордое было племя!

Но какая неведомая связующая сила объединяла этот народ, если по злой воле оторвавшийся от общины муравей был обречен на гибель?

— Что же это, Гармония в единстве? А в одиночестве только смерть? — вслух спросил он, вдыхая запах муравьиной кислоты. — Единство и есть смысл бытия?..

Андрей Николаевич прислушался, словно ожидая ответа, и неподалеку заметил еще один разрушенный муравейник. Рядом с ним из-под синей глыбы заледенелого снега выбегал светлый ручей и, огибая подножие муравьиного пепелища, захватывал свежерассыпанную дресву и уносил ее вместе с насекомыми. Несколько минут назад здесь разыгралась трагедия, способная погубить самую мощную империю, созданную людьми. Наверное, так варвары разорили Рим, а кочевники Русь. И Рим канул в Лету, но Русь выжила!

— Неужто все-таки в единстве?!

От нескончаемого и напряженного труда муравьев шевелилась под ногами дресва и, будто живая, медленно ползла к самому центру снесенного холма, как если бы там лежал магнит.

— В единстве!

— Нет, в безумии! — вдруг услышал Андрей Николаевич старческий, дребезжащий голос за спиной. — В нем их сила!

Шиловский был в трех саженьях. Нагнувшись над небольшим муравейником, он разгребал его костяным совком, сделанным из черепашьего панциря. Какая-то длинная бесформенная одежина болталась на нем, как на колу, одной рукой он опирался на черную резную трость со стальным наконечником.

Андрей Николаевич опустил глаза, и когда вновь поднял их — Шиловский не исчез. Он завершил свое дело и, убрав совок под одежду, медленно приблизился к Андрею Николаевичу. По серой хламиде, по трости, рукам и лицу Шиловского ползали муравьи. Когда они попадали на стекла пенсне, то соскальзывали и падали на землю.

— Посмотрите, они же безумны. — Шиловский ткнул наконечником трости в развороченный муравейник. — Трудолюбие, самоотверженность, единство — все продиктовано общим безумием. Их жизнь и Гармония есть жизнь и гармония травы. Этих насекомых потому и называют — муравьи. От слова — мурова.

— А мне почудилось, следы медвежьи, — сказал Андрей Николаевич.

— Нет, батенька, это я, — признался Шиловский. — Не чаяли встретить на этом свете?

Андрею Николаевичу всегда казалось, что они должны встретиться в лагерях или уж на крайний случай в ссылке. Судьба должна была свести их еще раз, но обязательно в равных условиях, как в "эшелоне смерти". Он почему-то верил в это и, приглядываясь к людям с новых этапов, ждал, когда появится Шиловский. Уже были заготовлены вопросы и торжествующие победы слова, однако они истаяли в сознании, как и надежды.

— Напротив, искал встречи. — Андрей Николаевич почувствовал облегчение. — Давно искал... Но сегодня не думал...

— Вижу, как в вас кипит ненависть, — заметил Шиловский. — А зря, зря, батенька.

— Я ненависть пережил, — сообщил Андрей Николаевич. — Переболел ею, как тифом. Теперь ни одна зараза не пристанет.

— Но я же все еще зорю муравейник! — Шиловский потыкал тростью мягкую живую дресву. — И заставляю насекомых оживать и совершенствоваться. Неужели изменились ваши убеждения? Или вы начинаете понимать смысл революционной гармонии мира?

В его голосе слышалась печальная ирония. Возможно, Шиловский мысленно вернулся в далекий двадцатый год.

— Нет, мне открылась христианская заповедь непротивления злу насилием, — признался Андрей Николаевич. — Помню, ненавидел вас. Было... Девять заповедей принимал, десятую — душа противилась. Нет, я вас теперь уважаю. Вы и тогда жили с верой и свои заповеди соблюдали. Все, безоговорочно. Я же не понимал своей, потому и не принимал. Вот и разорвался бережный круг.

— Напрасно обольщаетесь, — сожалея, проговорил Шиловский. — Ваша заповедь не спасет мира. Она неприемлема для живых, и истинность ее открывается только в смерти.

— Но мне открылась! — не согласился Андрей Николаевич. — Истина ее в прощении!

— Так неужели вы и меня готовы простить? — поинтересовался Шиловский и знакомо прищурился. — Не я ли виновен во всех несчастьях вашего Отечества, как вы считали?

— Готов. И простил, — сказал Андрей Николаевич. — Вы обречены, ибо разрушаете. Ваши идеи мертвы. Грех не простить обреченных.

Шиловский снял пенсне, и Андрей Николаевич увидел в больших печальных глазах его прежнюю веру и решимость. Ничего в нем не изменилось.

— Наши идеи не умрут никогда, — несколько усталым голосом заявил он. — Мы все предвидели: и новых вождей, и репрессии, и войну. Но они временны, и ничто не может длиться вечно.

— А вы — вечны?

— Как люди мы смертны, — слегка улыбнулся Шиловский. — Вечны наши идеи. Мы разбудили дремавшее человечество, дали ощутить свободу рабам. А раб никогда не забудет ее. Он откажется от вашей заповеди, потому что она непонятна рабскому сознанию. Раб всегда будет помнить свободу, а значит, и нас. И будет просить нас явиться миру. Придет срок — придем и мы. Но уже в другом образе, без оружия. Сейчас нас нет, и мы есть. Хотите узнать будущее?

— Я хочу умереть в назначенный мне час, — проговорил Андрей Николаевич.

— И умрете, — успокоил Шиловский. — Не все, познавшие будущее, становятся вечными. Я покажу вам немного, сквозь щелку, и все ваши иллюзии, как и заповеди, немедленно исчезнут. Вы же не хотите жить последние дни в иллюзиях? Вы же искали Слово и Дело?.. Раздумывать вам некогда, до шестого июня осталось ровно месяц.

— Согласен, — вымолвил Андрей Николаевич.

— В таком случае ступайте за мной, — сурово распорядился Шиловский. — Дорога у нас не близкая.

— Разве здесь нельзя увидеть будущего? — обескураженно спросил он. Так не хотелось уходить с холма, покидать этот лес с муравейниками и келью, где Андрей Николаевич намеревался дожидаться сыновей, дочерей и внуков, а затем и смертного часа.

— В будущее можно смотреть только сквозь пулевую пробоину, — объяснил Шиловский и, вонзая отполированный, как лемех плуга, стальной наконечник в землю, решительным и бодрым шагом направился к опушке и, достигнув ее, ступил на есаульскую дорогу.

Они шли всю ночь, и знакомая дорога отчего-то оставалась неузнанной. Весенний, ночной проселок чем-то напоминал полузабытое детское путешествие, когда Андрей Николаевич с братом сбежали из Есаульска домой. По обочинам тускло мерцали в темноте закрывшиеся на ночь цветы мать-и-мачехи; неведомые огни горели над лесом — то ли крупные звезды, то ли фонари на буровых вышках; невидимые птицы перепархивали дорожный просвет, задевая лицо холодными крылами. Андрей Николаевич терял Шиловского из виду, прибавлял шаг, чтобы догнать, однако тот неожиданно оказывался за спиной, и голос его, похожий на звон треснувшего глиняного сосуда, подбадривал и пугал одновременно:

— Идите, батенька, идите. Я с вами.

Потом он будто уснул на ходу: ноги двигались, но перед глазами качались серые, непроглядные сумерки. И уже больше не тревожили ни цветы на обочине, ни крылья птиц; даже яркие огни над горизонтом растворились в мутном пространстве. Очнулся он лишь в трюмной общей каюте на старом колесном пароходе. Корпус судна, деревянные вытертые полки и стекла в иллюминаторах мелко дрожали, где-то рядом шлепали по воде плиты, уставшие от плавания, изнуренные трюмом пассажиры самоуглубленно молчали. Андрей Николаевич приподнял голову от серой колючей подушки: Шиловского среди пассажиров не было! Чужая холодная рука легла на голову и потянулась к душе...

А был ли он вообще? Не пригрезился ли?.. Что, если был, но обманул?!

— Я здесь, — отозвался Шиловский с верхней полки.

— Какое сегодня число?!

— Не волнуйтесь, мы третий день в пути, — сказал невидимый спутник. — У вас еще двадцать восемь дней.

Андрей Николаевич перевел дух и облегченно расслабился.

— Где мы плывем?

— По каналу. Последний шлюз проходим.

— По каналу? — насторожился Андрей Николаевич. — По какому каналу? Неужели...

— Нет, тот канал не судоходный, — опередил Шиловский. — Не выдержал конкуренции с транссибирской магистралью.

— Долго нам еще?..

— К утру будем на железной дороге.

— А там?..

— А там ходят эшелоны.

— Какие эшелоны?

— Всякие, батенька, всякие, — уклончиво ответил

Шиловский. — Да не переживайте. Я же сказал: умрете в назначенный срок. Вам не грозит вечность.

"Он хочет показать будущее, чтобы разрушить во мне заповедь, — вспомнил Андрей Николаевич. — И если он всю жизнь разрушал заповеди, то я к концу жизни лишь крепче уверовал в непротивление злу, и неужели, познав будущее, я отрекусь от всепрощения?"

— Непременно отречетесь, — заверил Шиловский. — И наконец поверите мне, поверите в нашу Идею.

— Что? Я сейчас говорил вслух? — опомнился Андрей Николаевич.

— Вы размышляли, думали, — объяснил невидимый спутник. — Я же советую вам не думать. Самый лучший способ достичь блаженства и остановить время — войти в сумеречное состояние. Закройте глаза и медленно укрощайте свою мысль. Не спорьте с самим собой и вместе с нашим паропроводом плывите по течению. Перед вами откроют шлюз и закроют потом. Плывите и блаженствуйте.

Андрей Николаевич закрыл глаза, и тотчас серые, брезжущие сумерки медленно стали заполнять пространство. Ему почудилось, что это наплывает слепота, но теряется не зрение, а чувства: можно смотреть и ничего не видеть. Взгляд не рассеивался, не отвлекался на окружающие и близкие предметы; его тянуло вдаль, в какую-то трубу, напоминавшую оптический винтовочный прицел.

Потом они оказались среди людной улицы какого-то города. В руках прохожих были цветы, красные флажки. Пожилые мужчины в старых гимнастерках с орденами и медалями на груди шли обнявшись; один играл на гармонии, один плясал на асфальте, и один горько плакал. Откуда-то доносился бравурный марш, исполняемый духовым оркестром, слышался мерный, многочисленный стук солдатских сапог, а над всем этим в светлом весеннем воздухе разносился торжественный женский голос, усиленный динамиками.

— День своей Победы празднуют, — усмехнулся Шиловский. — День национального духа и русского оружия!.. Ничего, пусть забавляются!

Большинство людей на тротуаре шли навстречу и густо, поэтому приходилось пробираться то возле стен домов, то у проезжей части. Андрей Николаевич боялся потерять Шиловского, идущего сквозь толпу, будто нож сквозь масло, и часто в ней исчезающего. Раза два он ошибся и вместо своего спутника отыскивал взглядом похожие стариковские спины, тогда как Шиловский оказывался совсем в другом месте. Наконец, встречный поток постепенно сменил направление и стал попутным. Только у людей вместо цветов в руках и детей на плечах появились чемоданы, сумки и свертки. Стерлись на лицах улыбки, сосредоточенные глаза прорыскивали даль.

А там, вдали, была запруженная народом вокзальная площадь. Бесконечная лавина людей, повиная неведомой воле, всасывалась в многочисленные вокзальные двери, в жерла подземных переходов и арки воздушных мостов. И с нею рядом текла встречная, по виду ничем неотличимая. Обе лавины смешивались на площади, как в котле, и создавалось впечатление, будто нет здесь ни отъезжающих, ни приезжающих. Есть лишь кем-то единожды запущенное движение народа, бессмысленное для стороннего глаза, но в самом деле насыщенное и одухотворенное великой целью. Иначе как объяснить

одержимость и безрассудство, с которыми люди мчались по неведомым кругам, поддерживая жизнь этого движения?

Старческое шарканье ног — в такой гуще нельзя было сделать полного шага, — взлетало над вокзалом и площадью и будто скапливалось там под невидимым куполом.

Нет, и все-таки эти люди куда-то ехали и откуда-то приезжали, ибо человеческое движение как бы перевоплощалось в движение тяжелых эшелонов. С той лишь разницей, что вместо ритмичного шарканья в поднебесье улета стук колес. Стоя в этом странном месте, Андрей Николаевич ощутил знобящий страх и растерянность, как бывает при виде чего-то бессмысленного и необъяснимого. Казалось, будто люди сорвались с обжитых земель и поехали искать лучшей доли в чужих краях. И всем чудится, будто их доля где-то там, за далью, за расстоянием, и, ударив шапкой, пошел человек покорять пространство.

Да неужто стало в России столько обездоленного народа?

— Это будущее? — спросил Андрей Николаевич.

— Что вы, батенька! — рассердился Шиловский. — Это настоящее. Это День их Победы.

Прорвавшись через площадь и муравейник вокзала, они оказались на железнодорожных путях, между закопченных вагонов с горячими колесами, между пыльных, в оранжевых безрукавках людей, которые бежали со шлангами, с черными железными коробами и ящиками. Длинные составы лежали на рельсах бездыханными, но когда насасывались людьми, водой, углем и пищей, враз оживали, словно пиявки, и уползали куда-то по сверкающим рельсам.

Шиловский теперь не пропадал ни на секунду. Он вел Андрея Николаевича то по шпалам, то нырял под стоящие поезда — трость со стальным наконечником ковыряла черную пережженную землю. Несколько минут они шли поперек огромного и пустынного поля, расчерченного ржавыми рельсами в косую линейку. Наверное, это были запасные пути. На краю поля Шиловский остановился и, опершись на трость, устало проговорил:

— Пришли...

Впереди был тупик: полосатый шлагбаумный брус на бетонных стойках отрубал поржавевший путь. И на этом пути стояло около десятка старых вагонов-теплушек во главе с черным паровозом. Котел, вероятно, был потушен, однако из трубы курился слабый синеватый дымок.

Андрей Николаевич узнал этот состав. На дверях вагонов белели меловые опознавательные знаки — тиф, тиф, тиф...

— Но ведь это "эшелон смерти"! — проговорил он.

— Ну, батенька! — Шиловский позвенел тростью о рельсы и, не договорив, направился к одному из вагонов.

"Верно, верно, — тут же согласился Андрей Николаевич. — Откуда же еще можно увидеть будущее?"

Шиловский откатил тростью дверь — пахло мочой и гнилой соломой. На миг почудился стон и бессвязный бред... Андрей Николаевич забрался в вагон, и Шиловский тут же плотно затворил его.

В темном чреве, в непроглядном, но знакомом пространстве Андрей Николаевич сделал несколько шагов и остановился у стены. За нею уже больше не существовало ни прошлого, ни настоящего. Огромный,

непознанный мир, сжавшись в тонкий луч, проникал внутрь вагона сквозь маленькое отверстие.

Андрей Николаевич сделал еще шаг и, опустившись на колени, прильнул к пулевой пробоине...

И в тот же миг ему захотелось стать вечным.

...На совещание он опоздал. Секретарь горкома Кирюк терпеть не мог неточности, поэтому при появлении начальника милиции в голосе послышалась тяжелая медь. Опять речь шла о добыче нефти, ее, как всегда, не доставало, хотя вокруг города качалки на скважинах росли как грибы. Кирюк говорил, а Чингиз, сидя в некотором отдалении от всех, заметно нервничал и повосточному горячо, резко обрывал секретаря.

— Сам иди бери нефть! Ведром черпай, графином, бутылкой, раз качалка не дает! Кому больше надо — того зови помогать.

Уже минуло три года, как на Есаульском куполе прекратился самоизлив. Мощный подземный взрыв, рассчитанный на пробуждение нефтеносных горизонтов, ничего толкового не дал. Нефть вначале действительно хлынула фонтанами даже из старых скважин, и на промыслах было горячее веселье, однако скоро потоки иссякли, и даже качалки стали работать с натугой. Академик решил теперь закачивать воду в пласты, чтобы поднять давление, но нефтяной родник худел с каждым месяцем. Мощные насосы гнали воду из Повоя в земную толщу день и ночь, однако все — и вода и нефть, проваливалось куда-то в бездну.

Говорили уже в открытую: Чингиза, этого нефтяного "короля", снимут и отправят на пенсию, если он не сделает прироста добычи.

И "король" нервничал.

— Дай ядерный заряд — подниму нефть! — резал он на упреки Кирюка. — Один бомба на один мегатонна!

— Это вы, Чингиз Азизович, сами доставайте, — отвечал секретарь. — Неужели вы не можете достать паршивого ядерного заряда?

— Могу достать! Сто мегатонн дают! Двести дают!

— Так в чем дело, Чингиз Азизович?

— Убери город! Уберешь город — дадут!

— Получим добро из Москвы — уберем, — заверил секретарь. — Но пока переселим людей, пока отстроим новый... Долго это, очень долго. Нефть нужна сегодня, сейчас.

— Сегодня, сейчас дай ядерный заряд! — потребовал Чингиз.

Николай обернулся к Чингизу и неожиданно через стекло увидел Светлану с Андриюшкой. Забывшись, потянулся к окну, едва сдерживая восторг, замахал руками, глядел и наглядеться не мог!

— Товарищ Березин? — жестковато окликнул Кирюк. — В чем дело? Вы где находитесь?

Сквозь его медный голос вдруг прорезался тоненький серебряный звон. Кажется, зазвонил телефон у секретаря на столе. Аппарат был точно такой же, как у Николая на квартире, — Чингиз, похоже, чувствовал скорый конец своей беспредельной власти и одаривал теперь тех, кого раньше держал в кулаке. Мгновением позже Николай понял, что это не телефонный звонок: трубка с аппарата была снята, чтобы не беспокоили во время совещания. Да и звон исходил откуда-то с потолка...

— Березин? — возмутился секретарь. — Хватит ворон считать!

Николай вздрогнул. Жены с сыном за окном уже не было, вероятно, свернули за угол горкома.

— Слушаю вас, — опомнившись, отозвался Николай. — Простите...

Кирюк нервничал больше Чингиза: моральное состояние напрямую зависело от объема власти. Он стиснул губы и хлопнул по столу папкой, где лежали бумаги на подпись. Это означало верх возмущения. Присутствующие не дышали, рассматривая свои руки на столешнице.

— Закончим! — помедлив, подытожил секретарь, и совещание разом встало, задвигая тяжелые стулья под стол. Николай тоже вскочил, но в спину ударила медь:

— Николай Иванович!.. И вы, Чингиз Азизович...

Когда они остались вдвоем, Кирюк предупредил секретаршу, чтобы никого не впускали, отключил внутренний и городской телефоны, оставив только "вертушку", сел в кресло и стал что-то ждать. Николай ощущал желание глянуть в окно, однако для этого следовало пересесть на другой стул и развернуться. Через минуту из комнаты отдыха появился оперуполномоченный "конторы глубокого бурения" и занял место напротив начальника милиции.

— Совещание совершенно секретное, — предупредил Кирюк. — Прошу ничего не записывать. Начнем.

Все натруженно оживились, даже Чингиз, немедленно спрятавший крохотную телефонную книжицу. Николаю почудилось, что сейчас секретарь начнет брать власть в городе и районе, а Чингиз — отдавать ее, подобно есаульскому куполу, не желающему отдавать "черное золото".

— Я получил полные научные выкладки по Куполу, — сообщил Кирюк, — из которых следует, что возбудить приток нефти можно ядерным зарядом мощностью в четверть мегатонны. При этом сокращаются сроки проекта в сто раз и соответственно — удешевляется сам проект. Ученые гарантируют полную безопасность города, оборудования нефтедобывающих скважин и населения. И я, как химик, их прогнозы полностью разделяю.

— А я — не разделяю! — отрубил Чингиз.

Кирюк будто и не услышал громогласной реплики.

— Москва посоветовала все это обсудить на месте. Разумеется, Академия наук все еще раз перепроверит, но я думаю, расчеты верные и убедительные... Вы очень невнимательны сегодня, товарищ Березин! О чем идет речь — поняли?

Николай думал об окне, вернее, о том, что сейчас за ним происходит, и слова о ядерном заряде и Куполе воспринял как продолжение бесконечного диалога между Кирюком и Чингизом. Он никогда серьезно не воспринимал этот проект — атомная бомба под городом просто не укладывалась в сознании — и, как бы делая поправку на безвыходное положение секретаря и генерального директора, относил их замыслы к отчаянной, но совершенно утопической попытке выкрутить земные недра, как выкручивают половую тряпку, и тем самым удержаться на плаву.

— Понял, — наобум сказал Николай. — Только какое отношение это имеет к милиции?

— А самое прямое! — заявил секретарь. — Следует

гасить всякие слухи о проекте среди населения, чтобы сохранить спокойствие и общественный порядок. Применение заряда должно остаться тайной. Жители, кроме легкого толчка, ничего не почувствуют. Вы поняли? Гасить слухи.

— Насчет слухов — это по нашему ведомству, — отозвался оперуполномоченный. — Им охраны порядка достаточно.

— Я — не разделяю!! — закричал Чингиз. — И плювать хочу на ваш проект! Куполу надо один мегатонна! Нефть достанем! А маленько заряда — не достанем.

— Вот я и предлагаю обсудить, — отчего-то смутился секретарь. — Москва предлагает самый выгодный вариант, Чингиз Азизович. А вы скажите свое слово и принимайтесь за дело.

— Не желаю говорить! — Чингиз вскочил. — Не желаю, когда нефть бежит, как бик ссал. Желаю фонтан! Один мегатонна дает фонтан!

— Желаете или нет, вас не спрашивают! — резко осмелел Кирюк. — Последнее слово за партией, а у вас, Чингиз Азизович, партбилет в кармане!

— На партбилет! — закричал Чингиз, суя секретарю книжицу. — На! Возьми! А бомба дай!

Кирюк несколько растерялся, отпихнул руку Чингиза и возмущенно покачал головой.

— Неужели вы серьезно? — опомнился Николай. — Неужели будут взрывать ядерный заряд?

— Наконец-то начальник милиции проснулся. — Кирюк вымещал на нем свое неудовольствие. — Вас не рано начальником отдела назначили? Мне кажется, вы еще в сыщики-разбойники не наигрались.

— Я-то наигрался, — заверил Николай. — А вот если от игры с бомбами город на воздух взлетит!..

— Не взлетит, успокойтесь, — обрезал секретарь. — Есть точные научные расчеты. После совещания останетесь, товарищ Березин. Отдельно поговорим.

— Нефть-то пойдет радиоактивная, — не смутился начальник милиции. — Ударит фонтан — буровики купание устроят. А сколько на землю ее прольется? Потом бензин! Дизтопливо! Вы же химик, должны понимать!

— Все нефтепродукты безвредны! — отчеканил Кирюк, видимо, пожалевший, что начальник милиции "проснулся". — А сама нефть пойдет по трубам.

— Так льют же, льют! — чуть не закричал Николай. — Вы спецовку у нефтяников видели?

— Радиометров в личном пользовании нет, — вмешался оперуполномоченный из "конторы глубокого бурения". — Если у кого и есть — изымем. Но радиационную службу все-таки надо бы организовать.

— Это уж конкретное предложение, — похвалил секретарь. — Прошу еще высказываться.

Все молчали. Николай смешался и только в каком-то злом восхищении покручивал головой.

— Вы, Чингиз Азизович, снимете качалку с центральной скважины и хорошенько ее очистите, — распорядился секретарь, не глядя на "нефтяного короля". — Да поторапливайтесь. Заряд уже в пути.

Видимо, это уже было слишком для властителя Нефтеграда, душа его не выдержала обиды, и гордость загла и так горячее сердце.

— Москву поеду! — Он вскочил. — Главному академику,

главному секретарю партии! Меня знают, слово мое знают, мегатонна дадут!

И вышел, хлопнув дверью. На столе Кирюка взлетели бумаги. Кирюк собрал их, разложил, как было, и довольно заметил:

— Самое главное, товарищи, пробудить энергию в человеке. Чтобы началась, так сказать, творческая цепная реакция. Да... Человек что нефтяной пласт: не расшевели его, так и не дождешься фонтана.

— Это верно, — сдержанно сказал оперуполномоченный. — Только фонтан сразу в трубу направлять. Сколько вон нефти зря пролили из-за фонтанов.

Договаривал он на ходу, по пути к двери, поскольку хорошо знал, что нельзя пускаться в размышления, когда размышляет сам Кирюк. Николай остался один и теперь ждал отдельного разговора, наливаясь жаркой энергией сопротивления. Однако Кирюк неожиданно стал мягким и негромким.

— Скажите, Николай Иванович, здоровы ли ваши домашние? Все ли в порядке?

— Домашние здоровы, — передразнил его же тоном Николай. — А мы с вами, кажется, заболели.

Кирюк не заметил дерзости — умел, когда надо, не замечать, — перебрал бумаги на столе и, найдя нужную, положил на календарь. Вернувшись из академии и получив назначение в Нефтеград, Николай пришел представиться первому секретарю и сразу как-то обрадовался, что Кирюк молод, всего под сорок, и держится в беседе легко, без чванства, даже как-то по-свойски. И это ощущение длилось несколько месяцев, не меняясь даже после бурных совещаний. Больше того, когда Чингиз проявлял самовольство, а то и давил на горком и бюро, Николаю становилось жаль Кирюка. Хотелось утешить его, взбодрить, мол, погоди, нефть в Куполе кончается, и с нею вместе кончится Чингизова власть. Однако секретарь не нуждался в утешении. Со временем Николай заметил, что между Кирюком и "нефтяным королем" идет давняя и суровая борьба с переменным успехом и что нельзя вступать между ними, поскольку он не знает правил этой борьбы. Когда мало-помалу он вник в правила, то сначала растерялся: в поединке задействовались весь горком до последней машинистки, и все — от ночных заседаний бюро, парткомиссий на промыслах и до самого нелепого плаката на стенах и крышах домов, — было брошено Кирюком именно на войну с Чингизом. Было от чего смешаться, было чему удивиться. Получалось так, что официальная власть насмерть схватилась с неофициальной и ведет борьбу против того, чьими трудами возник город и была дана жизнь целому региону. Старый битый Чингиз тоже не терялся и даже наносил упреждающие удары за счет денег и большого авторитета, не брезгуя проверенным оружием восточной хитрости и совсем уж простейшим и тупым, как сибирский валенок, — когда ссылался на то, что плохо понимает по-русски.

Судя по сегодняшнему секретному совещанию, дело уже доходило до ядерных зарядов...

И все-таки неприязнь к Кирюку началась позже, спустя год после нового назначения. Однажды Николай случайно оказался возле дома, где жил первый секретарь. Он бывал здесь раньше не один раз, больше того, милиционер из отдела каждый день заступал сюда на службу — у железных

ворот стояла будка с окнами на все стороны света, — и даже как-то пришлось лично самому проверить сигнализацию на окнах и дверях дома Кирюка. Жил он в новом коттедже, построенном на высоком холме среди соснового бора. Стальная решетка на кирпичном фундаменте опоясывала вершину холма, и от ворот начиналась узкая, в одну колею, бетонная дорожка, всегда засыпанная листвой и сосновой иглой. Дети из Нефтеграда любили приезжать сюда на велосипедах и самокатах, чтобы покататься с горы. Должно быть, ребятишкам нравилось весело и бездумно мчаться по крутому склону и слушать свист ветра в ушах. Зимой они бежали к холму с саночками, однако милиционер вынужден был прогонять их на берег Повоя: дорожку раскатывали до стеклянно-синего льда, так что машина потом не могла подняться в гору.

И вот, оказавшись возле дома Кирюка, Николай вдруг разглядел, что коттедж построен в стиле дворянского дома — с высоким парадным, с колоннами, подпирающими лепной портал, но как бы осовремененный лоджиями и крытыми галереями. Вдоль центральной дорожки были разбиты клумбы и по всей ее длине — стриженные волны декоративных кустов, а вся остальная территория выглядела не тронутым цивилизацией сосновым бором. Николай остановился у решетки и, обвиснув на ней, долго смотрел во двор дома. В это время среди сосен неожиданно показался сам Кирюк. Строгий горкомовский костюм, галстук, однако в одной руке палка, а в другой — корзина. Неподалеку от него брел его старший сын — мальчик лет двенадцати. (Секретарь горкома был человеком многодетным: последняя дочка его — ровесница Андрюшки.) Изредка кто-нибудь из них наклонялся и с восторгом резал гриб. В тот год был хороший урожай на белые. Потом они снова шли по хрустящему беломошнику и самоуглубленно шарили глазами по земле.

Борьба оставалась борьбой, а жизнь имела еще одну сторону, наполненную совершенно иными вкусами, чувствами и помыслами.

Глядя сквозь решетку и оставаясь незамеченным, Николай думал, что Кирюку, наверное, хорошо жить. Хорошо не от достатка или своего положения, а оттого, что есть высшее дарование природы — сама жизнь, и он это всегда осознает и чувствует. Ежедневно, ежеминутно, в борьбе и в покое. И еще хорошо потому, что он любит жить, и многообразие лишь обогащает эту любовь цветами и красками, чингизами и грибами, детьми и строгими костюмами.

На Николае же — милицейская форма, зимой и летом одним цветом, и уже почти ничего нельзя изменить! Не достичь такой любви!

Неприязнь покатила по душе, как слеза по щеке, выдутая ветром.

И сейчас она таилась, разжигая отрицание всего, в том числе и разумного.

Кирюк вчитался в выбранную бумажку, делая паузу, чтобы начальник милиции смог вдуматься в свои слова и не дерзить. Он как бы отправлял дерзость Николаю на его собственный суд.

— Кстати, а где живет ваш отец? — с интересом спросил Кирюк.

— В Казахстане остался, в ссылке, — все-таки, сдерживаясь, проговорил Николай. — Правда, теперь в

добровольной... Возьмите личное дело, у вас есть. Ведь я же — номенклатура.

— А что вы скажете о своем дедушке? Андрее Николаевиче? — прежним тоном продолжил секретарь. — Вы знаете, где он?

Вдруг засосало под ложечкой, и разом схлынул борцовский жар. Николай хотел сказать — в деревне, в колхозе "Светлый путь", однако чутьем уловил, что только Кирюку известно, где дед и что с ним. А с ним что-то случилось!

— Ну вот, так мы заботимся о своих стариках, — с легкой укоризной заметил секретарь. — В первую очередь вам бы о нем позаботиться. За город да за весь народ хлопотать проще, Николай Иванович. Прабабушка ваша потерялась. Теперь деда потеряли...

Николай был раздавлен, словно жаба, выползшая на дорогу, но предчувствие беды как бы стушевало собственную мерзость.

— Что вам известно? — хрипло спросил он.

Кирюк молча протянул ему телеграмму. Николай сразу же отметил, что адресована она на его домашний адрес, однако почему-то попала к первому секретарю.

Хотя теперь это было не важно...

— Поезжайте и привезите старика домой, — с оправданной, еще как оправданной брезгливостью выговорил Кирюк.

И так неровные строчки телеграммы прыгали перед глазами, но смысл можно было понять, прочитав лишь подпись под текстом — "главврач Люберецкой психиатрической больницы Жога".

Фамилия эта ожгла сознание, и он всю дорогу повторял ее про себя и пытался угадать, что за человек, носящий ее? Мужчина? Женщина? Старый или молодой? Представлял себе и проговаривал будущий разговор с ним, винился, каялся, и было все равно, каким человеком окажется главврач: дед стоял перед глазами таким, каким запомнился в последнюю встречу, одиннадцать месяцев назад. Он все время шел к нему и спрашивал:

— Неужели только в смерти прощать будем? Погоди, так нельзя жить. Мы ведь катимся вниз!..

Ничто — ни главврач со странной фамилией, ни мысленные разговоры с ним — не могло заглушить голос Андрея Николаевича. Оставалось лишь виниться и каяться. Хоть перед первым встречным.

Неужели только в смерти прощать будем?

Люберецкая психбольница — вся, от своих ворот и до последней палаты — словно кричала дедовым голосом. Помещалась она в старом монастыре, облепленном вокруг несуразными и оттого какими-то безумными сараями, погребам и гаражами. Свернув с дорожки, можно было бесследно кануть в этих тущобах, и если тебя отыщут, то уже, кроме как в затворники печальной обители, ты никуда не сгодишься. За полуразрушенными стенами вместе с психушкой располагались еще венерологический диспансер, госстрах, а в самом храме, ободранном и похожем на полуосвежеванную тушу животного, стояла пилорама. Какие-то люди в черных зековских робах кряжевали хлысты, отправляя бревна в сводчатую дверь притвора; с другой же стороны, через проломленную алтарную стену, выкатывали вагонетки с белым тесом. Внутри храма слышался звук, напоминавший тяжелое,

запаленное дыхание человека. Странная, кажущаяся безумной для этого места работа пугала и зачаровывала воображение.

Все, что видел, Николай отмечал походя, в спешке, пока искал келью главврача. Страх уже был в сердце, но другой — неожиданно встретить на монастырском дворе деда. Ведь наверняка выпускают на прогулку! Или все-таки под замком держат?..

Главврач Жога оказался мужчиной средних лет, с аккуратной черной бородой и цыганскими глазами. Однако малоподвижный и какой-то прямой, словно постоянно держал на голове кувшин и опасался уронить его.

— Что с ним? — спросил Николай.

— Знаете, я хотел спросить у вас, — монотонно сказал "игумен", но взглянул с любопытством и уже больше не отводил взгляда.

— Проглядел я деда, — повинулся Николай. — Мы с ним... Вроде и не ссорились, а... Неужели только в смерти прощать будем?

Он поднял глаза и замолчал. Главврач Жога неприкрыто изучал его. Изучал, как следователь подозреваемого. Пытливые, но прикрытые легкой поволокой глаза будто говорили: ну-ка, ну-ка, что ты нам еще скажешь?

И все, что бы теперь ни сказал, будет сопровождаться этим безмолвным "ну-ка, ну-ка...". Николаю стало не по себе. Безотчетный, навеянный странной обителью страх в келье у "игумена" обострился до душевного смятения и словно залепил рот. Он боялся не сумасшествия — разум оставался светлым и послушным, — а своих показаний, которые в этих стенах так легко принять за больной бред или уж отклонение от нормы. У человека по фамилии Жога была постоянная установка на больного, как у плохого следователя все люди — преступники. До чего же просто было угодить в затворники, в "послушники" скорбного монастыря! А надо высидеть перед "игуменом", выслушать, и только тогда ему передадут больного. Иначе не выручить деда! Хуже того, войдут санитары, принесут рубаху с длинными рукавами...

— Скажите, вы верующий человек? — вдруг спросил главврач.

— Нет... — неуверенно проронил Николай. — Я член партии.

— Наверное, у вас семья религиозная?

— Что вы, нет, — теряясь в догадках, выдавил Николай и непроизвольно поерзал на стуле.

— А сам Андрей Николаевич... больной... он верующий? — напирал "игумен", уставившись немигающими глазами.

Николай опять поерзал — все хотелось сесть удобнее, но вспомнил, что излишние и однообразные движения — признак психических нарушений. Он замер в неудобной позе и так же неловко ответил:

— Возможно... Хотя, нет, он никогда не молился...

— Это не обязательно.

— Тогда не знаю. — Николай помотал головой и оживился. — Его мать была монашкой. Монахиней! И брат...

— Ну вот, а вы говорите. — "Игумен" откинулся на спинку стула, но так, словно боялся растряссти свою голову. — Тогда многое становится понятным.

— Нет-нет, — запротестовал Николай. — Брат погиб в

гражданскую, а с матерью дед виделся последний раз... кажется, до войны.

— Хорошо, — не дослушал главврач. — Что такое — эшелон смерти?

— Был такой эшелон. — Николай потрепал край белой скатерти, но тут же сцепил руки на коленях. — Вроде тюрьмы на колесах. Дед попал в него на гражданской.

— Вот как, — слегка приподнял брови главврач. О чем думал этот человек, понять было невозможно.

— Скажите, — осмелел Николай. — Как он попал к вам?

— Обычным путем, обычным, — думая о своем, проронил "игумен". — Доставили с площади трех вокзалов. Прямо скажем, в плачевном состоянии. Навязчивые идеи на религиозной почве, потеря ориентации в пространстве и времени... Мы его подлечили, но требуется контроль... Говорите, эшелон смерти был?

— Был... — Николай отчего-то несколько раз дернул плечами.

— А где он сейчас, не знаете? Куда его могли поставить?

— Где? — изумился Николай. — Н-не знаю... Должно быть, сломался, износился....

— Да, жаль, — как-то неопределенно отозвался "игумен" и, не глядя, подписал бумажку, подал Николаю. — Санитары вам выдадут. Следите, чтобы пил таблетки. И во всем соглашайтесь с ним!

Николай спрятал бумажку и почему-то задом попятился к двери.

В коридоре, похожем на тюремный, дежурили два санитар в белых халатах. Похоже, братский корпус недавно отремонтировали, но свежая известь успела пожелтеть, таким же цветом отливали пол, рамы и затворенные двери келий. Даже лица дюжих санитаров — все было охвачено желтизной. Николай подал бумажку, и пока страж разбирал написанное в ней, почему-то непроизвольно потянуло заглянуть в волчок ближней двери. То был не простой тюремный волчок, а вполне привычный дверной глазок, отдаляющий пространство, как если бы смотреть в бинокль с обратной стороны. Неуправляемое и неуместное любопытство будоражило душу. Что там, за дверью? Кто? Какие они?.. Страстное это влечение обесцветило даже предстоящий миг встречи с дедом. Миг, к которому готовился всю дорогу и не однажды мысленно пережил.

Видимо, в келье горел яркий свет: сквозь стеклышко заманчивого зрачка пробивался тонкий луч...

— Да уж глянь, глянь, чего там, — произнес скучающий санитар и зевнул с ревом. — Может, чего интересного увидишь.

Тем временем другой санитар отворил одну из дверей и, заслонив собою проем, меланхолично позвал:

— Эй, дедушка Мазай, выходи...

Из кельи не донеслось ни звука. Николай заглянул через плечо санитару: человек десять больных сидело и лежало на узких кроватях, а один нервно расхаживал между ними, сцепив руки на стриженном затылке. Сивобородый старик медленно встал с постели и, качаясь, как пьяный, побрел к выходу. Николай не узнал его, захотелось крикнуть — нет! Это не мой дед! Не мой! Но шрам, серой бороздой разрывающий лоб и щеку, задавил прорастающий крик.

Дед остановился перед санитаром, пугливо спросил:

— Бить не станете?

— Кто тебя бил? — Санитар выкатил глаза и сунул руки в карманы драного, замусоленного халата. — Никто тебя не бил!

— А ну-ка, покажи, кто тебя хоть пальцем тронул? — задиристо вступился другой санитар. — Покажи?.. А-а! Собирайся, домой поедешь!

— Домой? — Едва заметная радость промелькнула по лицу деда.

— Хватит, пожил на казенных харчах, — добродушно заметил санитар. — Приехали за тобой.

В палате никто не шелохнулся, каждый был сам по себе — придремывали, улыбались, расслабленно качались на сетках кроватей. И только один бездумно двигался взад-вперед, словно медведь в клетке. Дед остановил его, обнял, прижал голову к своему плечу.

— Домой еду, Ванечка, — сказал он. — Так уж не печалься.

— Мне хорошо, — счастливо вымолвил тот. — Мне здесь так хорошо!..

— Вот и славно. Прощай, Ваня, — грустно вымолвил дед. — Больше не увидимся. Храни тебя Господь!

Оставив его посредине палаты, дед вышел в коридор и покорно встал возле санитара. Николая он будто не заметил.

— Вещи давай! — приказал Николаю санитар. — А ты марш в процедурную!

Дед послушно поплелся куда-то по коридору. Санитар с вещами шел за ним, как конвойный. Дверь в палату осталась открытой. От ее проема невозможно было отвести глаз. Бездумное, тихое блаженство, словно налитый благовониями воздух, медленно выливалось из кельи в желтый коридор, и, надышавшись им, хотелось так же прилечь и, покачиваясь, забыться в дремотном покое. Так бывало, когда, набродившись по лугу летним жарким днем, очутишься наконец у прохладной реки. Поют птицы, стрекочут кузнечики, и бесконечно журчит вода...

Санитар зевнул еще раз и не спеша закрыл дверь на ключ.

"Бежать! — озарило Николая. — Бежать! Немедленно! Скорее!"

Лучики желтого света, пробиваясь сквозь дверные зрачки, пронизывали коридор.

Наконец, придерживаясь за стену, в коридоре появился дед. Николай взял его под руку, потянул к выходу.

— Пошли, дед. Скорее. Скорее!

Андрей Николаевич едва успевал перебирать ногами. Когда оказались на улице, он попросил пощады.

— Мне уколы дают... Голова не слушается.

— Потерпи, дедушка, потерпи, — взмолился Николай. — Давай на руках понесу? На закорках?

— Сам пойду, — заявил дед, и Николай вспомнил наказ главврача — соглашаться во всем.

Андрей Николаевич остановился возле деревянного строения с большими окнами, улыбнулся.

— Здесь мы коробочки клеим!

— Какие коробочки? — механически спросил Николай.

— Для детских игрушек.

Они направлялись к монастырским воротам, — и те уже были близко! — но дед вдруг свернул к тяжело дышащему храму. Перекрестившись, приложился к ободранной стене

и на секунду замер, словно ожидая, когда пройдет вдруг нахлынувшая боль.

— Как ты думаешь, — спросил он, заглядывая вверх, — долго этот храм строили или нет?

За их спинами гулками выстрелами хлопали доски, разгружаемые с вагонетки.

— Долго, долго. — Николай взял руку деда. — Пошли.

Дед поозирался и сунулся к уху Николая.

— Какое сегодня число? Не шестое июня?

— Нет, первое, — испугавшись горячего шепота, отпрянул Николай. — Идем, дед. Скорей!

— Это хорошо! — тихо рассмеялся дед. — А они меня били. Я в уголку там распятие нарисовал. Икон-то не дают... Они били. Стену испортил.

Николай повлек его к воротам, и дед пошел, загребая ногами бурую прель опилок. Однако у ворот снова заупрямился, потянулся к уху.

— Ты Жогу знаешь? Пойди к нему, а? Пойди! Попроси, чтоб Ванечку отпустили? Я же тут Ваню Игнатову встретил! Коробочки клеили... Попроси!

— Какого Ваню, дед? — чуть не закричал Николай, пятясь к воротам. — Бежим! Бежим отсюда!

— Ты не бойся! — горячо зашептал Андрей Николаевич. — И мне страшно, но ты не бойся!.. Ваню выручать надо! Это же мой ученик! Я его грамоте учил, когда в Великом Забвении жили. И выучил! Не думай, он здоровый. Ему только уколы такие дают. Голова не слушается... Выручим Ваню, а? Коленька?

— Нас ведь обоих сюда... — непроизвольно вырвалось у Николая. — Бежим!

Они миновали калитку со старухой надзирателем и вырвались-таки на волю. Дед сразу как-то протрезвел, пошел ровнее, без поддержки. Дорога от монастыря была прямая и длинная, так что, сколько ни беги по ней, все время преследовало чувство, будто угрюмые стены движутся за тобой.

— Не оглядывайся, — сменившимся голосом посоветовал дед. — Иди себе да иди.

Николаю хотелось свернуть куда-нибудь, найти другой путь, чтобы деревья или хаос нагроможденных сараев закрыли собой монастырский детинец. Потому что, по мере того как они удалялись от него, дед оживал, слетала с его глаз мутная поволока, и гримаса боли разглаживалась, сменяясь удивлением. Он будто хотел спросить: где мы? Почему здесь? Но спросил другое.

— Тебе таблетки для меня дали? — Голос звучал твердо и осмысленно. — Должны были дать!

— Дали...

— Выбрось их немедленно! — приказал дед. — На моих глазах. Ну?.. Коленька, прошу тебя, выбрось.

Николай достал пузырек с таблетками. Что было делать? Соглашаться, как рекомендовал главврач?

— Дай сюда! — Дед вырвал пузырек из неуверенной руки и, отвинтив пробку, щедро рассеял таблетки по траве. Потом зашвырнул и флакон.

Дорога вильнула вправо, в нагромождение сараев, и, ступив в эти трущобы, под сень убогости и нищеты, Николай почувствовал облегчение. Нелепые эти клетушки, составленные друг на друга и вкопанные в землю, зачем-то были сначала построены, а затем варварски разгромлены. Кругом валялись доски с множеством торчащих ржавых гвоздей, оторванные двери, куски прогнившего до дыр

железа, изломанные бревна и балки. Издалека можно было подумать, что все сотворено ураганом, но, очутившись близко, Николай во всем увидел человеческую руку. Она строила и ломала.

— Ушли, — удовлетворенно заключил дед и сунулся в тесное пространство между сараями. — Отдохнем, Коля.

Николай оглянулся — монастыря на горизонте больше не существовало. И прорвало душу, облитую страхом.

Он упал перед дедом на колени, обнял ноги.

— Дедынька! Милый, родненький! Прости меня! Прости!

Захлебнулся слезами, подавился, не умея глотать их и плакать по-мужски.

— Да что ты, Коленька. — Дед склонился к внуку. — Я тебе все простил. Это ты меня прости. Думал уж, срок свой здесь встречу, в чужую землю положат. А ты приехал и спас меня!

— Дедынька. — Жалость и вина захлестывали сознание. — Прости, прости меня...

— Не плачь, Коля. — Голос деда построжел. — Не время плакать. Вставай. И послушай меня. Послушай! Не думай, я в своем уме, я не заговариваюсь. Ты только послушай меня!

Шершавой, с больничным запахом рукой он утер Николаю лицо, и тот прижался к дедовской ладони, чувствуя, как стихает головокружение и сохнут слезы.

— Эх, пожить бы мне еще! — вдруг загоревал Андрей Николаевич. — Никогда так не хотел жить... Но мне же срок назначен! Она знала, знала, что жить захочу, и потому назначила. У меня времени нет, Коленька, ничего почти не осталось. Не успею...

— Ты еще поживешь! — заверил Николай. — Поедем домой. Я тебя в деревню больше не отпущу. С нами жить станешь, с Андрюшкой...

— Не мешай мне, — оборвал дед. — Дай собраться с мыслями. Думать трудно стало, уколы... Но я скажу! Эшелон смерти стоит в тупике. Совсем целый! Придут люди в оранжевых безрукавках, водой заправят, углем, растопят котлы... Я видел Будущее! А он хотел, чтобы я разум потерял! Чтоб речь отнялась! Так уже было... А я, напротив, закричал!

— Успокойся, дед! — взмолился Николай, хватая его за руки. — Не говори, лучше помолчи...

— Если мне не веришь — пойди и сдай назад! — рассердился Андрей Николаевич. — Видел будущее! Видел! Сквозь пулевую пробоину... Может быть, я один! Один знаю, что делать! А Шиловский испугался! Это он в сумасшедший дом свел! Вот тебе, говорит, будущее... И если он испугался, значит, я говорил народу истину! Люди на площади как голодные слушали. Я закричал... Ты не бойся, Коля! Я знаю, как чуму остановить. Шиловский говорит, спасение человечества в безумии. Безумие — это счастье, и люди всегда будут стремиться сойти с ума. Муравьи живут в мире и единстве, потому что безумны. Но я не дал ему развалить муравейник!

— О чем ты, дед? — с отчаянием спросил Николай. — Что ты говоришь? Какой муравейник?!

— Молчи! Вижу, не веришь мне... Трудно поверить, — тяжело дыша, проговорил Андрей Николаевич. — Ладно, сейчас не верь... Трудно сразу. Но если я умру в назначенный срок, шестого числа — поверь мне! Поверь! Доказательство — моя смерть. Ты крикни тогда — Слово и

Дело! Громко крикни, чтобы люди услышали! Слово и Дело! Слово и Дело!

Кроме Николая, его больше никто не слышал. Погубленные, развороченные с бессмысленной целью строения палились глазницами выбитых окон и разевали черные рты дверей...

А тогда на вокзальной площади Андрей Николаевич пробился в самую гущу толпы и взобрался в кузов грузовика, стоящего у фонарных столбов. Рабочие наряжали город, развешивая по улицам и площадям большие красные звезды и красные флаги. Бесконечные гирлянды лампочек опутывали столбы, рабочих и борта грузовика. Андрей Николаевич встал на груды звезд среди знамен и гирлянд, глянул вниз и шатнулся, теряя равновесие. Показалось, стоит он так высоко, что люди внизу кажутся маленькими, как муравьи. И отсюда, сверху, было хорошо видно, как множество хаотичных, но мощных потоков движутся по площади, закручиваясь в странную центростремительную спираль. А там, в центре, где плотность человеческой массы напоминала твердый монолит, люди никуда не двигались и лишь топтались на месте, словно исполняя какой-то загадочный ритуальный танец. Но вот из мощных динамиков над головами толпы разнесся каркающий бессвязный зов, и люди враз изменили движение, отчего спираль начала раскручиваться в другую сторону. Теперь толпа уплотнилась по своей окружности, а оставшиеся в середине заматались в разные стороны, как обложенные зайцы.

Зачарованный этим невиданным движением, Андрей Николаевич с трудом взял себя в руки и крикнул:

— Слово и Дело! Слово и Дело!!

Слова были магическими, и движение на площади вмиг остановилось. Люди вскинули головы, обернулись к грузовику с кричащим на нем человеком.

— Остановитесь, люди! — Он вскинул руки, как будто хотел руками остановить толпу. — Слушайте меня! Слушайте! Я видел будущее! Миру грозит безумие! Остановитесь, опомнитесь!

Он кричал в полной тишине. Люди слушали.

— Поднимайтесь, люди! Обыденный храм строить поднимайтесь! И отступит болезнь! Ну, вставайте же, ну?! Идите строить обыденный храм!

В этот миг, заглушая все на свете, над людскими головами понеслось громогласное неразборчивое радиообъявление. Площадь одновременно вздрогнула и потекла, забурлила с новой силой.

— Остановитесь! — взывал старик, — Остановитесь, люди! Выходите строить! Иначе не одолеть болезни!! Колокола! Колокола поднимайте! И звоните! По всей земле звоните! Слово и Дело!!

Но никто его больше не слушал. Какой-то милиционер и рабочие попытались стащить старика с машины, однако тот отбивался, швыряя в них звезды и флаги, кричал:

— Я будущее видел! Я знаю, что нужно делать! Обыденный храм! Храм строить!

Рабочие рвали Андрея Николаевича в разные стороны, пробовали столкнуть вниз, но, боясь остроконечных стальных звезд в его руках, отскакивали. А старик метал эти звезды над головами людей, так что на толпу обрушивался звездопад.

— Слово и Дело! Слово и Дело!!.

Откуда-то появились санитары в белых халатах, с черной, длиннорукавой рубахой. Безбоязненно полезли в кузов. Им помогали милиционер и несколько ловких добровольцев, выброшенных толпой. Старика повалили в кузове, опутали сначала гирляндой, чтобы не рвался, и лишь потом обрядили в смиренную рубашку. Однако и связанный он отбивался ногами и, обращаясь к шумящему, как океан, народу, кричал подбитой птицей:

— Слово и Дело! Слово и Дело...

26. В ГОД 1971 — ИЮНЯ 5 ДНЯ...

Сторожить монастырский яр уже не было смысла: берег рушился по-прежнему, однако плотно спрессованный песок был чист и безгрешен. Разве что изредка за отвалившимся пластом открывались едва заметные очертания ямы, на дне которой внимательный глаз различил бы неширокую буроватую полосу — то ли ожелезненный, спекшийся желвак песка, то ли следы потеков от мощного черноземного слоя. Разрешить сомнения можно было, подобравшись вплотную, но никто, кроме Деревнина, не подбирался близко к отвесному яру. Сверху не заглянешь из-за нависшего над обрывом толстеного дерна; снизу же подъедешь только в большую воду, и то если хватит отваги сунуться под опасный берег. Поэтому Деревнин постепенно успокоился и лишь изредка, выезжая на монастырский плес в резиновой лодке, глядел на обрыв, как глядят на убитую змею.

Между тем в начале каждого лета, особенно по выходным дням, у противоположного берега якорились десятки "резинок" с рыбаками: начинался клев толстолобика. Завидя лодки напротив яра, Деревнин накачивал свою, брал удочки и плыл на монастырский плес. Его тянуло сюда всякий раз, как только возникало людское оживление. При этом он ощущал какое-то ревностное чувство, словно ожидалось покаяние на его частную собственность.

В этот год вода подзадержалась и к началу июня стояла еще высоко. Толстолобик брал вяло — разжирел на вольных разливах, но рыбаки уже застолбили места и целый день качались на волнах от буксиров и самоходных барж. И с ними вместе, придремывая от тепла и плавной зыби, торчал у своей вешки Деревнин. Берег еще рушился, но не от напора воды, а от беспрестанно идущих речных судов — фарватер проходил под самым яром. Никто уже не замечал всплесков глыб плотного песка, как, впрочем, не замечалось любое движение на реке, когда взгляд прикован к поплавам и ухо слышит лишь звон сторожевых колокольчиков.

Буро-черное пятно на желтом песке береговой стены Деревнин увидел не сразу. Вдруг глаз зацепился за примелькавшийся предмет и потянул за собой сознание. Сначала почудилось, что это сползший с кромки яра пласт дерна. Но, присмотревшись, Деревнин различил очертания ямы: песок, перемешанный с черноземом, ясно отбивал ее контуры.

Пятно напоминало пролет старого, почерневшего заплота, оказавшегося под землей, на дне ямы. Появилось оно постепенно — Деревнин точно запомнил, что перед этим берег не валился. Создавалось ощущение, будто пятно

проступило из песка, как кровь из раны проступает сквозь рубашку.

Он понял, что это не дерн и не дерево, долго пролежавшее в земле. Удилище вывалилось из рук и поплыло, утягивая леску с поплавком. Однако Деревнин справился со слабостью и краем глаза заметил, как скучающий рыбак в лодке по соседству, подняв бинокль, шарит им по яру, что-то говорит товарищу и показывает рукой.

Все, теперь уже не спрятать, не убрать с глаз. Яма расположена торцом к реке, а длиной она в семь-восемь сажен...

Неужто пробил час? Не прятать — кричать надо!

Деревнин отцепил лодку от якоря-вешки, направил весла и сильно погреб к монастырскому берегу. Путь ему подсекал буксир с порожней баржей, однако Деревнин рассчитал, что они успеют размежеваться на самом фарватере: сильное течение сносило лодку и как бы отводило от столкновения. На буксире его заметили и переполошились. Над вечерней рекой сначала рявкнул гудок, а потом понеслась лихая, забористая брань. И все-таки он успел проскочить перед носом баржи, толкаемой буксиром. Волна качнула, и, словно плужный лемех, отодвинула резиновую лодчонку с пути.

Зацепиться за берег было невозможно. Стена плотного песка отвесно уходила в воду, и, чтобы не сносило, Деревнин беспрестанно греб против течения. До ямы было высоко, метров сорок, но сомнений уже не оставалось.

Уцелела яма. Либо он промахнулся, когда указывал их Кирюку. Либо Кирюк, а вернее, солдаты мимо кислоту влили. Деревнин не мог отвести глаз. Тут он понял, отчего так незаметно открылась могила: вертикальные пласты песка, словно занавесы, отвесно соскальзывали вниз и почти беззвучно уходили в воду. Лишь пузыри вздувались на этом месте да облако желтой мути тянулось вдоль прижима. Завороженный, Деревнин все греб и греб, опасно приближаясь к берегу. Вдруг пятно шевельнулось вслед за ушедшим вниз песком, и из ямы выдавился какой-то ошметок, завис над пропастью...

Деревнин наконец оглянулся назад: под гулкий мат с очередного буксира лодки рыбаков одна за одной лезли на фарватер.

— Что там такое? — спросил рыбак, что разглядывал обрыв из бинокля. — Вроде даже шевелится! Слушай, а не клад ли часом, а?!

Увлеченный, он выгребал против течения, но лодка вертелась на волнах и чуть ли не черпала бортом. Его товарищ прилип к биноклю и ничего не замечал.

— Клад, клад, — грубо проворчал Деревнин. — Для вас поклали...

— Я слышал, монахи тут золотишко припрятали, — продолжал тот, веселясь. — Будто два конских воза. И никто до сих пор не нашел!

— Рубероид! — вдруг закричал рыбак с биноклем. — Да там какой-то драный рубероид висит. На, глянь!

— Дураки! — заорал Деревнин. — Люди это! Могила братская, поняли!

— Ну, скажешь! — засмеялись рыбаки — съехалось уже несколько лодок. — Тут и войны-то не было!

— Откуда знаешь, дедок?

— Поживете с мое — все узнаете! — огрызнулся Деревнин.

Мужики в основном были молодые, задорные, возрастом к сорока — та самая пора силы и удали, когда нет сомнений и чудится, будто жизнь свою держишь в руках, как только что пойманного толстолобика.

— Кончай, дедок, пугать-то! — не унимались рыбаки. — Там бревна какие-то. Или плахи гнилые! Может, и правда клад!

В этот момент песчаный язык тихо скользнул в воду и увлек за собой то, что торчало из ямы. Лодки шарахнулись от берега, спутались весла, закрипела резина.

— Человек!! — оглашенно заорал один из рыбаков и, вскочив на ноги, тыкал пальцем в воду. — Я видал! Я видал!!

Предмет, и впрямь похожий на гнилую осклизлую плаху, бесшумно ушел в реку следом за песком. Вспучилась вода, густая пузырящаяся муть, подхваченная течением, понеслась вдоль берега. В несколько гребков Деревнин подогнал лодку к прижиму и, удерживая ее против течения, стал ждать. Остальные рыбаки, забыв о веслах, медленно уплывали вниз.

— Милицию! — крикнул кто-то. — Пускай проверяет!

Деревнин дождался. Черный плоский предмет медленно вынырнул из воды и, чуть притопленный, поплыл рядом с лодкой. Бросив весла, Деревнин смотрел на него в оцепенелой задумчивости.

— Слышь, дедок? Чего там? Чего? — спрашивали рыбаки, но никто не приближался. — Бревно? Дерево?

— Сами вы дерево! — отозвался Деревнин и оттолкнул веслом труп.

— Не трогай, дед! — закричали мужики. — Не доставай! Ну его на хрен! Милиция пускай подымает!

Деревнин налег на весла, и рыбаки, словно по команде, начали грести вниз, к городу. Труп потянуло в кильватер лодки,хватило движением, и Деревнину показалось, будто он настигает "резинку" и вот-вот ткнется в борт. Пришлось снять весло и толкнуть еще раз, теперь в сторону.

"Господи! — страшась, произнес Деревнин. — Я ведь прощен. Меня же простили!"

— Не доставай!! — орали ему мужики. — В милицию поехали!

Труп отстал, прибившись к берегу, но течение относило его на фарватер. Рыбаки же повскакивали в лодках и, норовя опрокинуться, кричали наперебой, махали руками, словно таким образом хотели отвязаться, откреститься от страха. Деревнин догнал их и, не сбавляя хода, проплыл мимо.

— Давай, дедок, в милицию, — успокаиваясь, предложил один из рыбаков. — Пускай меры принимают!

— Что вам милиция? — грозно сказал Деревнин. — Привыкли: как что, так милиция... Я знаю к кому! Поехали за мной!

Рыбаки послушались, взялись за весла. Лишь две лодки, покрутившись на месте, потянулись на плес: жалко стало вечернего клева. Их крыли матом, грозили кулаками. Мужикам хотелось держаться кучкой, скопом, и, боясь отстать, они мешали друг другу, стукались веслами и бортами. И при этом никто не смел обогнать Деревнина, тем самым выделяя его как вожака.

Подплывая к лодочной станции, Деревнин заметил толпу у самой воды. Человек пятнадцать мужчин и женщин стояли полукругом, причем неподвижно, словно над могилой. Вокруг колготились подростки, бегали по

громыхающим дюралевым лодкам. Подчалившись ближе к толпе, Деревнин бросил на песок "резинку" и заглянул через плечи стоящих.

— В чем тут дело?

— Да вот, утопленника поймал! — довольно объяснил сторож с лодочной станции. — Думал, топляк плывет. А зацепил багром — во!

Деревнин протолкался вперед, но посмотреть не смог: глаза закрылись сами собой, дрогнули занемевшие в лодке ноги. Он вышел из толпы и ощутил рвотный позыв. Как тогда, после первого расстрела. Проглотил, задавил в себя тошноту и сказал трезвым голосом:

— Сейчас еще одного принесет. Лови.

Люди начали медленно оборачиваться к нему, тараща недоуменные глаза. Сторож пьяненько засмеялся. Рыбаки подтягивались к толпе.

— Ну, что смотрите? — с вызовом спросил Деревнин. — Там таких утопленников целый штабель лежит! Братская могила обрушилась! А власть никаких мер не принимает!

— Где? Где? — запереглядывались люди. — Какая могила? Откуда?

— Под монастырем! — отрезал Деревнин. — Кто смелый — айда со мной!

— Хе-хе! — заржал сторож. — Если могила, были б кости! А тут целехонький! Я что, утопленников не видал?

— Их густой известью в ямах заливали, — отчеканил Деревнин, и ропот мгновенно стих. Холодный испуг побежал по лицам, словно блики лунной дорожки на серой воде. Собравшиеся наверняка видели раньше старика — примелькался на улицах, но теперь рассматривали так, будто сейчас только заметили и каждый хотел спросить: "Кто ты? Ты кто?"

Деревнин, увлекая за собой рыбаков, направился в гору. Один по одному толпа устремилась следом. Старика уже доверяли, поскольку он знал то, что для остальных пока оставалось тайной. Пока шли по набережной к горкому, за Деревниным собралось больше полусотни народу. Говорили вполголоса, но густо. Рыбаки на правах очевидцев рассказывали о яме и будоражили толпу, напивая ее возбужденной решимостью. Даже те, кто пристал из любопытства и развлечения, скоро суровели лицами, и по устам электрической искрой пробежал вопрос: что за яма? что за трупы? откуда? почему? И строили предположения.

Все или почти все знал старик, идущий впереди, но он вел народ, а у вожаков спрашивать не принято. Каждый надеялся все узнать у горкома. Там-то скажут правду! Никому и в голову не пришло, что день субботний и начальства наверняка нет.

Сам Деревнин вспомнил об этом, когда уже пришли к горкому. Однако он не растерялся, вызвал дежурного инструктора. Молодой парень, только что взятый с комсомольской работы, увидев толпу — а по случаю выходного много было выпивших, — стушевался и заперся в приемной. Видимо, он позвонил в милицию, поскольку через несколько минут к горкому подлетела желтая дежурка.

— Первого давай! — кричали из толпы. — Пускай Кирюк выйдет!

Приехавший милиционер попытался отогнать собравшихся, но лишь растравил людей. Рыбаки пошли на него, требуя принять меры, к ним присоединились

выпившие и те, кто видел пойманный на пристани труп. Милиционер наконец заметил в толпе Деревнина, обрадовался, замахал рукой:

— Дед! Что это за сборище? Чего они хотят? По какому случаю?

— Иди вон трупы из воды поднимай! — отрезал Деревнин и крикнул толпе: — Айда, мужики! Домой к Кирюку пойдем! Такое творится, а он дома прячется!

— Домой! Домой! — подхватили рыбаки. — А то дожили! Скоро удочку не забросишь!..

— Может, к Чингизу? — предложил кто-то. — Чингиз махом меры примет!

— К Кирюку! — перекричал его Деревнин. — Это дело политическое!

И никто уже больше не спорил.

Когда миновали город, толпа выросла вдвое. Однако чем ближе подходили к особняку за железной решеткой, тем короче становился шаг, и стихал гвалт. Правда, и дорога шла в гору — на одном духе не одолеешь. У ворот толпа остановилась и начала сжиматься. Милиционер вышел из будки и с недоумением уставился на мужиков.

— Вы чего? Что за демонстрация? Вроде не праздник...

— Вызывай Кирюка или открывай ворота! — распорядился Деревнин. — Поговорить надо!

— А ну, марш отсюда! — крикнул милиционер. — Поговорить!.. Вам, может, министра подать? Быстро, пошли отсюда! Быстро!

Возле ворот стояло четыре черных машины — похоже, к секретарю съехались гости. Мужики побродили вокруг них, присмотрелись и, освоившись, расселись на капоты.

— Давай Кирюка! — требовали из толпы. — Тебя чего сюда поставили? Доложи — народ пришел!

Привратник глянул через головы все прибывающего народа — женщины еще подтягивались, заполнив всю видимую часть дорожки — и заскочил в будку. Рыбаки приступили к воротам и решетке, потрясли их за прутья.

— Зови Кирюка! Дело серьезное! А то свалим к чертовой матери и сами зайдем!

— Вы что, офонарели?! — заорал милиционер через круглую форточку, не отнимая от уха телефонную трубку. — Счас всем по пятнадцать суток оформлю!

Рыбаки возмутились, а подгулявшие мужики и вовсе вошли в раж. Они со свистом и счетом начали раскачивать створки ворот, а кто-то, похваляясь силой, стал разгибать прутья решетки.

— Дедок! Лезь! Ты тощий, пролезешь! — кричали.

— Где же тощий? Выламывай пару прутьев!

Деревнин заметил человека, бегущего от дома, и узнал его: оперуполномоченный "конторы глубокого бурения". Лично они не были знакомы, но Деревнину показывали "опера" со стороны.

— В чем дело, товарищи? — спросил оперуполномоченный. — Что здесь происходит?

— Пригласите секретаря горкома! — потребовал Деревнин.

— Он занят, — был ответ.

— Кирюка! — закричали мужики, раскачивая сразу три решетчатых пролета. — Пускай правду скажет!

— Какую правду? — сохраняя спокойствие, спросил "опер".

— Правду! Правда одна! — драли глотки рыбаки. —

Почему покойники из берега валятся! Кто их туда положил?!

Оперуполномоченный заглянул в будку привратника, затем скорым шагом направился к дому. Привратник встал за воротами и достал пистолет.

— Немедленно отойдите от ограждения! — крикнул он срывающимся от волнения голосом. — Стрелять буду!

— Стреляй! — заорали подвыпившие мужики. — Ишь, он стрелять будет! Видали? Стреля-яй!!

Мужики раскачивали черные машины, дубасили кулаками по гулким капотам.

— Стреляй!

Привратник зажмурился и выстрелил дрожащей рукой.

От города послышался вой сирены, полоснул по сосновым стволам пронзительно синий спецсигнал — "Попугай". Те, кто не успел подтянуться к воротам, горохом сыпанули по сторонам от милицейской машины, за которой с ревом мчалась красная "пожарка".

— Не бойтесь! — призвал Деревнин. — По людям стрелять не будут! Хватит, настрелялись уже! Вон полные ямы набили! Не бойтесь!

Милиционер спрятал пистолет и стал шарить по траве, отыскивая стреляную гильзу. Загулявшие мужики, слыша вой сирены, россыпью бросились по лесу. Рыбаки отступили от ворот. Толпа расступилась, пропуская машины, въезжающие на бетонную площадку. И как только выключили моторы, стало так тихо, что все слышали шум сосновой хвои над головой и пение вечерних птиц. В это время Деревнин увидел, что от дома идет Кирюк. Идет неторопливо, словно на прогулке, лишь легкое подергивание ног выдает волнение. Так некоторые гордецы идут к стенке...

Деревнин сжал кулаки, чтобы погасить волнение. Пробил, пробил час! Дожил ведь, дождался!

В широкую лоджию вышли какие-то люди, в основном пожилые, степенные, и один среди них оказался военным. Только из-за расстояния не отличить, в каком звании.

Кирюк остановился по ту сторону ворот, заложил большой палец в карманчик жилета. Держался спокойно, независимо, показалось, даже с ухмылкой.

Вдруг Деревнину подумалось, что Кирюк наверняка бы трусил, если бы его подвести к воротам конюшни и включить свет. Заорал бы, стал упираться и просить пощады. Не такие орлы на коленях ползали! Странное было дело: чем невзрачнее человек, тем спокойнее шел в конюшню. Ладно там бывшие офицеры-дворяне, священники — в этих породе норов свой показывала. Но ведь на другого глянешь — сморчок, в чем душа держится. Видно же, смерти люто боится, а идет! Да как идет!

Деревнин часто думал подобным образом. Чтобы составить для себя представление о человеке, он как бы мысленно вел его расстреливать, и тогда ясно вырисовывался характер. Однако тут он усомнился, глядя на Кирюка: кто его знает? Времени-то много прошло. Что, если успели вырасти и воспитаться, будучи при власти, новые люди? Наподобие священников или тех же родовитых дворян?

— Что вы тут устроили, Деревнин? — брезгливо спросил Кирюк.

— Хорошо живешь, слуга народа! — сразу взял высокий тон Деревнин. — Тишина тут, покой, птички поют над головой. И домик — слава Богу!

Он оглянулся на мужиков. Те стояли молчаливые, с не

прошедшим еще возбуждением и азартом на лицах, но в глазах уже возник легкий, летучий испуг. Никто и никогда так с секретарем не разговаривал. Неслыханная дерзость творилась при народе! Как бы то ни было — власть все-таки, и большая. Уважительнее бы надо...

— Давайте ближе к делу! — отрезал Кирюк. — Лирика потом.

— Действительно, лирика! — подхватил Деревнин. — Можно так жить. Отгородиться от народа стальным забором и жить! А пишите, народ и партия едины!

Он спиной чувствовал, как все медленнее и беззвучнее дышат люди. "Ничего! — со злостью подумал он. — Пускай привыкают! Пускай смелеют! А то привыкли как бараны!.."

— Короче, — сдерживаясь, поторопил Кирюк. — Излагайте суть.

— Короче не выйдет! — заявил Деревнин. — Вы тут засели, уединились и гуляете, — он кивнул на людей, стоящих в лоджии. — А там из берега трупы валяются. Да, я говорю про монастырь!

Он сделал паузу, но показалось, Кирюк даже несколько расслабился. Будто про себя облегченно вздохнул. "Ах ты! — мысленно воскликнул Деревнин. — Пожалуй бы, не сломался! Сам бы еще и свет включил!"

Был один такой: как подошла очередь, оттолкнул стрелка от рубильника, воткнул его сам и спокойненько вошел в конюшню.

— Чьи трупы? — с намеком спросил Кирюк. — Кто их туда положил?

— Я положил, я! — с вызовом сказал Деревнин. — Кто бы их ни положил — при тебе они из могилы встали. Тебе их и хоронить.

Кирюк понял, что намекать не следует. Невыгодно сейчас, когда за спиной старика стоят люди и ловят каждое слово. Он глянул поверх головы Деревнина: по дорожке мчалась машина начальника милиции. Деревнин обернулся, лишь когда Березин шел к воротам, рассекая толпу. Привратник бросился к калитке.

Березин поравнялся с Деревниным, остановился на мгновение и глянул озабоченно, словно спросить хотел: как ты тут? Все ли хорошо? "И ты явился, сосунок, — подумал Деревнин. — Ничего, и тебе достанется. Погоди, мечтаешь барана на голову получить? Будет, будет тебе папаха..."

Березин поздоровался с Кирюком за руку, и тот приказал привратнику не запирайте калитки.

— Заходите ко мне, Деревнин, — предложил он. — Смелее, что же вы?

— Нам через решетку сподручнее говорить, — отпарировал Деревнин. — Мне с народом ловчее, чем с тобой. Да мне и скрывать нечего. Меня простили.

Люди за спиной будто и вовсе перестали дышать.

Оперуполномоченный подошел к Березину и о чем-то тихо заговорил.

— Рабочих людей взбаламутить — храбрый, под прикрытием несведущих секретарю горкома хамить — храбрый, — неторопливо пошел в наступление Кирюк. — А один на один — так в кусты? Или, как говорят, на миру и смерть красна? И на воре и шапка горит?

Он очень хотел оторвать Деревнина от толпы, зазвать к себе, подальше от лишних ушей. Собственно, и Деревнину хотелось поговорить в узком кругу. Только в узком можно было всем им поставить мат. Никто не должен видеть, как завершится поединок. Но о победе узнают все. Завтра уже

Кирюк принародно пойдет к нему с улыбкой и протянутой для рукопожатия рукой. Деревнин лишь кивнет ему, но в следующий раз секретарь опять подаст руку. И так будет всегда.

— Я уже старый, — устало сказал Деревнин и двинулся в калитку. — Старому бояться нечего. Пускай молодые боятся.

О себе он думал, что, доведись шагнуть через порог конюшни — шагнул бы с достоинством. И шел бы, не втягивая голову в плечи, как делали даже самые отчаянные.

Даже он, Андрей Березин, будто убавился в росте — так ждал выстрела...

Деревнин встал перед Кирюком, рука сама легла за лацкан старого, вытертого зеленого кителя. Ей было привычно там, спокойнее.

Справа оказался оперуполномоченный, слева — начальник милиции.

— Сейчас вы поедете с Березиным домой, — тихо сказал Кирюк, глядя Деревнину в переносицу. — Запретесь на ключ и будете сидеть там, пока народ в городе не успокоится. Как мышь в норе. Даже нет, как змея в бутылке.

— А-а, боишься, — улыбнулся Деревнин. — Боишься, что пойду и скажу людям, как ты их кислотой жег?

— Нет, не этого боюсь, — сказал Кирюк, но было, было видно, что боится. — Не хочу, чтобы вас растерзала возмущенная толпа.

— Кого — кислотой? — не сразу спросил начальник милиции. — Кого жгли кислотой?

— А того! — сунулся к нему Деревнин. — Трупы жгли. Я ему ямы указал, а он солдат пригнал, нерусских, чтоб не проболтались. И заставил скважины в могилах бурить и кислоту заливать.

— Правда? — спросил Березин, и взгляд его отяжелел. — Это правда?.. Правда или нет?!

Глаза начальника милиции замерли, потускнели, и зрачки сузились до точек, словно у покойного.

— Арестуйте его, — спокойно приказал Кирюк оперуполномоченному. — Об ордере я побеспокоюсь.

— Арестуй! — торжествующе сказал Деревнин. — Ну-ка, попробуй! Руки придется крутить, а люди видят!

— Почему я не знал об этом? — очнулся начальник милиции, потянулся к Кирюку. — Почему я об этом ничего не знал?!

— Ой уж, не знал! — засмеялся Деревнин. — Вместе, поди, решали! Вместе придумывали! Дурачком прикидываешься?.. Ты меня обидел! Дед твой простил, Андрей Березин простил! А ты... Измывался надо мной. Расхлебывай теперь вместе с Кирюком. Я посмотрю на вас.

— Я же приказал арестовать. — Кирюк выдерживал голос, но выдавала, задергалась бровь. — Товарищ оперативный уполномоченный?

— Он психически нездоров. — ответил "опер". — Все признаки шизофрении.

— Давай-давай, крути руки! — засмеялся Деревнин. — Не бойся, я здоров! А трупы все равно торчат. И народ там собирается... Сволочи вы, иуды. Меня! Меня стрелочником сделали. Пенсию отобрали. Заслуженную пенсию! Я той же власти служил, которой и вы служите. А меня под топор?! Сами панствуете, вон в каких теремах-то живете. За что же вы меня, своего?.. Вот и получайте трупы! Что? Богатое

наследство? Богатое! Это вам за предательство! Получайте! Получайте!

Он нервно дергал пальцем, словно давил спусковой крючок.

Потом вытер губы, вздохнул облегченно.

— Если сейчас хоть волосок с головы... Отсюда народу крикну. Ладно, я стрелял. А вы-то — мертвых кислотой! Крикну народу — всем вам гроб с музыкой.

Кирюк выслушал молча, покусал губу.

— Какому народу? — спросил он устало. — О чем вы, Деревнин?

— Нашему народу, — усмехнулся тот. — Советскому!

— Где же он? — Кирюк заложил второй палец в карманчик жилета. — Ну где? Где ваш народ?

Деревнин медленно обернулся...

У ворот было пусто. Ни одного человека, если не считать милиционеров и пожарников.

Он не поверил, пошел к воротам и увидел лишь мамаш с колясками, легко бегущих под гору.

— Ладно, Деревнин, идите вы к... — Кирюк махнул рукой. — И прошу вас, не попадайтесь мне на глаза. Обходите стороной. Прошу вас.

Он стоял, упершись головой в решетку ворот, и стальные прутья сжимали виски...

Николай вернулся в отдел поздно, глядя себе под ноги, прошел в кабинет и повалился в кресло.

Под стеклом на столе лежали ориентировки с портретами на пропавших без вести людей. Первой в ряду — прабабка, Любовь Прокопьевна Березина, мать Мелитина. Текст был короток, холоден и прост: "...20 мая 1962 года ушла из дома и не вернулась... Приметы: рост, цвет волос, глаз... Особые приметы: носит черную монашескую рясу, крест. ...Знающих что-либо о местонахождении просят сообщить..."

Второй в ряду стояла вечная беда и боль деда — его сестра, Ольга Николаевна Березина. Дед все-таки настоял подать ее в розыск, надеялся, верил, хотя умом понимал все. И тоже — приметы, особые приметы. И даже портрета нет настоящего, а тот, что нарисован художником со слов деда — искусственный, не живой. Пожалуй, теплее и верней портрет словесный.

Дальше по счету шли Алексей Иванович Березин, матрос; Всеволод Иванович Березин, специалист по селекции лошадей; Михаил Михайлович Березин, врач...

Их можно было искать вечно.

Ориентировки на минуту отвлекли внимание, хотя давно примелькались и походили больше на музейные экспонаты.

Можно больше не торчать в отделе, а ехать домой, но там пусто и оттого невыносимо холодно. Сутки назад, вернувшись с дедом из психиатрической больницы, Николай не смог оставить его в Нефтеграде. Уговоры не действовали, даже правнуком не удалось заманить. Не отвезешь на машине, — заявил дед, — уйду пешком. Мне не привыкать.

И дальше порога шагу не ступил в казенной квартире внука.

Пришлось вместе с ним отправлять Светлану и Андрюшку. Как они там, в келье на "родовом" березинском холме?

Может, поехать сейчас к ним? Оставить все, скинуть погоны — а самовольный отъезд будет их стоить, — и в свою "вотчину", к родне, к дорогим и любимым людям. Пока они живы, пока — не приведи Бог! — не попали под стекло в один ряд с другими. Как бы хорошо сейчас сесть вчетвером, обняться, прижаться головами и, закрыв глаза, просто молчать.

Нет, рано! Нужно дожидаться утра, рассвета, чтобы поехать в монастырь, на место происшествия. Поехать, чтобы самому, своими глазами увидеть...

Только самому надо посмотреть и яму, и трупы, вкусить историю во всей ее плоти и крови, вдохнуть ужас, может быть, пережить смерть. И тогда понятна станет жизнь отца, жизнь деда и бабки, жизни тех, кто угодил под стекло на столе. Возможно, тогда приблизится открытие заповеди, совершенное дедом: непротивление злу насилием. Как же научиться прощать палача, глядя на его жертвы?!

Неужели свершится предсказание деда, и ему, внуку, придется крикнуть Слово и Дело, чтобы вырвать людей у безумия?

А разве не безумие было сегодня?..

Когда Кирюк увидел толпу у ворот, он испугался не на шутку. Нет, он не боялся ни Деревнина, которого легко скрутил в бараний рог, ни шумящего, разгоряченного народа. Он слишком хорошо знал жителей Нефтеграда, чтобы всерьез принять мятежную ватагу. Из коротких разговоров Николай понял, что Кирюк в первый момент решил, что люди каким-то образом узнали о ядерном заряде, который готовили для спуска в скважину. Работы вели приехавшие специалисты, причем в режиме строгой секретности. Но если произошла утечка информации, значит, проболтался кто-то из посвященных, а скорее, сделал это умышленно. Как же работать, коли в аппарате сидит настоящий враг?

А потом, если люди взбунтовались из-за ядерного заряда, то их уже ничем не проймешь, не сагитируешь за прирост нефтедобычи, не убедишь интересами экономики, государства и партии. Это просто были бы другие люди.

Кирюк спешил с установкой заряда в скважине на четверть мегатонны. По сути, он спасал город, ибо хорошо знал Чингиза, который в это время ходил по своим высочайшим каналам и требовал заряда в мегатонну. Кирюк не сомневался, что "нефтяной король" добьется своего.

Но в любом случае, как бы ни говорили о благородстве мирного использования ядерного взрыва, бомба под городом — это безумие.

Как штабеля трупов под монастырем, как кислота, закачанная в могилы...

Неужто так быстро пришло время и уже сегодня пора крикнуть Слово и Дело?!

Погоди, погоди...

Почему никто больше не чувствует в этом безумие? Нет, надо спросить Кирюка, специалистов, что заряжают скважину, ученых, изобретших способ возбуждения нефтяных пластов. Неужели они никогда не задумывались, где кончается разум и начинается безумие?

Что бы было, расскажи он сейчас жителям города о ядерном заряде под землей? Пошли бы они толпой к дому секретаря?.. Вряд ли бы пошли! Трупы в яме — это страшно. От них содрогается душа, в дыхании смерти видится своя собственная смерть, и дороже становится

даже самая низменная и убогая жизнь. А что маленькая, пусть и атомная бомба на глубине в два километра? Радиацию не увидишь глазом, не попробуешь на вкус, не пощупаешь руками. Она как бы безвредна лишь потому, что так устроены человеческая психика и чувства. Если же еще прибавить к этому политику на мирное использование атома, международные договоры о неприменении ядерного оружия, прибавить, наконец, сознательность простого человека, основанную на гордости и на жалости к собственной Родине, — нефть до зарезу нужна стране! вы уж потерпите! — если все это учесть, пожалуй, и десятка человек не собрать с города. Ну, подумаешь, лампочка качнется под потолком от легкого толчка, совершенно безвредно для организма повысится фон. Зато снова пойдет большая нефть, большие деньги, блага и награды.

В чем же оно выражается, безумие? В каких рентгенах можно измерить его незримый фон? Что, если безумие начинается тогда, когда нарушается равновесие ума и чувства? Чингиз привезет мегатонну, а не получится и с ней, то достанет две, три, четыре. Люди привыкнут к взрывам — нет же допустимого предела! Вернее, он потом будет, но уже поздно! Незримая смерть не пощадит и младенцев. И будут новые ямы...

Наверное, разум можно мерить только человечностью. Уровень разума настолько высок, насколько высока человечность во всем, что исходит от рук и ума человеческого.

Но все так зыбко! Разумен и честен ли судья, взявший в руки этот измерительный инструмент?

Размышляя так, Николай забылся и не сразу услышал вкрадчивый стук в дверь. Боязливой рукой кто-то скребся к нему и, наверное, требовал к себе человеческого отношения. Николай встал и отворил дверь.

На пороге стоял милиционер, снятый им с поста возле дома Кирюка. Деревянно-скованный, растерзанный и потрясенный.

— Рапорт о применении оружия написали? — спросил Николай.

— Написал, — выдавил привратник.

— Оружие сдали?

— Сдал...

— Карточку-заменитель на стол, — скомандовал Николай.

Милиционер выложил из стылой руки картонный квадратик — документ на получение оружия в дежурной части. Николай смотрел ему в лицо и видел только страх. Страх перед начальником, перед обстоятельствами и судьбой.

— Зачем ты стрелял? — тихо спросил он.

— Я в воздух, — признался милиционер.

— Но зачем ты стрелял?

— Попугать хотел, — признался тот и поправился: — Предупредить.

Николай тяжело встряхнул головой.

— Зачем стрелял?

Привратник окончательно смутился, но, преодолев страх, все-таки выдавил:

— По инструкции... Когда нападение...

Николай достал ножницы и начал спарывать с милиционера погоны. Он знал, что делает это незаконно, что до проверки специальной комиссией действий сотрудника его нельзя судить, нельзя снимать погоны и

отбирать удостоверение. Отстранить от службы — можно, лишать его милицмейских полномочий — нет.

Милиционер пугливо косился на ножницы у плеча, и по бледному лицу его текли слезы.

— Плачь, плачь, — тихо, как-то по-старчески приговаривал Николай. — Я тоже сегодня плакал... Надо ведь и плакать учиться.

27. В ГОД 1971 — ИЮНЯ 6 ДНЯ...

Монастырь теперь назывался по-протокольному — местом происшествия.

Эти два слова засели в голове и навязчиво долбились в затылок. Николай обошел монастырский двор, заглянул в храм, потом долго исследовал оставшиеся три стены, пока не поймал себя на мысли, что всячески оттягивает тот миг, когда надо подойти к обрыву и заглянуть вниз. Там, у самого края, уже стояли люди и, цепеня, смотрели под обрыв, как смотрят в бездонную пропасть или в могилу. Они уже будто перешагнули незримую черту и увидели то, что нельзя видеть простым смертным. Все, лежащее ниже кромки берега хотя бы на пядь, казалось сакральным; люди немели, ноги вращали в землю, и в их соляных лицах, будто в зеркалах, отражалась смерть.

Он понимал, что когда милиционеры закрепят и спустят под берег веревки, ему придется спуститься вниз. Он чувствовал, как неотвратимо приближается эта минута. До нее, как до обрыва, было всего несколько шагов.

Все. Теперь уже ничто не спасет и не избавит от рока. Словно метроном, отсчитывая секунды, Николай сбросил китель и поднял веревку. Прежде чем спустить ноги с обрыва, в самый последний миг он неожиданно подумал, что, побывав в н и з у, уже невозможно станет жить как прежде. Казалось, в мире произойдет что-то необратимое, что-то сломается, безвозвратно испортится, как засвеченная фотопленка. И думалось ему, что спускаться придется глубоко и долго, но сакральное начиналось почти сразу же от поверхности, под слоем чернозема и песка, словно пулеметной очередью пробитого стрижиными норами.

Яма напоминала консервную банку с разрезанным боком.

Николай прирос к веревке. Струи сухого песка текли из-под ног, словно в песочных часах. Миг длился вечность.

Потом он вскинул голову и, увидев крест на куполе храма, потянулся к нему, стал карабкаться на берег, как на льдину. Стрижи металась у лица, задевали крыльями, выстреливая белый известковый помет. Крест приближался, и когда до него оставалось дотянуться рукой, вдруг взмыл в небо и утвердился на своем месте. Николай ощутил твердую землю под собой и встал на ноги.

Люди, сгуртившиеся у обрыва, почему-то попятнулись.

Он протянул к ним натруженные веревкой и изрезанные руки.

— Больно... Как больно!

— Что же вы рукавиц не взяли? — посожалел милиционер, заглядывая в скрюченные ладони начальника. — Я ведь специально привез!

Храм стоял в десяти шагах от обрыва, прямой, как свечка, непоколебимый и мощный. У самой земли стены его казались тяжелыми, монолитными, похожими на

комлеватое старое дерево, но чем выше поднимался взгляд, тем легче делалось глазу. Устремляясь вверх, он вытягивался, словно язык пламени, истончался и, вспыхнув последний раз осанистыми куполами, превращался в невесомые, парящие в воздухе крестики.

Видимо, кто-то отдал команду, и людей начали выгонять с места происшествия. Они уходили с оглядкой, боязливо таращились на берег, на храм, а Николаю казалось, будто на него. Ему хотелось крикнуть: я не виноват! это не я! — но рот сводило судорогой. Он пошел было к воротам и чуть не столкнулся с Кирюком. Секретарь вел за собой четырех человек. Мелькнуло лицо начальника УВД, оперуполномоченного из "конторы глубокого бурения" и председателя горисполкома. Четвертый был незнаком Николаю. Будто на похоронах, они молча пожали ему руку, после чего Кирюк пригласил всех к обрыву.

— Показывайте, Березин! — распорядился он.

— А будешь смотреть? — Николай приблизился к нему вплотную. — Если будешь — вот веревка, лезь! Мне показывать нечего...

Он сгреб веревку, сунул ее в руки секретаря. Тот отступил на шаг, стиснул запекшиеся губы.

— Лезь! Смотри!

Начальник УВД приобнял Березина, сказал примиряюще:

— Ну, успокойтесь, Николай Иванович. Конечно, неприятность большая, так что теперь?..

— Неприятность?! — Николай отскочил. — Там люди! Там трупы в консервной банке!

Прибывшие с секретарем стояли в трех шагах от обрыва, и кромка его закрывала все; внизу лишь рябилась светлая речная вода. И никто не решался сделать этих трех шагов.

— Надо пригнать катер и посмотреть с воды, — нашелся Кирюк. — Я сейчас распоряджусь.

— Нет, ты отсюда лезь! — Николай потянул его к обрыву. — Я отсюда смотрел!

Кирюк вырвался, машинально отряхнул рукав.

— Товарищи, так никуда не годится! — подал голос незнакомый Николаю приезжий. — Давайте посоветуемся, что делать. Сколько там трупов?

— Я не считал, — бросил Николай, не сводя глаз с Кирюка.

— Сейчас посмотрю, — с готовностью отозвался секретарь и взял веревку. Не спеша, будто в собственный погреб, он опустил ноги под берег, затем перевернулся на живот и скользнул вниз. Зашуршал песок. Уже через минуту его голова показалась над обрывом. Оперуполномоченный подал ему руку и, не удержавшись, сам покосился вниз.

— Страшно, — неожиданно признался Кирюк. — Кошмар какой-то...

Остальные отступили от берега еще на несколько шагов.

— В любом случае мы должны принять решение, — жестковато произнес незнакомый приезжий. — Какие будут предложения?

— Трупы следует убрать немедленно, — заявил оперуполномоченный. — Завтра сюда съедется полрайона.

— Товарищ Кирюк? Ваши соображения.

Секретарь потупился. На лице было смятение и растерянность.

— Не знаю, — проронил он. — Дайте собраться с мыслями...

— Что тебе собираться? — спросил Николай. — Кислотой их! Ты ведь жег ямы кислотой? Хотел, чтобы и костей не осталось, а они вон — будто вчера расстреляны...

— А ты хотел, чтоб из всех ям повалилось? — взвился Кирюк. — И так уже народ взбудоражили!.. Похороненные должны оставаться в земле! В земле, понял?

— Кто их хоронил? — чуть не задохнулся Николай. — Кто? Ты?.. Да их стреляли и валили в яму! Это не могила — просто яма! Как на скотокладбище!

— Ты понимаешь, что нельзя! нельзя вскрывать этих ям? — Глаза Кирюка засверкали. — Ничего, кроме страха и ненависти, не будет от такого зрелища. Мало тебе вчерашнего? Тебе мятежа захотелось, смуты? А ты знаешь, чем всегда заканчивался русский бунт?! Не хочу, чтобы эти мертвые будили злобу в живых. Я вчера подумал: люди-то у нас — золото! Больше нас чувствуют и понимают. Только не следует их раздражать.

— Золото ваши люди. — Николай отвернулся к обрыву. — Только "черное золото". Укротил фонтан и в трубы его. Потом гони, куда захочешь...

— Вы что думаете, товарищ начальник милиции? — спросил незнакомый приезжий. — К другим придирайтесь легче. Сами-то что предлагаете?

— Почему я должен об этом думать и предлагать? — Николай повел взглядом по хмурым лицам. — Почему я?.. Я тут моложе всех. Но почему мне они достались?! — Он потряс рукой в сторону обрыва. — Этих людей расстреливали сорок лет назад! А я их сегодня хоронить должен?! Это что, наследство мое?.. Кто ответит — за что мне такое? За что?!

— А мне — за что? — возмутился Кирюк. — Я не виноват в смерти этих людей. Но вынужден принимать меры!.. Судьба нам такая, Березин. Они, сволочи, из земли пирог с человечиною сделали, а жрать его нам!

— Нет, ты врешь! — приступил к нему Николай. — Ты уже впрягся, ты уже с ними заодно, если их следы прятал и кислотой жег. Ты ведь следы прятал?

— Что ты хочешь сказать? — Кирюк отшатнулся. — Что я с этой мразью Деревниным заодно?

— Деревнин простой забойщик, — отрезал Николай. — Ты же защищаешь тех, кто делал политику. Зачем тебе это? Зачем?

— Березин, прекратите немедленно! — оборвал его начальник УВД. — Хватит виноватых искать! И так вон уже поискали... Не знаем, что с ямами делать. Чужой грех на душу берем.

Николай поднял с земли китель, надел его, застегнул на все пуговицы.

— Хорошо, я похороню их. Если мне выпало хоронить... Все сделаю, как полагается. И место для могилы выберу. Только знаете что? Уходите отсюда. Все уходите! Сам сделаю!

Он заметил, как облегченно распрямился Кирюк, как перевел дух оперуполномоченный, а начальник УВД снял фуражку и вытер платком глубокие залысины. Гора с плеч свалилась...

— Я тебе экскаватор пригоню, — тут же пообещал председатель горисполкома. — И пару самосвалов со стройки сниму.

— Как вы себе это представляете? — вмешался

незнакомый приезжий. — Так просто взять и захоронить? А вы знаете, кто в яме? Что за люди?.. Хоронить нельзя. Будет могила — здесь такое начнется! Если бы жертвы войны — другое дело. Я бы слова не сказал. Сами подумайте: это же будет памятник репрессиям. Пусть даже незаконным, все равно репрессиям. Так сказать, увековечим черную страницу нашей истории. Вы правильно рассудили, товарищ Кирюк. Память о мертвых станет раздражать людей, будить в них нездоровые желания.

На мгновение стало тихо. Николай смотрел в стареющее и добродушное лицо приезжего человека и чувствовал, как гнев, смешавшись с кровью, заливают глаза и разум.

— И далее, — продолжал тот. — Вы осознаете, что вам придется каждую весну вскрывать новые ямы и устраивать перезахоронения? Это же превратится в кошмар, в болезнь!

— Эта яма осталась случайно, — несмело вставил Кирюк. — Неправильно указали, ошиблись...

— В таких щепетильных делах случайностей и ошибок, быть не может! — жестко отозвался приезжий. — Вот цена вашей... ошибки. Поставьте сюда пару земснарядов и размойте берег.

Николай вышел из круга и медленно направился к монастырским воротам. Он шел так, словно ждал выстрела в спину, и когда до ворот оставалось несколько метров, не сдержался и побежал.

Несмотря на раннее утро, народ уже подтягивался к монастырю. Какие-то незнакомые старухи пытались повесить на стену пихтовый венок с бумажными цветами.

Николай бросил машину у подножия холма и пошел пешком. Заметив Светлану возле кельи, он помахал рукой и прибавил шагу. Там дымился костерок, поблескивали на солнце ведра, тарелки. полоскалось на веревке Андрюшкино белье и полотенца. "Родовое гнездо" Березиных напоминало походный стан.

— Ты вовремя! — засмеялась Светлана. — А мы обедать собираемся. Я сходила в деревню и принесла молока и творога.

— Как вы здесь? — Николай сел на бревно, содрал пропотевший китель.

Жена зачерпнула ковш воды, прихватила полотенце.

— Тут так хорошо, Коля! — восхищенно заговорила она. — Воздух такой! Особенно когда ветер тянет с бора. А вечером птицы пели. Место удивительное! Я бы тут все лето прожила!

Николай сбросил рубашку и стал умываться. Холодная вода смыла пыль, пот и головную боль.

— Где дед? — спросил он.

— С Андрюшкой пошли гулять! — весело доложила Светлана. — Второй день не расстаются. И спали вместе.

Она вытерла полотенцем волосы Николаю и вдруг стала серьезной и растерянной.

— Что? — спросил он.

— Не знаю, что и думать, — проронила она. — И что делать — не знаю. Вчера дедушка молиться встал, вечером. А Андрюшка к нему... Тоже встал на коленочки и крестится. Думала, играет или передразнивает. Но увидела личико... Сияет-мальчишка! Сегодня утром я его выманила из кельи, на речку повела. А он убежал от меня и снова к дедушке. И

опять молится... — Она смущенно улыбнулась. — Коля, он же еще ничего не понимает, правда?

Николай вскочил, огляделся кругом.

— Где они? Где?

— В сторону деревни пошли, на поля, — заражаясь его беспокойством, сказала Светлана. — У тебя что-нибудь случилось, Коля?.. Я же в первую минуту заметила...

— Случилось, Света, — выдохнул он. — Я больше не вернусь туда... погоди, а они давно ушли?

— Да с час назад...

— А какое сегодня число? — ужаснулся Николай.

— Шестое, — просто ответила Светлана. — Коля, что с тобой? Ты какой-то...

— Потом, потом! — крикнул он и быстрым шагом пошел к деревне.

Жена догнала его, забежала вперед.

— Коля, Коленька, только ты дедушке не рассказывай, что у тебя там случилось. Молчи, ладно? Не тревожь его. Он сегодня с утра такой радостный, такой веселый! Белую рубаху надел...

Николай бросился вниз по склону.

На выпасе за старой поскотиной было пусто. Лишь безнадзорные коровы поднимали от травы головы, разглядывая полуголого, бегущего человека.

За час могли уйти далеко. Где искать?.. Он заметил старика с полевой сумкой через плечо, подбегая к нему, узнал председателя колхоза Главадских. Тот вытаращил глаза на начальника милиции.

— Андрея Николаевича не встречали? — спросил Николай. — С сынишкой моим?..

— Потерялся, что ли? — опешил председатель. — Ведь он же, Николай Иванович, дом колхозу отдал, а бумагу не оформил. Как это понимать?

Николай недослушал его и побежал за деревню, где, прикрытые березовым перелеском, начинались колхозные поля.

— Пошлите уж его в сельсовет! — кричал ему Главадских. — Пускай отпишет!

В следующую минуту Николай пожалел, что поторопился. Надо бы попросить председателя, чтобы собрал мужиков и прочесал окрестности села. Если исполнится срок, назначенный на шестое?..

Выскочив из перелеска, он увидел на поле Андрюшку. Сын бегал по ржаным всходам, держа руки как самолетик, и смех его звенел серебряным колокольчиком. Николай кинулся к нему, схватил на руки и этим перепугал мальчонку; Андрюшка заплакал и закричал:

— Деда! Деда!

— Я это, я, сынок! — засмеялся Николай. — Ну, что ты? Мужик?

Сын разглядел, наконец, отца, всхлипнул и медленно, будто сонный, обнял за шею.

— Я летал, — тихо признался он. — Меня деда научил.

— А где деда?

— Во-он летит. — Андрюшка указал пальчиком в сторону перелеска.

Рубаха на нем была из какого-то легкого, летучего полотна; она пузырилась на спине, хотя и ветер дул несильный, и, напротив, спереди плотно облегла худое тело деда, так что сквозь ткань проступали ребра.

— Эх, спугнул! — пожалел дед. — Да ничего, поди, еще спустится. Ишь, звенит как?

Над их головами пел невидимый жаворонок.

— Пусти на землю, — попросился Андрюшка. — Я ногами пойду.

Сын побежал вперед, а Николай все присматривался к деду и веселел сам. Страшное сегодняшнее утро казалось здесь нереальным, не могло быть, не имело право существовать, когда мир такой чистый и простодушный, как звон жаворонка. Дед часто останавливался, рвал свежую, но уже взматеревшую траву и тут же пускал ее по ветру или выскивал былинки дикого чеснока, совал их в рот, а то, пригнувшись, что-то высматривал на земле — делал все это походя, без смысла, будто любопытный вертлявый мальчишка. Николаю же захотелось приласкаться к нему, и, стесняясь этого ребячьего чувства, он приобнял деда за плечи, расправил впушенную ветром бороду. Андрей Николаевич не умел ласкать, любил, но не умел, не знал как. Николай хорошо помнил возвращение деда из ссылки в пятьдесят седьмом. Тогда на слуху было слово — амнистия, нерусское, и потому невзрачное для уха слово казалось почти волшебным. Прощенный, свободный дед молчал недели две и лишь смотрел печально и застенчиво, как бы кругом был виноват. Домашние не тревожили его разговорами, но Коле все время хотелось побыть рядом с дедом, потрогать руками волосы, шрам на лице, одежду. Он был еще чужой, непривычный, однако необъяснимая тяга влекла Колю к этому человеку. Смущаясь и робея, он как бы между делом задевал деда то за колено, то за руку, а как замирала от восхищения душа, когда Коля набрасывал на плечи его старый кожушок и выбегал на улицу!

И сейчас от деда исходило какое-то радостное свечение, приводившее душу в тихий восторг.

Подходя к холму, Андрей Николаевич засмеялся и забормотал:

— Я взойду на гору, да я пошел под стрелу, да я пошел под стрелу...

— Ты что-то сказал, дед? — насморжился Николай.

— Нет, я песню вспоминаю, — озабочился он. — Старая строевая песня. Бойцы мои пели, под Уфой... Хорошая песня! Сейчас, погоди...

Он пошевелил губами, наблюдая, как Андрюшка гоняется за бабочками, и вдруг крепким звучным голосом запел:

Я взойду на гору,
Да я пошел под стрелу,
Да я пошел под стрелу.
Ты лети-то, стрела,
Да вдоль по улице,
Да вдоль-то по улице.
Ты убей, стрела,
Да доброго молодца,
Да доброго молодца!

Андрюшка со всех ног бросился к деду и встал под его правую руку, заглянул в лицо, тряхнул за штанину:

— Деда, ты с бозенькой говоришь? С бозенькой?

— С Боженькой, Андрей Николаевич, с Боженькой, — подтвердил дед. — Коль, пока не забыл: как меня похоронишь, так съезди в Башкирию. Километров десять от Уфы место есть, в степи. Найди его. Я после амнистии туда заезжал, да там целину подняли, все перепахали, хлеб сеют.

— Ну? И что? Зачем? — поторопил Николай, предчувствуя неожиданность в словах деда.

— А посмотри, не пророс ли мой грех? Не видать ли там костей.

— Каких костей, дед?! — чуть не закричал Николай. — Перестань!

— Человеческих, каких же еще, — невозмутимо ответил Андрей Николаевич. — Их ведь там не прикопали как следует. Как вспашут, так кости подымаются. Ты походи, пособирай да схорони. Потом как-нибудь еще съездишь. А место найдешь. Поспрашивай у трактористов, они скажут. Кости как камни: сколько ни собирай, все выплываются.

Николай сел на землю, стиснул кулаки.

— Мне что, дед, судьба такая выпала?

— Судьба, Коля, — вздохнул он. — Это еще не все. Дорога к храму длинная... Потом съезди на Обь-Енисейский канал. Там у шлюзов могила должна быть. Местные там хоронили, спроси стариков, должны знать. Хоть крест поставь, что ли... Я бы сам везде прошел, но не успею. Нет больше времени. Пошли, чего сел? Некогда сидеть.

— Говорят, когда в Есаульске начали первую скважину бурить, по городу какая-то старуха бегала, — сказал Николай. — Бегала и кричала, чтоб не трогали землю. Если тронут — мертвые из земли встанут и стоять будут.

— Альбина была. — Дед покачал головой. — Она будущее знала. Вот и мне срок назначила. Какое число сегодня, помнишь?

— Она тебе назначила срок?! — вскочил Николай. — Она?

Дед засмеялся, взял Андрюшку за руку и повел в гору. И снова запел:

Как по молодцу
Да плакать некому,
Да плакать некому.

"Если он сегодня умрет... Если он сегодня умрет..."

Он не мог закончить этой фразы даже мысленно, а первая ее часть застряла в голове и сковала разум. Почему-то стало темно, ветер вылизывал траву и холодил спину. Стихли птицы, умолкли в траве кузнечики — мир мертвел на глазах, наливаясь синюшным оттенком.

— Коля? Коля! — донеслось, будто сквозь сон. — Что же ты сидишь? Гроза такая идет! Смотри!

— Храм строить надо, — Николай пошел в гору. — Обыденный храм...

Светлана набросила ему на плечи китель, повела за собой, как ребенка. Над холмом заворчал гром: сухая гроза электризовала воздух, ветер отвесно падал с неба и разбегался пыльными вихрями.

— Молчи, молчи, милый! — уговаривала Светлана. — Господи, что же я с вами троими делать буду? Боюсь, Коля, боюсь!

— Ехать мне нужно, поеду я! — спохватился Николай. — Прости, Света, там люди собрались.

— Пережди грозу!

— Да где же ее переждешь?

Косой клин огня метнулся с неба, и в тот же миг ударил гром. Зазвенело в ушах. Они взбежали на холм, и Николай увидел деда, стоящего на месте заросшего пепелища. Андрюшка выглядывал из кельи и звал, будто птенец, выпавший из гнезда:

— Деда! Деда!..

— Я смерти не ищу, — опередил внука Андрей Николаевич. — Даже снаряд в одну воронку дважды не попадает.

Дед стоял, подняв руки к грозовой туче, подставлял ей лицо, как подставляют солнцу. Он еще был жив, но как бы уже не принадлежал этому миру; земная жизнь его теперь состояла в ожидании, и никто, кроме рока, не волен был над ним. Он постепенно угасал как мирской человек, но чувства его не отмирали, а, будто собранные линзой лучи света, они перевоплощались в любовь. Только любовь эта предназначалась не людям — Богу. И желания его не становились беднее, наоборот, обогащались, хотя со стороны казались убогими. Сейчас он как бы шел в верховья берегом реки — отпадали от русла притоки, ручьи, родники, и искал то единственное русло, в которое уже ничего не впадает со стороны и которое питается из самого Истока.

Наверное, так становятся монахами, живыми мертвецами.

И даже не ведая отпущенного тебе времени, можно загадать себе день и час, а потом готовиться к нему, натруживая душу свою, как натруживают ноги в долгой дороге, и избранный по своей воле срок удостоен будет Высшего освящения.

Глядя на деда, стоящего с воздетыми к грозе руками, Николай впервые осознал и поверил, что умрет он именно сегодня и смерти его уже ничем не остановить.

А если так, то сегодня он докажет живым, что действительно знал будущее и не сумасшедшим был, когда крикнул на площади Слово и Дело и позвал людей строить Обыденный Храм. Блаженным — да, но не сумасшедшим.

Так много надо сказать ему и еще больше — спросить!

— Недавно завхоза из нефтеразведки арестовали, — вспомнил Николай то, о чем думал по дороге сюда. — За хищение... В общем, не важно. Так он в тайге людей нашел. Народ какой-то прячется... Ты слышишь?

— Говори, говори, — отозвался дед.

— Место на карте показал, — продолжал Николай. — Подходящее место... Эти люди его поймали и три дня продержали. Живут скрытно, с воздуха не видать. Что за скит? Ты ничего не слышал? Говорит, полтыщи народу, может, больше.

— Леса это, Коля, Леса, — словно больному, жаждущему надежды, сказал Андрей Николаевич.

— Какие леса?

— Леса, где есть Мир, Труд и Любовь. Где есть Гармония.

— Неужели они есть? — оживился Николай. — Когда кругом война, рабство и ненависть. И пустота!

— Я бывал...

— Ты?!

— И сбежал. Суток не выдержал. — Дед говорил небу, исчерченному беззвучными молниями. — Обещали Гармонию... А это оказался колхоз. Все как у нас устроено. Оказывается, я тогда в будущем побывал. Не ходи искать. Построишь Храм — придет Гармония.

— Не знаю... Я не знаю, что такое Храм! — признался Николай. — Думаю, думаю и пока не вижу! Как его строить? где?

— Ладно, — проронил дед. — Поедем, покажу. Жене

своей скажи, вернемся сейчас. В Свободное съездим до дождя и вернемся. Поехали.

— Куда?

— В Храм, Коля. Ведь сбылось предсказание Альбины? — то ли спрашивал, то ли утверждал он. — Сбылось, и мертвые встали...

— Встали, дед, — выдохнул Николай, чувствуя, что сопротивляться бессмысленно. — Землю тронули — мертвые встали. А если они ее ядерной бомбой?.. Что же будет, дед? Что будет?!

Они не успели спуститься вниз, как тяжелый ливень накрыл холм и смешал твердь и хлябь.

Возле монастырских стен, обвешанных пихтовыми венками, стоял народ. Рдели перед глазами самодельные вплетенные цветы.

А на гребне стены горели два слепящих прожекторных глаза. Пыльные лучи высвечивали двор; люди же стояли в темноте, кажущейся еще более густой и непроглядной, чем бывает в обычную ночь.

Храм, подрезанный прожекторами у самого основания, парил над землей и изредка вздрагивал, когда с грохотом и гулом рушился берег. Вздрагивали люди и жестяные цветы, издавая тихий и печальный звон.

На воде под яром, словно быки на привязи, бились и терлись друг о друга буксирные и рыболовные катера. Среди них изгибался змеей пульпопровод земснаряда. Гул работающих дизелей и водометных двигателей отражался от песчаной стены обрыва, улетал на низкий противоположный берег и, усиленный эхом, растекался по тальникам. Если глядеть сверху, то возникало ощущение, будто эскадра судов, взяв на буксир освещенную прожекторами супу, пытается сдернуть ее со своего извечного места.

— Что они делают? — сквозь грохот спрашивал Николай. — Что они творят?

— Не ведают, что творят, — отозвался дед. — А ты смотри, смотри.

Несколько солдат сбрасывали под обрыв старые тракторные гусеницы. Там, внизу, их вытаскивали на палубу самоходки и разбивали на траки. Длинные изломанные тени металась по белым рубкам, по вспученной воде и обрыву.

За спиной Николая маячил старик Деревнин, силился что-то сказать, но слушать было некогда.

Они прошли сквозь охраняемые милицией ворота. Андрей Николаевич остановился, поклонился храму.

— Вот Храм, — сказал он. — Вот он стоит, батюшка. Камень-то упадет, а Храм все равно останется.

Берег отваливался бесшумно, и лишь потом, снизу, доносился тяжкий человеческий вздох.

Деревнину удалось проникнуть на монастырский двор — прошел за спиной начальника милиции, — и тут, в безлюдье, подступил к Андрею Николаевичу.

— Помнишь, я справочку у тебя попросил? Что партизанил с тобой? ..А как они следы прячут? Всю землю готовы перемыть! Да ведь я-то лучше их, лучше!

Андрей Николаевич не отвечал, может, и не слышал ничего. Рискавя сорваться, Николай лез к обрыву, бормотал, заглядывая вниз:

— Встанут... И из воды встанут...

Пьяные солдаты, одетые в костюмы противохимической

защиты, баграми втаскивали трупы на палубу рыбацкого катера и прикручивали к ним гусеничные траки. В прожекторном свете синевато отливали солдатские головы и лица, упакованные в противогазы.

Нагруженные катера отходили за мыс, и там, не сбавляя хода, опорожнялись. Плоские, раздавленные землей тела уходили с кормового желоба, по которому обычно мечут сети, и без всплеска исчезали в воде.

— Смотри, Коля, смотри, — тяжело дыша, повторял Андрей Николаевич, — да ничего не забывай!

— Знаю, почему следы прячут! — бормотал Деревнин. — Знаю! Мы хоть в землю их, в яму, а они?.. Ишь, моют! Сами-то давно отмылись! Политику отмыли свою. А тут вдруг пятнышко очутилось на ризах! Грязцы! Вот и стирают!.. А нас под топор пустили. Под топор!

Алтарная часть храма уже висела над обрывом, и обнажившийся фундамент из дикого камня напоминал корни дерева.

Земля лопалась под стенами и расходилась стремительными трещинами, будто зигзагами черных молний.

— Теперь помолиться хочу! — Андрей Николаевич отбросил палку и шагнул в храм. — Уходите от меня! Все уходите!

— Ты куда, дед?! — Николай схватил его за воротник. — Назад!

Андрей Николаевич отбил его руку, вырвался, погрозил: — Не смей! Молиться буду!

Каменный пол в храме растрескался, так что между

плитами проваливались ноги. В кромешной тьме он подошел к месту, где стоял иконостас. Почудилось, будто из мрака проглядывают светлые лики.

— Пойдем, дед! — закричал Николай. — Храм сейчас опрокинется!

— Уходи, Коля! — приказал Андрей Николаевич. — Зажги мне свет и уходи. Я долго молиться буду.

Со свода сыпалась кирпичная крошка, секла лицо.

— Назад! Назад, дед!..

— Зажги свет! Зажги, Коля!

Храм шевелился, трещали стены, и пол медленно уходил из-под ног. Андрей Николаевич вытолкнул внука из храма — паперть уже поднималась на воздух. Коля прыгнул на берег, рванул на себя деда, однако тот уперся руками в каменный парапет, удержался и через мгновение стал недостижим: между сушей и храмом легла саженная трещина. Лопнувшая земля разделила их, и черная бездна, разверзаясь на глазах, очаровала сознание.

Андрей Николаевич метался по темному храму, и гулкий его крик, усиленный пустотой, бил по ушам и уносился к небу.

— Света! Света хочу! Кто зажжет свечу?

Храм накренился и на мгновение замер, прежде чем рухнуть в бездонную черноту.

А молитва вырвалась из-под свода и воспарила над землей.

— Господи! Кто зажжет свет? Кто зажжет свет?!

с. Окунеево — г. Вологда, 1988—89 г.

ВОЛЬНОМУ — ВОЛЯ...

...В названии второй части романа Сергея Алексеева — "Доля" — слышится мне другое и тоже исконно русское слово — в о л я. Как бы ни складывалась жизнь, как бы ни давила личная, тесно связанная с условиями общественной жизни н е д о л я, человек волен в душе своей, волен в конечном выборе своем — быть ли слепым исполнителем чуждой воли, каким-нибудь "винтиком" в машине великой и бесконечной революции, или Человеком, подобием Бога, строящим свою жизнь по законам вселенского разума, в соответствии с Природой, в том числе и прежде всего — с природой человека.

Сколько же еще испытаний выпадет на долю Андрея Березина и матери его! Испытаний, которые было бы точнее назвать и с к у ш е н и я м и. Потому что испытывается душа, нравственный ее стержень — совесть.

Мы встречаемся с Андреем в тот час, когда распахиваются перед ним двери камеры, из которой готовился он — и по делам своим, как справедливо полагал, — готовился перейти в мир иной. И предстоит ему искушение огромное — с а м о м у вершить суд скорый и страшный, вершить именем пролетарской диктатуры. В Сибирь он должен вернуться председателем ревтрибунала. Почему? За что ему такая "честь"? Да потому, что именно такие люди, глубоко национальные, корневые носители духа народного, и должны стать, по замыслу архитекторов и прорабов строительства "нового мира", движущей силой в бесконечном восстановлении, п е р е с т р о й к е вновь и вновь методически разрушаемого гигантского муравейника, в который превращена Россия...

Муравейник в застекленном ограниченном пространстве — какой жуткий и многозначный образ-символ! Символ устанавливаемого кем-то предела в развитии, символ искусственно вносимой обреченности на inferнальность, бесконечно повторяемый круговорот низших форм жизни. И предел этот — венец Природы, человеку. И предел этот — народу, который всей своей предыдущей историей доказал способность и к освоению огромных земных пространств, и к проникновению в сокровенную суть понятий об окружающем мире, о законах Вселенной. (Может, и поставлен был этот предел потому, что чьим-то неведомым целям мешала эта устремленность в даль и высь, этот гигантский размах, эта богатырская игра мощных народных сил?)

Муравейник под стеклом... Зловещий смысл насильственного эксперимента над массами живых существ. Только достроят свою пирамиду до сверкающих высот стеклянного потолка — и рука Шоловского несколькими энергичными движениями вновь

разворошит, разрушит — "до основания, а затем..." (как поется в знаменитом гимне только у нас, в общепринятом переводе на русский язык. Подумать только! Ни французы, ни англичане, ни немцы, возможно, даже и не подозревают, как радикально искажен смысл известного творения Эжена Потье: они ведь вряд ли занимались обратным переводом с русского на свои языки, они пользовались оригиналом, где столь бескомпромиссного сокрушительно-разрушительного смысла не вкладывалось).

А какой корм придумал "биолог" Шиловский для своих подопечных! Живая черепаха... Ее защитный панцирь, "выкованный самой природой — для естественных условий, в этом случае бессилён и обрекает ее на смерть долгую и мучительную — заживо быть съеденной: муравьи, "малые мира сего", проникнут всюду. И вновь при чтении романа возникают ассоциации неожиданные и странные... Вот, скажем, комбеды на селе. Можно было припрятать достояние свое, хотя бы самое необходимое, для возобновления жизни обязательное, укрыть в хитрые мужицкие закрома — не достать городским продотрядам. Но свои-то "малые", свои-то бедняки — они и под панцирь черепахи заберутся, обгложут дочиста. Тем более те, кто бедны были не по чьей-то злой воле, а по собственной лени — ведь были же и такие! Оказывается, если "есть миром", то ничего не останется и от одиночного "миroeда", стоит лишь сменить знак власти...

Да что муравьи — муравейник лишь экспериментальная модель для профессионального революционера, у которого за плечами даже лекции в Сорбонне. С людьми — существами не просто живыми и социально организованными, вроде муравьев, но еще и мыслящими — намного сложнее. Они ведь могут взбунтоваться и любые преграды — не только стеклянные — сокрушить в ответ на бесконечное, перманентное разрушение их уклада жизни, самих его устоев. Вот и нужны шиловским такие, как Андрей Березин, с неисчерпаемой жизненной силой, взвихренностью и сумятицей чувств и мыслей, но — направляемые умелой рукой, повязанные кровью жертв, вольно или невольно повстречавшихся на крестном их пути...

Только просчитаются Шиловский и его наставники (а ведь за ними фигура невыдуманная и куда более известная — Лев Троцкий!). Прозреет Андрей Березин — в мучениях, вновь и вновь сдирая коросту с души своей, как сдирает коросту с раны, чтобы не отключиться, не заснуть, читая — для науки — ряд жутких в своем однообразии приговоров несчетным жертвам ревтрибуналов, прозреет, хотя повязал его Шиловский — пытался повязать! — кровью не только мертвых, но и родственной кровью живых. Прозреет — и уйдет от предназначенной ему страшной службы. Уйдет старинным русским способом — в нети. А когда поймет, что спастись самому — это еще ничего не значит, и нельзя спастись в одиночку, тогда примет он страдание вместе с народом и под чужим именем добровольно пополнит население ГУЛАГа...

Причудлив вымысел писателя. Как поверить, что человек сам себя обрекает на неволю? Но... Что делать Андрею, если машина идеологического подавления в руках шиловских не просто жизни его требует — списать в расход легче всего, — но душу живую ей подавай! Укрыться там, где и в голову не придет искать его...

И потом — помните судьбу князя Игоря, предпочевшего, по версии Сергея Алексеева, позор плена честной гибели в бою, лишь бы всколыхнуть сознание народа, сплотить его, предотвращая куда горшую беду полного порабощения. Андрею Березину даже проще, чем князю Игорю: он чести-то своей в грязь не втаптывает.

Впрочем, легче ли? Для себя-то он поднялся на новую духовную высоту, принимая и это искушение. Для других, для большинства он — отверженный, "враг народа", человек, которого можно как угодно унижать, превращать в "лагерную пыль". Его, представления которого о чести и достоинстве сословно высоки: "Я дворянин и русский офицер"... "Власть над собой — самая высшая власть"... Знаменателен его случайный вроде бы разговор с Тарасом Бутениным, который готовится аж в красные генералы, а холопа в душе преодолеть не может, ему бы хоть одним глазком вождя увидеть. Так вот, Березин, объясняя Тарасу, что повиноваться государю — долг дворянина, но при этом чести ронять немисливо, с полным убеждением предсказывает, что случилось бы, коль государь унизил бы его, Березина; подчиниться-то он подчинился бы, но тут же, на глазах государя, и застрелился бы. Сам. "Моя жизнь — в моих руках"...

Убережь честь и достоинство Человека. Убережь душу в любых искушениях. Эта мысль — опорная для всего романа. Родительница Андрея, ставшая монашкой, мать Мелитиной, несет в себе огромный заряд духовности. Как ей принять новую власть, разорившую ее родное гнездо, разоряющую святыне места, ломающую весь уклад жизни народной? И не принять как? Ведь любая власть — от Бога... И она сопротивляется по-своему — бесконечным смирением, неучастием в греховных делах новой власти, нравственно поддерживая всех, кого встречает на мученическом пути своем. Предостерегающ и остросовременен этот роман. Разве это не про наши дни — описание того, как вся страна превратилась в орущую толпу? И не о наших ли "реалиях" эти горестные сомнения: "Да разве может родиться хоть одна светлая мысль в этом оре? И разве прибудет любви и хлеба?"

Ныне снова разворошен людской муравейник. И вновь тычется он в какие-то невидимые — прозрачные? — преграды. И опять куда-то зовут новые шиловские — в новые светлые, только теперь уже рыночные, дали. Куются новые крамолы против натерпевшегося за века народа. И сколь же современно звучат в романе предостерегающие слова: "Я против того, чтобы власть души человеческие искушала, чтобы грех в добродетель возводила".

И будто к новым властителям дум обращены раздумья Березина: "Вы-то новый путь придумаете, коль на этом заблудитесь. А вот люди за вами будут кидаться, будто скотина за пастырями". Кидаться к новым испытаниям, распрям, к новой — не дай Бог! — крови, к новой гражданской войне...

Весь строй романа, православные и — глубже! — еще языческие славянские корни мироощущения его героев, их грезы о справедливой и честной, п р а в е д н о й жизни, их тоска по чистоте и высоте помыслов и деяний в кровавом хаосе революционного переустройства общества, их устремленность к миру и покою, гармонии во всем и вся, к согласию с природой и человечеством, с мятущейся душой своей — не могут не волновать читателя. Новый роман Сергея Алексеева — новая и, надеюсь, не последняя его высота. Большие надежды вселяют глубокие и смелые его книги. Россия осознает себя! "Коль хоть один говорит, а другие про то думают — не пропал народ!"

ВАЛЕНТИН СВИНИННИКОВ

Сергей Трофимович Алексеев

КРАМОЛА

Роман

Книга вторая

(Окончание)

Учредители: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ "РОМАН-ГАЗЕТЫ",
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ПЕЧАТИ,
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Редактор *Г. Панкратова*
Художественный редактор *Ю. Коннов*
Корректор *Г. Асланянц*

© Иллюстрации худ. *В. Сафронова*
Технический редактор *Н. Кошелева*

Сдано в набор 07.05.91. Подписано в печать 11.06.91. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура "Таймс". Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4 Усл. кр.-отт. 9,66. Уч.-изд. л. 11,51 Тираж 2 716 000 экз. (1-й завод 1—2 216 000 экз.).
Заказ 713 Цена 1 р. 10 к.

Адрес издательства "Роман-газета": 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
Отпечатано с оригинал-макета в ордена Трудового Красного Знамени Чеховском полиграфическом комбинате
Государственного комитета СССР по печати (142300, Чехов Московской обл.)

*Рукописи ранее не опубликованных произведений редакцией не принимаются и не рассматриваются.
Во всех случаях полиграфического брака просим бракованные экземпляры отправлять для замены в типографию, где печатался данный экземпляр.*

Возникает ли у вас надежда на улучшение жизни в железнодорожном поселке?

"Улучшение должно начаться с души человека".

"Когда каждый будет делать свое дело и отвечать за него"

"Пока есть люди, которые способны постоять за другого человека, как это сделал отчим Людочки, пусть и не совсем дозволенными способами, до тех пор надежда на улучшение жизни не угаснет"

"Железнодорожный поселок — это частичка нашего государства. И в нем будет так, как, по каким законам будет жить государство".

"В настоящее время надежды на улучшение жизни в железнодорожном поселке, да и не только в нем, нет"

"Улучшение в железнодорожном поселке будет. Будет! Но не скоро. Начинать необходимо с культуры, правильного воспитания, прививать с детства любовь к труду — источнику жизни и вдохновения, и не силой, а умением, как необходимости".

"А жизнь в поселке, конечно же, изменится, обязательно изменится, как и во всей России. Иначе и жить не стоит. Только надо каждому из нас честно делать свое дело и думать не только о себе"

"Надежды на улучшение жизни в поселке у меня нет"

"Надежда на улучшение жизни реальна, если руководители будут компетентны, ответственны и наказуемы за решение любых вопросов не в интересах тружеников и пустословие".

"Улучшение будет, если будет крепкий, интересный, но правильный вожак молодежи. Что бы ни писали в нашей союзной прессе, но личность играет большую роль. И надо не ждать милости от власть предержащих, а самим, засучив рукава, налаживать свой быт и обязательно повышать, развивать культуру. У нас сейчас трудно с продуктами, товарами, но когда не "скулить", а работать, становится

легче. Так было после войны. Все разрушено, голодно, но мы не хныкали, мы работали и учились".

"В ситуации, в какой оказалась сейчас страна, все больше проступают ростки очищения духовного и физического. Это и есть выход".

Редакция благодарит всех участников заочной читательской конференции.

Письма, адресованные автору, отправлены В. Астафьеву.

В коллективном ответе на вопросы анкеты использованы письма И. Буторина из Архангелской обл., О. Сапко из Бахчисарая, Н. Кириченко и Г. Карпова из Красноярска, читательницы из Иркутской области (без подписи), А. Тарасова из Тамбова, Р. Новиковой из Брянска, С. Панферовой и Е. Щибловой из Калининграда, К. Рыбалкина из Новосибирска, Е. Черной из Караганды, читательницы из Костромской области (без подписи), М. Алексеевой и С. Пронина из Нижнего Новгорода, М. Давиденко из Североказахстанской области, А. Шмелевой из Днепрпетровска, Р. Богатовой и В. Хворниковой из Московской области, Л. Ермолаевой из Луганска, И. Подгорной из Хабаровска, Л. Сарма из Петропавловска—Камчатского, Л. Лобковской из Львова, А. Кудиновой из Алтайского края, Р. Кивачицкой из Новороссийска, С. Самсоновой из Владивостока, А. Мачинской из Полтавской области, А. Деевой и В. Бирюкова из Луганской области, Л. Газизовой из Кривого Рога, Н. Биркиной из Челябинска, В. Музалевской из Саратова, Т. Байгузова из Свердловска, Т. Тарасовой из Воронежа.

*Группа общественного
литературного мнения*

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Валерий ГАНИЧЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АЛЕКСЕЕВ

Юрий БОНДАРЕВ

Семен БОРЗУНОВ

Витаутас БУБНИС

Олег ВОЛКОВ

Геннадий ГОЦ

Юрий ГРИБОВ

Владимир ГУСЕВ

Владимир ДУДИНЦЕВ

Александр ЖУКОВ (ответственный секретарь)

Сергей ЗАЛЫГИН

Феликс КУЗНЕЦОВ

Леонид ЛЕОНОВ

Виктор МЕНЬШИКОВ (заместитель главного редактора)

Василий НОВИКОВ

Петр ПРОСКУРИН

Валентин РАСПУТИН

Леонид ФРОЛОВ

1 р. 10 к.

34/2-55
осн.

РОМАН-20 ГАЗЕТА

70782

В двадцать первом номере
"РОМАН-ГАЗЕТЫ"
читайте
роман
Тулепбергенов КАИПБЕРГЕНОВА
"КАРАКАЛПАК-ҲАМЭ"

